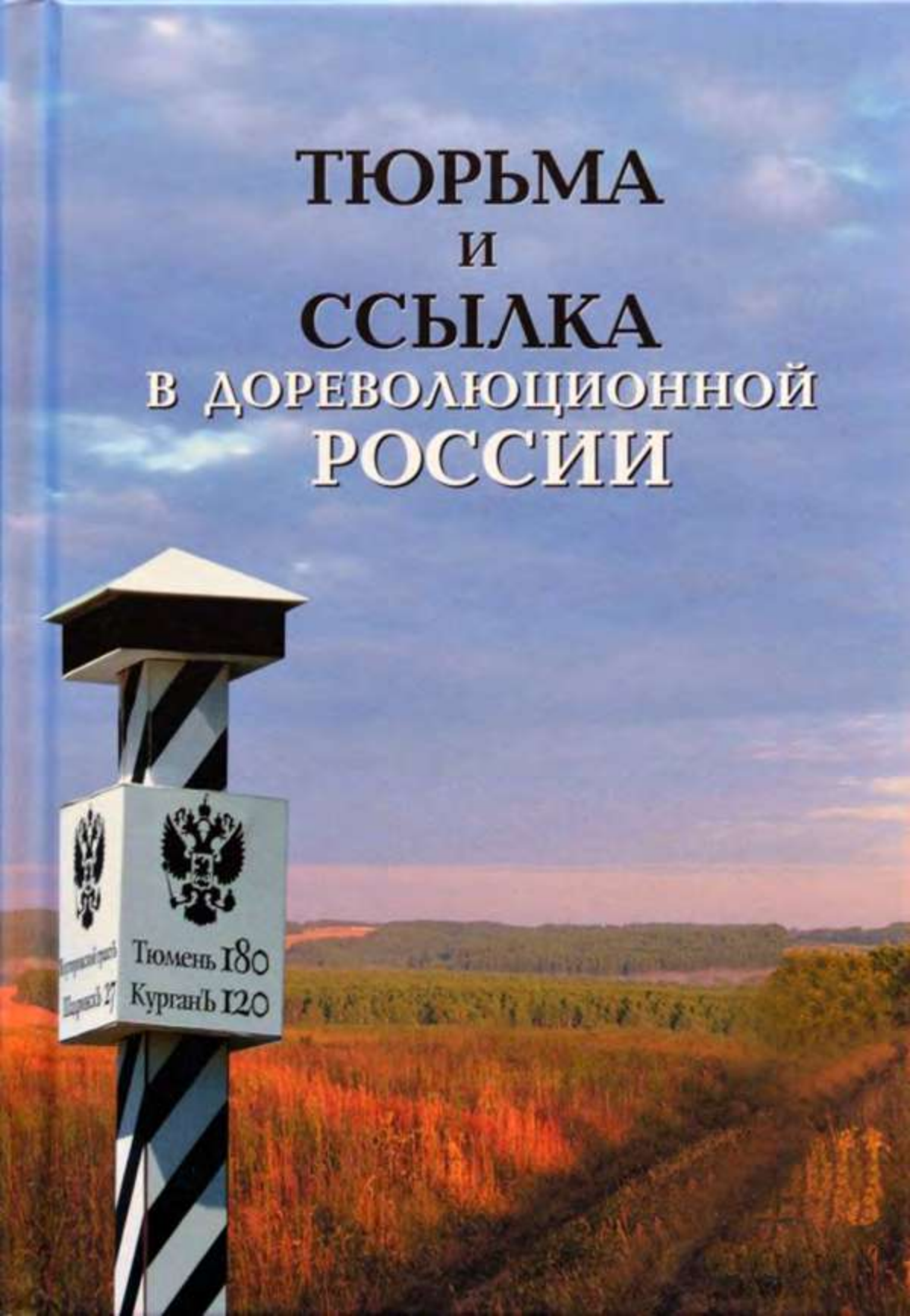
ТЮРЬМА И ССЫЛКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ



Тюрьма и ссылка в дореволюционной России

Сборник статей

ИстЛит
Москва
2016

УДК [343.812 + 343.264](47 + 57)(091)
ББК 67.409.021г
Т98

Т98 **Тюрьма и ссылка в дореволюционной России.** Сборник статей / Под общей редакцией Н. Катцера, С.В. Кудряшова. — М.: Историческая литература, 2016. — 392 с.

ISBN 978-5-9906493-4-7

В книге опубликованы статьи российских и зарубежных ученых, исследующих различные аспекты истории системы наказаний в России с зарождения государства до 1917 года.

Книга издана при содействии Германского исторического института в Москве по итогам научной конференции.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельца авторского права.

УДК [343.812 + 343.264](47 + 57)(091)
ББК 67.409.021г

ISBN 978-5-9906493-4-7
© Катцер Н. Предисловие, составление, 2016
© Кудряшов С.В. Предисловие, составление, 2016
© Издательство «Историческая литература», 2016

Предисловие

У каждой эпохи свои преступления и своя система наказаний, но при всех разительных отличиях и волнообразном характере жестокости властей или правонарушителей практика преследования и наказания развивалась в сторону все большей и большей гуманизации. И это общемировая тенденция, в которую вписывалась и Россия.

На заре государственности первые правовые акты выглядят достаточно «невинно». Так, в Русской Правде смертная казнь вообще отсутствует как понятие. Нет у нас достоверных сведений и об использовании в Древней Руси специальных пыточных орудий. Однако по мере укрепления государственности методы дознания, следствия и исполнения приговоров постоянно ужесточались. Специалисты продолжают спорить, что из «физических мук» было собственным изобретением, а что результатом «культурного трансфера» с Запада или Востока. Несомненно одно — государство целенаправленно сужало возможности для проявления мести (по принципу «око за око, зуб за зуб»), судебного и прочего произвола, а правом выносить смертные приговоры наделяло лишь верховную власть.

Проблемы свободы и несвободы, гуманности и насилия, произвола и законности буквально пронизывают всю российскую историю. Они нашли отражение не только в бесчисленных источниках, но и прочно вошли в русский язык, подчас утратив первоначальный смысл. Так, мало кто знает, что известное выражение «попасть в беду» ранее означало «попасть в тюрьму». Потому что «бедой» называли тюрьму в Преображенском в конце XVII века. Под безобидным ныне словечком «наверняка» ранее понималось шулерское — нечестная игра с гарантированным вы-

игрышем. А слова типа «беспредел» или «наезд» стали до такой степени употребительными, что почти утратили жаргонную связь.

Бурные перемены в России на рубеже тысячелетий лишь обострили восприятие истории. В обществе существует устойчивый спрос на исторические аналогии. В такой ситуации не обходится без крайностей. Одни склонны винить во всем только прошлое. Другие, наоборот, не без ностальгии восклицают: «Вот раньше были времена!» — подразумевая, что именно тогда, в прошлом, были «настоящие закон и порядок». С полным осознанием остроты вопроса мы решили провести в Германском историческом институте в Москве конференцию на тему «Тюрьма и ссылка в дореволюционной России». Причем под «тюрьмой и ссылкой» мы понимали не просто места лишения свободы или исполнения наказаний. Имелась в виду вся пенитенциарная система — от ее зарождения и развития вплоть до революции 1917 года.

Мы признательны многим российским и зарубежным ученым, которые откликнулись на нашу просьбу и приехали обсудить столь амбициозную задачу. Представленные доклады оказались до такой степени интересны, что сразу стало ясно — надо издавать книгу. К сожалению, этот процесс затянулся на несколько лет. И это связано не только с рутинной редактурой авторских текстов, но и с желанием сделать книгу доступной для любителей истории, не имеющих специального образования. Нелегко соблюсти баланс между академическим подходом и занимательностью изложения, но нам, кажется, удалось убедить коллег в полезности такой попытки. А вот получилось у нас или нет, решать читателям.

Конечно, невозможно объять необъятное, и при публикации сборника статей трудно избежать фрагментарности — какие-то вопросы всегда остаются за бортом. Хотя мы осознанно выбрали только дореволюционный период, тем не менее параллели с советским и современным периодом, по-видимому,

неминуемы. Пытливый читатель найдет тому немало примеров на страницах книги. Чего стоит только изощренная практика доносительства, мздоимства, пристрастности суда или удивительная народная традиция хулить власти предержащие.

Система наказаний в дореволюционной России развивалась крайне противоречиво и часто вызывала гнев и осуждение в обществе. Но вот в Тобольске, известном своей каторгой и тюрьмой, губернский тюремный инспектор рассылает 13 марта 1917 года (сразу после известий о Февральской революции в Петрограде) циркуляр, в котором предписывает: «Отношение к заключенным должно быть проникнуто гуманностью и сердечностью...» Эта актуальная и сегодня фраза имеет глубокий смысл. Она показывает, какой длинный путь прошла страна в законотворчестве, в понимании свобод и прав арестантов.

В заключение хотелось бы поблагодарить бывших и нынешних сотрудников Германского исторического института в Москве, которые очень много сделали, чтобы эта книга вышла из печати. Это первый директор института, профессор Бернд Бонвеч, доктор Коринна Кур-Королев, Ингрид Ширле и главный администратор Бригитте Циль. Без их участливой поддержки, энтузиазма и чувства юмора этот проект вряд ли материализовался. Мы также признательны бывшему ответственному секретарю журнала «Родина» Т. О. Максимовой за тактичную работу с авторами и помощь в редактуре их текстов.

Николаус Катцер, Сергей Кудряшов

Тягался Павлуша с Андрюшей

Как судили в Древней Руси

Ирина Михайлова

Сегодня, чтобы разрешить какую-нибудь конфликтную ситуацию, мы обращаемся к посредникам в суд. В древние же времена люди обычно решали свои проблемы самостоятельно.

Обидчикам мстили. «Смерть за смерть, око за око, зуб за зуб» — таков был обычай для мужчин, сородичей потерпевшего. Объявившегося в «своем миру» вора выявляли без помощи властей. Факт кражи, как было записано в первом своде законов — Правде Ярослава, — составленном в начале XI века, требовалось доказать. Устанавливался он на своде — собрании общинников. Здесь подозреваемый должен был объяснить, каким образом оказались у него «чюжь конь, любо оружие, любо порт (одежда. — *И. М.*)». Собравшиеся же указывали, купил он ту или иную вещь или получил в дар, подкрепляя свои заявления клятвой. Если все отказывались признать себя дарителями или продавцами спорной вещи, подозреваемому полагалось вернуть имущество хозяину и заплатить «за обиду» три гривны. В XII веке в статьи о своде были внесены коррективы. К примеру, строгая мера наказания устанавливалась для конокрадов: их с семьями изгоняли из общины, а имущество отдавалось на разграбление. В условиях постоянных войн, когда значение лошадей как средства передвижения в походах и боях возрастало, эта новация находит объяснение.

С появлением у восточных славян государства гарантом правопорядка в обществе стала княжеская

власть. Но государственное право, выраженное в распоряжениях Рюриковичей — уставах, не противостояло традиции, а сосуществовало с ней, постепенно вытесняя наиболее жестокие формы самосуда. Право мести сохранялось. Но, если у родственников убитого или увечного не было возможности или желания расправиться с обидчиком подобным образом, они могли обратиться в княжеский суд и получить с обвиняемого фиксированную денежную сумму. К XII веку кровная месть исчезла. Теперь преступник выплачивал виру (штраф) в пользу вершившего суд князя и деньги родным потерпевшего.

С конца XI века запрещался самосуд в отношении вора, застигнутого на месте преступления и отдавшегося в руки правосудия. За убийство такого «татя» задержавшие его дворовладельцы платили штраф. Захваченного «гостя» полагалось связать и вести на княжеский суд[1].

К княжескому суду в Древней Руси относились с большим почтением и суеверным страхом. Его решениям подчинялись беспрекословно. Это обусловливалось особым восприятием личности князя. Приняв христианство, Русь не отказалась от языческого мировоззрения и, по меткому определению академика Б. А. Рыбакова, была обществом «двоеверным». На князя смотрели как на правителя, наделенного сверхъестественными способностями, осененного Божьей благодатью. Он отвечал буквально за все: за исход военных кампаний, погоду, урожаи, смертность населения в периоды голода и мора, а также за справедливое разрешение внутриобщинных конфликтов. Правитель, уклонявшийся от исполнения своих обязанностей, мог быть смещен или принесен в жертву богам, с которыми не сумел «договориться». Одной из причин убийства Андрея Боголюбского исследова-

[1] Русская Правда. Т. I. Тексты. Под ред. Б. Д. Грекова (далее — РП). — М.—Л., 1940. С. 72, 81.

тели считают передачу им судебных прерогатив приближенным слугам[1].

Суд вершился на княжеском дворе в присутствии общинников. Действующие лица любой тяжбы — как и сегодня, истец, ответчик, при необходимости свидетели. Ответчика приводил «жалобник» или доставляли княжеские люди. Поиски сбежавшего преступника считались делом всей общины, на территории которой свершилось правонарушение.

Если на территории «своего мира» общинники обнаруживали труп знакомого им человека, они должны были помочь властям найти убийцу. За укрытие душегубца выплачивали государству большой штраф — так называемую «дикую виру», случаи освобождения «мира» от таковой оговаривались специально (например, если убийца оказывался разбойником, то есть преступником-профессионалом). В документах XV – XVI веков содержится уточнение: если смерть наступила в результате несчастного случая («А кого в лесе древо заразит, или з древа убьетца, или кого зверь сьесть, или кто утонет, или ково возом сотрет, или хто от своих рук утеряетца»), следовало «без хитрости» выяснить все обстоятельства случившегося. Практика выплаты «диких вир» сохранялась в некоторых крестьянских и промысловых общинах до конца XVI века.

Другой характерный пример коллективной ответственности общины во время поиска преступников — «гонение следа». Когда выяснялся факт совершения кражи, потерпевший криком созывал соседей, и они по горячим следам ловили татя. Подозрение могло пасть на любую семью, и тогда ей приходилось отводить «след» — доказывать свою невиновность.

---

[1] Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. — Л., 1980. С. 38 – 39; Он же. Мятежный Новгород. — СПб., 1992. С. 180 – 181; Он же. Древняя Русь. — М. – СПб., 1995. С. 113 – 172; Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. С. 455 – 782.

Затем невиновные присоединялись к «гнавшим след». И так до тех пор, пока не выходили на вора. Преступление оставалось нераскрытым, если «след» терялся в лесу, болоте, поле или на постоялом дворе. В расследовании принимали участие не только общинники, но и княжие слуги, функции которых сводились главным образом к контролю за тем, чтобы вор не был укрыт от властей. В начале XVI века освобождение общинниками арестованного преступника без предъявления его наместнику или волостелю считалось самосудом и наказывалось штрафом[1].

Когда преступник был доставлен на княжеский двор, начинался суд. При недостаточности или отсутствии улик требовались свидетели. В Древней Руси их называли видоками или послухами. Присутствие их было обязательным при рассмотрении тяжб о драках или избиении истца без видимых следов ударов, а также в делах о «поклепной вире», то есть когда обвинение основывалось исключительно на подозрении. По обычаю, свидетельствовать могли только свободные люди.

Свидетелей приводил в суд сам «жалобник», и он же отвечал за то, чтобы их сведения не расходились с его показаниями. В противном случае дело прекращали, истца признавали виновным и возлагали на него выплату всех судебных издержек. Роль послухов не ограничивалась лишь подтверждением или опровержением слов тяждавшихся. В том случае если назначался судебный поединок — «поле», а судились старик, женщина или отрок, вместо них в схватку вступали свидетели. Отказываться от послушества не полагалось. За неявку к судье, как следует из Судебника 1497 года, приглашенный в послухи должен был возместить «исцово, и убыткы, и все пошлины».

---

[1] РП. Т. I. С. 113, 158, 195, 225; Акты Русского государства 1505 – 1526 гг. (далее — АРГ). № 18. — М., 1975. С. 27.

В делах XV – XVI веков по земельным вопросам упоминается особая категория свидетелей — знахари-старожильцы. В данном случае было не важно, из какой социальной группы — крестьян, детей боярских, промысловых людей — они происходили. Главное, что принималось во внимание, — продолжительность их проживания в той местности, где проходил суд, хорошее знание ее ландшафта, жителей и незапятнанная репутация. Знахари давали показания, стоя на спорной земле. От них требовалось «вспомнить», кому принадлежала эта территория в прошлом, и провести судью, его окружение и послухов по прежним ее границам. Часто суд решал дело в пользу той стороны, чей знахарь «вспоминал» более давние времена. Впрочем, случалось, что боеспособные знахари противника, заявив судье: «Дай нам, господине, с ними божию правду — целовав кресть, да лезем с ними на поле битись», — добивались поединка[1]. Тогда сторона, пригласившая в свидетели маломощного старика, могла проиграть процесс.

При отсутствии свидетелей или недостаточности доказательств для решения дела назначался Божий суд (так называемая ордалия).

Один из видов Божьего суда зафиксирован в Судебнике 1497 года. Это полевой поединок. Закон предусматривал три вероятных исхода: «А досудятся до поля, а у поля не стояв, помирятся», «А у поля стояв помирятся», «А побиются на поли».

Документы XV – XVI веков отражают частую практику решения дел подобным способом. Английский мореплаватель Ричард Ченслор, побывавший в России в 1553 – 1554 годах, описал увиденное так: «Если истец не может доказать ничего, то ответчик целует крест в том, что он прав. Тогда спрашивают

[1] РП. Т. I. С. 70 – 72, 79, 80, 105, 106, 112, 124, 127, 151, 157; Судебники XV – XVI веков. Под ред. Б. Д. Грекова (далее — Судебники). — М. – Л., 1952. С. 26.

истца, не может ли он предоставить какие-либо иные доказательства. Если нет, то он может иногда сказать: «Я могу доказать свою правоту своим телом и руками или телом моего бойца», — и таким образом просит «поля». После того как противная сторона принесет присягу, «поле» дается и той и другой (стороне); перед тем как стать на поле, оба целуют крест, что они правы и что каждый заставит другого признать истину, прежде чем они уйдут с поля. Итак, оба выходят в поле с оружием, обычно употребляемым в этой стране. Они всегда сражаются пешими. Сами стороны бьются редко, если только они не из дворян. Последние очень стоят за свою честь и желают сражаться только с лицами, происходящими из столь же благородного дома, как они сами... Как только одна сторона одержит победу, она требует уплаты долга, ответчика же отправляют в тюрьму, где подвергают его самому позорному обращению, пока он не примет своих мер».

Полевой поединок в начале XVI века решил исход тяжбы между Ферапонтовым и Кирилло-Белозерским монастырями в пользу последнего. Источники зафиксировали также факты выдачи правых (оправдывавших сторону) грамот на основании несостоявшихся сражений. Так, во второй половине XV века рязанские бортники во главе с Сатей, тягавшиеся с землевладельцем Остафием, проиграли процесс, потому что у границы поля, не вступив в бой, признали: «Мы готовы, сбиты». «Поле» — не исключительно русская ордалия. В 1455 году такой вид Божьего суда применялся в Бургундии[1].

---

[1] Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России. Собр. и изд. А. Федотов-Чеховский. Т. I. № 14. — Киев, 1860. С. 10, 11; Английские путешественники о Московском государстве в XVI веке. Пер. с англ. Ю. В. Готье. — Л., 1938. С. 63; РП. Т. I. С. 106, 113, 124, 132, 150, 169, 175; Дворниченко А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. — СПб., 1993. С. 73–74.

Начиная суд, истец рисковал оказаться в роли ответчика, поскольку, по средневековым законам, если в ходе расследования выяснялась правота подозреваемого, он автоматически превращался в обвинителя, и дело оборачивалось уже против истца. Виновный должен был оплатить суд и штрафы. Домонгольская Русь не знала иного наказания, кроме штрафа. До конца XI века законодательство не определяло точно, кому он поступал: князю, вершившему суд, потерпевшему или — в случае душегубства — родственникам погибшего. Но в списках Пространной редакции Русской Правды, датируемых XII — первой половиной XIII века, уже четко устанавливается двойная шкала выплат по всем видам правонарушений: одни штрафы поступали князю (вира, продажа), другие — частным лицам (головничество — родным убитого, возмещение «за обиду» — пострадавшему). Отсутствие смертной казни и телесных наказаний — яркое свидетельство гуманности писаного права.

Пытка, кнут, лишение жизни появились после монгольского нашествия. Юридически смертная казнь была закреплена Двинской уставной грамотой в 1397 году, затем в статьях о государственной измене Псковской Судной грамоты, составленной в конце XIV века, но редактировавшейся на протяжении всего XV столетия. Судебник 1497 года устанавливал: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью». Та же мера наказания применялась к «татю», вторично нарушившему закон. Таким образом, смертью карали наиболее опасных «злодеев» — лиц, замышлявших и осуществлявших государственные преступления, как то: покушение на жизнь и здоровье государя, мятеж или подстрекательство к нему, организация пожаров, с которых часто начинались социальные выступления, грабеж храмов, а также похитителей и убийц людей, известных разбойников, воров, задержанных дважды.

Ужесточение наказаний в конце XV века стало откликом на непростую внутриполитическую обстановку, в которой происходило усиление великокняжеской власти и формирование единого государства. Однако и тогда русское законодательство было намного демократичнее западноевропейского. По подсчетам дореволюционных историков, Судебник Ивана III предусматривал казнь только в десяти случаях, в то время как германская Каролина 1532 года — в сорока четырех. Лишение жизни не являлось самоцелью. К высшей мере наказания приговаривали только после тщательного расследования. До середины XVI столетия на Руси не применялись изуверские пытки, хорошо известные Западной Европе, такие как сдирание кожи, вырывание ногтей, переламывание костей. Основными видами официальных казней являлись повешение (для низших и средних слоев общества, реже применявшееся для знати, поскольку воспринималось ею как позорящее честь рода) и «аристократическое» отсечение головы. Единичные жестокие расправы (вроде той, что была устроена в феврале 1462 года над готовившими заговор против Василия II серпуховско-боровскими детьми боярскими, которых великий князь «повеле всехъ имати, и казнити, и бити кнутьемъ, и сечи руки и ноги, и носы резати, а инымъ главы отсекати») имели задачей укрепление могущества молодого государства.

Неоправданные расправы, в том числе и самочинные, резко осуждались современниками. Во многие летописи включен рассказ об ужасном злодеянии перешедшего на русскую службу князя Юрия Святославича Смоленского. Приехав в 1407 году на кормление в Торжок, он воспылал страстью к жене служившего там князя Семена Мстиславича Вяземского Ульяне. Наместник «взя бо ю къ собе, хотя с нею жити, она же сего не хотяша, и яко лещи въсхоте съ нею, она же, предобрая мужелюбица, мужьскы въспротивися ему и, вземше ножь, удари его въ

мышцу на ложи его». Распаленный гневом князь убил Ульяниного мужа, «а ей повеле рукы и нога отсещи, и въ реку ввергоша ю». Однако после совершенного злодеяния убийца вынужден был бежать в Орду[1].

Основным видом наказания в XV — первой половине XVI века была торговая казнь — избиение кнутом. Били за кражу злаков, перепахивание границ владельческих участков, уничтожение межевых знаков, подделку земельных грамот; били пьяных, задержанных на улице с наступлением темноты, и содержателей тайных увеселительных заведений, любого вора, попавшегося в первый раз. В середине XVI века торговой казнью наказывали взяточников, клеветников, недобросовестно исполнявших обязанности приказных людей, незарегистрированных или чинивших «обиды» населению судебных уполномоченных. Все эти меры имели целью не изувечить, а опозорить правонарушителя, заставить его раскаяться в своем проступке.

В создававшемся едином государстве изменялись не только нормы права, но и юридические органы. На смену переезжавшим из города в город князю и его помощникам — тиунам и собиравшим пошлины вирникам — в XIV веке пришли наместники и волостели, наделенные постоянными судебными функциями. Их суд, однако, имел свои недостатки. Право управлять населением и «кормиться» за его счет жаловалось боярам за их прежние заслуги на непродолжительное время: как правило, на год, реже — на два, три... Поэтому они использовали «кормление» прежде всего для обогащения. Князьям поступали многочисленные челобитные с жалобами на наместников, волостелей и окружавших их мелких административных и судебных исполнителей — тиунов, доводчиков, праветчиков. С конца

[1] Полное собрание русских летописей. Т. VIII. — СПб., 1859. С. 150; Т. XVIII. — СПб., 1913. С. 128, 153; Т. XXIV. — Пгр., 1921. С. 143; Т. XXV. — М.–Л., 1949. С. 200; Рогов В. А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV–XVII вв. — М., 1995. С. 111–112, 114–115, 131–132, 134.

XV века контроль княжеской власти над кормленщиками усилился. Белозерская уставная грамота 1488 года впервые зафиксировала размеры и сроки выплат «кормов», ограничила количество «штатных» помощников наместника. Подобные грамоты предполагалось издать и для других районов России.

В еще более стесненном положении оказались наместники и волостели, когда был принят Судебник 1497 года. Раньше истец и местный управитель договаривались о размерах судебных издержек, и, если «жалобник» не мог заплатить требуемой суммы, боярин не брался за ведение дела. Новый свод законов устанавливал четкие размеры пошлин за все виды тяжб, указывал, как они должны распределяться между судьей-боярином и делопроизводителем-дьяком. Первый в большинстве случаев получал 6% от суммы иска, второй — 4%. Официально запрещались взятки, правда, наказание для взяточников было установлено позже, в Судебнике 1550 года, предусматривавшем за это правонарушение торговую казнь.

Судебник Ивана III ограничил судебные прерогативы некоторых кормленщиков. Наместникам же разрешалось «без суда боярского» рассматривать дела о душегубстве, татьбе с поличным, отпуске холопов на волю. Их следовало передавать «на доклад» в вышестоящие инстанции — на суды московских бояр или великого князя. С 1538/1539 года из ведения кормленщиков изымались дела о «ведомых лихих людях», а с 1549/1550-го — фактически все судопроизводство по уголовным вопросам. Уложение о службе 1555/1556 года и вовсе ликвидировало кормление, судебные функции теперь передавались выборным от дворян, детей боярских, зажиточных горожан и поселян[1].

---

[1] Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. — М., 1960. С. 398, 422—436; Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и ее время. — Л., 1980. С. 15—16; Он же. Государь всея Руси. — Новосибирск, 1991. С. 161,192—193.

Реорганизуя судебные органы, княжеская власть меньше всего заботилась о расширении народного самоуправления. Напротив, она стремилась создать четко оформленный, подотчетный только ей судебный аппарат. С этой целью она вела планомерное наступление на выборные общинные судебные должности, заменяла их своими, государственными постами. Наиболее наглядно это прослеживается на примере эволюции должности мелкого блюстителя законов — пристава.

Приставы появились в общинной среде в условиях монголо-татарского ига. Так называли пользовавшихся безупречной репутацией детей боярских, которые исполняли поручения местного населения, задерживали правонарушителей, на месте выясняли обстоятельства случившегося, доставляли преступников в темницу, охраняли их, взыскивали с них штрафы и судебные пошлины, а также были обязаны «блюсти» порядок и спокойствие на вверенной им территории.

На общинных уполномоченных надеялась вся община, от них ждали помощи в сложных ситуациях. В 1514 году старицы суздальского Покровского монастыря жаловались Василию III на нерадивого пристава Тимоху Внукова, сообщая, что «и им, и их крестьяном в том нужа велика»[1].

Но наряду с общинными блюстителями порядка источники часто упоминают великокняжеских «даных» приставов, обладавших более широкими, чем земские судебные исполнители, полномочиями. Именно они вызывали стороны в великокняжеский суд и исполняли его решения, в том числе и по отношению к видным политическим деятелям. Один из них, Алексей Попов, охранял заключенного в темницу Никиту Константиновича Добрынского, в свое

[1] Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. Акты X – XVI вв. № 1. — М., 1996. С. 165.

время арестовавшего великого князя Василия II Васильевича. Другой сторожил не желавшего перейти на службу к Дмитрию Шемяке Федора Басенка[1].

Именно великокняжеские блюстители закона разыскивали и возвращали на прежнее место жительства разбегавшихся «христиан», не желавших «ехати... на службу великого князя». Еще одной важной обязанностью «даных» приставов было обеспечение безопасности дипломатических миссий и наблюдение за ними[2].

В конце XV века появилась новая должность — недельщик, уполномоченный органов государственной власти. Сроки и места их службы регистрировались в специальных росписях — неделях. Согласно статье 31 Судебника 1497 года, они осуществляли свои функции строго в соответствии с выданными им приставными грамотами и несли ответственность за выполнение поручения. Судебные пошлины недельщиков строго фиксировались, а статьи 33 и 34 того же свода законов запрещали им брать взятки для вышестоящих лиц и для себя. Служба представителей государственной власти была выгоднее, чем у приставов: они лично сообщали показания пытаемого преступника великому князю. Да и жалованье получали намного выше, чем приставы: за службу в Москве по 10 денег за каждое дело, а в случае расследования обстоятельств происшедшего на месте — в два раза больше. По мере увеличения расстояния от стольного города до места совершения преступления сумма вознаграждения росла. Приставы же получали всего 4 деньги в городе, «а езд на версту по дензе,

---

[1] Русский феодальный архив XIV — первой половины XVI века. Ч. 3. № 147. — М. 1987. С. 528.

[2] Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. I. № 265. — М., 1964. С. 132; Там же. № 359. С. 263; Сборник Русского Исторического общества. Т. 35. № 15, 18, 21, 23, 24, 28 – 32, 72 – 74, 78, 81, 85, 87, 88, 91 – 96, 99, 100 – 101, 103, 105, 107. — СПб., 1882.

а на правду (то есть расследование на месте случившегося. — *И. М.*) в городе и в волости вдвое». Однако главное отличие недельщиков от приставов состояло в том, что, оформляя их на государственную службу, власти стремились окончательно вырвать этих людей из общинной среды. С этой целью был издан указ, вошедший в Судебник Ивана III: «А в котором городе живеть неделщик, ино ему с приставными в том городе не ездити, ни посылати ему с приставными в свое место ни в какове деле»[1].

Так, все более расширяя функции своих уполномоченных и наделяя их льготами, княжеская власть проникала в общинное управление, создавая вместо выборных должностей подконтрольный ей, хорошо организованный аппарат судебной власти.

[1] Судебники. Ст. 4—7, 29, 30, 31, 33, 34, 44.

Они сидели «за приставы»

Ирина Михайлова

В средневековой Руси про преступника, взятого под стражу, говорили «сидит за приставы», то есть охраняется приставленными к нему людьми.

Впервые тюремные охранники упоминаются в послании митрополита Киприана, составленном вскоре после выхода владыки из московской темницы в 1378 году, а также в летописной статье 1388 года. Тогда по приказу Дмитрия Донского были схвачены старейшие бояре его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского «и седеша въ нятие и бяху у всякого у коегождо ихъ приставлени приставници»[1].

В XIV – XVI веках приставство было не должностью, а разовым поручением высшей судебной власти, исполнение которого могли возложить на любого проверенного, пользовавшегося безупречной репутацией служилого человека — боярина, сына боярского, дворянина, дьяка. Так, в договорной грамоте Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем Серпуховским 1398 года фигурируют приставы-бояре. В 1436 году Иван Федорович Старков охранял заключенного в Коломне Дмитрия Шемяку. Стражник был великокняжеским боярином. Другого опасного государственного преступника — Никиту Константиновича Добрынского — Василий II поручил «дръжати» введенному дьяку Алексею Попову.

---

[1] Русская историческая библиотека (далее — РИБ). Т. VI. № 20. — СПб., 1880. Стб. 194; Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. XV. Вып. 1. Стб. 155. — М., 1965.

Осенью 1475 года Ивану III, прибывшему в Великий Новгород, поступили жалобы от жителей «волховской столицы» на некоторых местных влиятельных бояр. По приказу государя его приставы Дмитрий Чубаров, Зворыка, Федор Мансуров и Василий Долматов взяли обвинявшихся аристократов под стражу. Д. Чубаров, Ф. Мансуров и, возможно, Зворыка (Зворыкин) были детьми боярскими, а В. Долматов — дьяком. Отправив московских охранников к бесчинствовавшим боярам, Иван III потребовал, чтобы новгородцы «дали бы своих есте приставов на тех силников, на коих яз своих приставов подавал». «И Новогородци дали на них приставов подвоискых, Назара да Василя Анфимова». Уполномоченные великого князя и местной городской общины в течение суток держали преступников под домашним арестом, после чего доставили их на суд Ивана III: «Обидящеи и обиденые все стали перед великим кнеземъ на Городище». Московский государь «начат судити их. И судив их и обыскав, да жалобников оправил, а тех всех, кои находили и грабили, обвинили». Объявив приговор, Иван Васильевич приказал задержать степенного посадника Василия Онаньина, а также могущественных богачей Богдана Есипова, Федора Исакова и Ивана Лошинского. «И взяли их дети боярьскые, Васильа Онаньина Иван Товарков, Богданъ Русалка, Федора Исакова Никита Беклемишов, Лошинского Звенець, а товарищовъ их всех велел князь велики своим приставом подавати на поруки на крепъкие в полуторе тысяче рублех во истьцевых, да въ своем вине без урока, и взял их за себя архиепископъ». В ходе расследования выяснилось, что Иван Офонасов с сыном Олферием плели интриги и «мыслили Великому Новугороду датися за (польского. — *И. М.*) короля». Они также по распоряжению Ивана III были арестованы, «а взял Ивана Василеи Китай, а сына его Юрьи Шестак». Великокняжеские приставы, задержавшие крамольников, были детьми боярскими. Просьбы новгородских

посадников и архиепископа о помиловании преступников, о передаче их на поруки на разгневанного судью-властелина не подействовали. Через день закованные в кандалы узники в сопровождении государевых приставов отправились в Москву[1].

Сведений о социальном статусе тюремных охранников, служивших в XIV — первой половине XVI века, сохранилось очень мало, чаще в источниках встречаются лаконичные упоминания о судебных надзирателях, не названных по имени. Например, в 1441 году Василий II «повеле» митрополиту Исидору жить в монастыре «и приставомъ стерещи его». В декабре 1497 года «восполелся князь великий Иван Васильевичь всеа Русии на сына своего на князя Василья, и посади его за приставы на его же дворе». В апреле 1502 года под стражу были взяты сноха и внук Ивана III — Елена Стефановна Волошанка и Дмитрий Иванович. В 1510 году, объявив о включении Пскова в состав владений Московского государства, Василий III призвал к себе самых знатных, богатых и влиятельных жителей этого города, и когда они явились, «тых всех за приставы подаваша». В 1512 году государь Василий Иванович «опалу свою положилъ на (служилого татарского. — *И. М.*) царя Абдыл Летифа за его неправду, и велелъ у него приставомъ быти, и Каширу у него отнялъ». В декабре 1533 года был арестован опасный претендент на великокняжеский престол — удельный князь Юрий Иванович Дмитровский. «И посадиша его въ полате на дворце за сторожи и его бояръ». В августе 1534 года в Литву бежали княжата С. Ф. Бельский и И. В. Ляцкий. В ответ были немедленно схвачены их «советники» — брат беглеца И. Ф. Бельский и И. М. Воротынский. Их «з детми» посадили «за сторожи». Тогда же взяли и М. Л. Глинского. Его препро-

[1] ПСРЛ. Т. XXV. — М.; Л., 1949. С. 252, 305 – 306; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв. № 11. — М. – Л., 1950. С. 31 – 32.

водили «в полату» у конюшни, возле которой встали стражники. В 1537 году тюремные охранники осуществляли надзор за бывшим удельным князем Андреем Ивановичем Старицким, его жену с сыном поместили «на Берсеневском дворе за приставы»[1].

Тюремные надзиратели обеспечивали изоляцию преступников от внешнего мира, следили за тем, чтобы заключенные содержались в соответствии с предписанным режимом и не организовывали побегов. Охранников, не выполнивших возложенных на них обязанностей, строго наказывали. Правосудье митрополичье, датируемое 1390-ми годами, четко устанавливает, в каких случаях приставы несли ответственность за упущенного из-под стражи преступника. Оно предписывает: «А тать оу пристава оубежит не осужен, приставу в том несть вины; а осужен — вина; оубежит — приставу вина, а исцева дати». Введенный дьяк Алексей Попов в середине XV века должен был охранять Н. К. Добрынского, но он «великому князю изменил, зговоря с (заключенным. — *Н. М.*) Никитою, да побежали ко князю Ивану Андреевичу в Можаеск». Некоторое время Добрынский скрывался у бывшего сообщника, потом ушел в Литву, а дьяк, обеспокоенный судьбой своей семьи, вернулся в Москву, пробрался на митрополичий двор и обратился к владыке Ионе с просьбой о защите. Великий князь приговорил Алексея Попова к смертной казни, но благодаря заступничеству Ионы ее заменили обязательной пожизненной службой провинившегося дьяка и всех его потомков митрополитам[2].

---

[1] Псковские летописи. Вып. 1. — М. – Л., 1941. С. 95; Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. — М. – Л., 1950. С. 422; Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века. — СПб., 2003. С. 484 – 485.

[2] Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. III. № 3. — М., 1964. С. 24; Русский феодальный архив XIV — первой половины XVI века. Ч. 3. № 147. — М., 1987. С. 528.

До Судебников 1497 и 1550 годов юридические нормы содержания узников под стражей определены не были, сроки и условия их заключения зависели от распоряжений того властителя или уполномоченных им местных управителей, по приказанию которых производился арест действительных или мнимых преступников. Чаще всего такие распоряжения исходили от великих князей Московских или подчинявшихся им судебных исполнителей.

В 1378 году при попытке тайно пробраться в стольный город Северо-Восточной Руси был арестован митрополит Киприан. Его бросили за решетку служилые люди великого князя Московского Дмитрия Ивановича, который не признавал Киприана владыкой Северо-Восточной Руси и предлагал возвести на митрополичью кафедру своего ставленника — Михаила-Митяя. Узник провел в темнице страшную ночь. Сразу после освобождения он отправил Сергию Радонежскому и его племяннику Федору Симоновскому эмоциональное письмо с жалобами на великого князя и его усердных агентов. Возмущенный Киприан информировал адресатов о том, что Дмитрий Иванович «пристави надъ мною мучителя проклятаго Никифора» и его помощников, которые «еже не сдея надъ мною? Хулы, и надругания, и насмехания, грабления, голодъ! Мене въ ночи заточилъ, нагаго и голоднаго, и отъ тоя ночи студени и нынеча стражу». У слуг митрополита отобрали холеных лошадей, всю одежду, даже «сапоговъ и киверовъ не оставили на нихъ!» А утром незадачливых заговорщиков на тощих «клячах» «без седелъ, в оборотях лычныхъ» и нижних сорочках выставили из города.

Если Киприан с ужасом вспоминал одну ночь, проведенную в темнице, то племянники Ивана III, сыновья мятежного удельного князя Андрея Большого Углицкого, были осуждены на пожизненное заключение. Андрея Углицкого арестовали 20 сентября 1491 года в Москве и бросили за решетку на Казенном дворе.

Здесь же знатный узник скончался 6 ноября 1493 года. Сразу после ареста брата Иван III направил верных детей боярских в Углич «поимати» юных удельных властителей — Ивана и Дмитрия Андреевичей. В то время Ивану было 14 лет, Дмитрию — не более 7. Отроков отвезли в Переяславль, даже не разрешив заехать в Москву и объясниться с державным дядей. Вероятно, сначала режим содержания высокородных отпрысков был жестким, но после публичного покаяния Ивана III в грехе братоубийства, которое состоялось осенью 1497 года, его смягчили. Дмитрия стала обслуживать челядь, ему разрешили под строгим надзором выезжать «ис тюрьмы ис тына» на службу в городские храмы. Иван Андреевич умер в мае 1522 года, приняв монашеский постриг, его младший брат просидел в тюрьме 49 лет и уже тяжело больным человеком вышел на волю. На свободе он прожил недолго и в 1540-е годы скончался. Страдальцев похоронили в Вологодском Спасо-Прилуцком монастыре.

Страшная участь постигла еще одного удельного князя — Андрея Ивановича Старицкого. Его схватили в 1537 году и «посадили в заточение на смерть». В тюрьме на узника надели «шляпу железную», может быть, скрывая его личность от охранников или таким изуверским способом истязая заключенного, и через полгода уморили[1].

Что испытывали эти люди в средневековых застенках, как выдерживали суровую кару, приходится только гадать. Но сохранился исторический документ, донесший отчаянную мольбу о помощи надломленного, находившегося на грани нервного срыва заключенного, который сидел «за приставы» в смутное время малолетства Ивана IV. Этим невольником был Иван Яганов.

---

[1] РИБ. № 20. Стб. 194 – 195; Скрынников Р. Г. Царство террора. — СПб., 1992. С. 87; Борисов Н. Иван III. — М., 2000. С. 597 – 598, 602 – 603.

До ареста он был засекреченным агентом московского государя и собирал информацию о настроениях подданных при дворе дмитровского удельного князя. В последние дни жизни Василия III или сразу после его смерти Иван Яганов и его «коллега» Яков Мещеринов узнали о «жестоких речах» дмитровских детей боярских, сказанных ими «со пьяна... или вздуряся» и направленных против трехлетнего наследника Ивана IV. Им также стали известны имена крестьян, которые «над великим князем на Волоце кудесы били... а похвалялися те мужики на государя пакость наводити, а ныне те мужики на Москве». Эти преступления относились к разряду «великих, страшных, смертоносных» «государевых дел», поэтому агенты немедленно сообщили о них московскому начальству. Служебное рвение Яганова и Мещеринова привело к непредвиденным последствиям.

Тем временем в столице были арестованы главный соперник Ивана IV, наиболее опасный претендент на великокняжеский трон Юрий Иванович Дмитровский и его сподвижники, москвичи целовали крест монарху-ребенку, и блюстители государственной безопасности решили избавиться от лишних свидетелей провалившегося заговора удельного конкурента. Ивана Яганова и Якова Мещеринова схватили в дмитровской деревне в тот момент, когда они собирали «про то дело полных вестей». На допросе у московских бояр Мещеринов заявил, что «жестоких речей» дмитровцев он не слышал, а Яганов, вместе с ним присутствовавший на сходке заговорщиков и составивший донос, подтвердил ранее переданную им секретную информацию. Неизвестно, в чем конкретно обвинили арестованных шпионов — в предоставлении недостоверных либо неполных сведений о замышлявшемся преступлении или же о переходе их на сторону Юрия Ивановича Дмитровского (на это впоследствии намекал один из них, уверявший правившего московского монарха в своей преданности:

«А не хотел бы яз тобе, государю, служити, и яз бы, государь, и у князя у Юрья выслужил») — так или иначе, но обоих агентов «велели поковати и в заточенье посадити и муку учинили железную, как над лихими изменники и над розбойники».

Условия содержания узников были чрезвычайно суровыми, видимо, рассчитанными на то, чтобы скорее их умертвить. В отчаянии Иван Яганов написал из тюрьмы челобитную на имя Ивана IV, в которой сообщал о приближавшейся голодной смерти и просил малолетнего монарха о смягчении наказания. Он писал: «...ести и пити не велели нам давати и нашему человеку никакову с ествою к нам не велели ходити... и ты, государь, вели нас всех казнити, которые отцу твоему служили да и тобе служат; только б, государь, у приставов от их железной муки живота своего от своих рук без покаянья не кончал. А сижу, государь, у третьего пристава, в великой нужной крепости, и животишка есмя своего поостали... Государь князь великий, умилосердися, обыщи, о чем есмя, государь, загибли, служачи тобе, государю. Мы ж, государь, тобе служили, мы ж ныне живот свой кончаем нужною смертию. Вели, государь, дати на поруку, чтоб есми в твоем государеве деле не загиб... Я же, государь, тобя, государя, и твою мать, благоверную великую княгиню Елену, от неколких смертоносных пакостей избавлял; яз же нынеча в тобе кончаю нужною мукою живот свой». Мольба узника осталась без ответа. По предположению исследователей, Иван Яганов скончался в застенке, а Яков Плохой Васильев сын Мещеринов вышел на свободу. Впоследствии он служил дворовым сыном боярским по Дмитрову, в 1570/1571 году составлял «ростовские приправочные книги»[1].

---

[1] Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. — М. – Л., 1950. С. 132; Акты Российского государства. № 120. — М., 1998. С. 483; Кром М. М. Челобитная и «запись» Ивана Яганова // Русский дипломатарий. Вып. 6. 2000. С. 19, 22 – 24.

Митрополит Киприан и тайный агент Яганов жаловались на «муку», которой их подвергли тюремные надзиратели. В древнерусском языке этот термин обозначал устное оскорбление, рукоприкладство или изощренную пытку, уродовавшую тело узника. В последнем значении его употребили составители Спасо-Прилуцкой и Уваровской летописей в статье под 1484 годом. Тогда новгородцы сообщили Ивану III, что некоторые местные бояре и житьи люди «посылалися... в Литву х королю», чтобы перейти на его сторону. «Князь же великий посла их пойма и их всех человек болших тритцать житиих... и повеле их мучити на Иванове дворе на Товар кове Гречаневику подьячему, а домучивается оу них того обговору, чем их обговорили». Изменников поочередно пытали с целью выяснить, вели ли они переговоры с Казимиром IV. Однако в целом до середины XVI века в застенках Руси физическую «муку» применяли редко.

Исторические источники того времени не содержат сведений об использовании специальных пыточных орудий, ничего не сообщают о деятельности следователей-изуверов. Отдельные факты садизма в отношении заключенных резко осуждались. Так, летописцы упоминают о жестокой расправе с Романом Переяславским, который в 1435 году отказался служить удельному князю Василию Юрьевичу и бежал от него. В ответ Василий Юрьевич, «поймав» беглеца, «повеле отсещи (ему. — *И. М.*) руку и ногу, и умре». Этот случай так потряс современников, что они, ничего не зная о несчастном Романе, кроме того, что он был переяславцем, посчитали необходимым включить в летописи сообщение о злодеянии, которое в их представлении было примером вопиющего нарушения юридических и моральных норм того времени. Судебные исполнители XIV — первой половины XVI века должны были иными способами «довести» — расследовать дело и «доличиться», то есть установить вину преступника. Судебники 1497 и 1550 годов пред-

писывали им «пытати» заключенных, то есть расспрашивать их о мотивах и сути преступлений, о сообщниках и подстрекателях. В процессе следствия также применялись обыски жилых и хозяйственных помещений, выявлялись и опрашивались свидетели[1].

Когда виновность подследственного была доказана, устанавливалось наказание — по терминологии того времени, присуждалась «казнь». За тяжелые уголовные и государственные преступления (покушение на жизнь и здоровье монарха, мятеж или подстрекательство к нему, организация пожаров, с которых часто начинались социальные выступления, грабеж в храмах, похищение и убийство людей, разбой, вторичное воровство) осужденных лишали жизни. Знатные мужи и иностранцы пользовались привилегией «благородно» уйти в мир иной: им отсекали головы. Простолюдинов приговаривали к позорному повешению. Приговор приводили в исполнение днем, в людном месте, куда являлись все желавшие стать очевидцами «смертной казни».

Первая «смертная казнь» на Руси состоялась 30 августа 1379 года в Москве «на Кучкове поли». В то утро при большом стечении народа «потятъ бысть мечемъ» Иван Васильевич Вельяминов — сын последнего столичного тысяцкого Василия Васильевича. Почетная старинная должность тысяцкого, командовавшего городским ополчением, существовала с древнейших времен. Некогда выборная, в Московском княжестве она передавалась по наследству. Но после смерти в сентябре 1374 года Василия Васильевича Вельяминова великий князь Дмитрий Иванович решил упразднить ее и передать управление народным ополчением своим воеводам. Сын покойного военачальника начал борьбу за восстановление высокого доходного поста. Обратившись за помощью к великому князю

[1] ПСРЛ. Т. V. — СПб., 1851. С. 28; Т. XXVIII. — М.–Л., 1963. С. 151, 317; Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III: традиция и реформа. — СПб., 2001. С. 284–285.

Тверскому и ордынскому хану, он не только оказался в эпицентре интриг, которые вели враги Москвы, но и вызвался организовать убийство Дмитрия Ивановича и его советников. В 1378 году русские войска разбили татарские орды на реке Воже и захватили «вежи и шатры и телеги их». В обозе ратники захватили в плен «некоторого попа», по поручению Ивана Вельяминова пробиравшегося из Орды на Русь. «И обретоша у него злых и лютых зелеи мешок». Зелье, предназначавшееся для политических противников коварного мятежника, уничтожили, попа после долгих и жестоких истязаний отправили в заточение на Лаче озеро, а за опасным государственным преступником Иваном Вельяминовым установили слежку. Вскоре он был взят и по распоряжению великого князя Московского Дмитрия Ивановича обезглавлен. Его казнь знаменовала окончательную ликвидацию старинной должности московского тысяцкого, усиление великокняжеской власти, укрепление дисциплины и порядка в формировавшемся едином Русском государстве.

Юридически смертная казнь была закреплена Двинской уставной грамотой, изданной в 1397 году, статьями о государственной измене Псковской судной грамоты, составленной в конце XIV века, но редактировавшейся на протяжении всего XV столетия. Свод законов единого Русского государства — Судебник 1497 года — устанавливал: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью». Та же мера наказания применялась к «татю», вторично нарушившему закон[1].

В период смуты второй четверти XV века трем правителям: боярину Ивану Дмитриевичу Всеволожу[2],

---

[1] ПСРЛ. Т. XXV. С. 200; Михайлова И. Б. Тягался Павлуша с Андрюшей // Родина, 1999. №9. С. 36.

[2] В источниках встречается также как Всеволожский.

удельному князю Василию Юрьевичу Косому и Василию II Темному «очи... выимали». Ослепление государственных преступников широко практиковалось в Византии, откуда, возможно, было заимствовано Святополком Изяславичем Киевским. В 1097 году по его приказу был лишен зрения Василько Ростиславич Теребовльский — единственный древнерусский князь, наказанный подобным образом. Современники осудили жестокость Святополка Изяславича. Владимир Мономах, узнав о трагедии князя Василька, «оужасася и въсплакася вельми и рече сего не было есть оу Русьскои земли ни при дедехъ нашихъ ни при отцихъ сякого зла». Реакция его двоюродных братьев Давыда и Олега Святославичей была аналогичной. Они, получив известие о злодеянии киевского правителя, «печална быста вельми и начаста плакатися рекуща яко сего не было в роде нашемъ». Через три столетия, ослепленные борьбой за власть, политические конкуренты возродили византийскую практику расправы с соперниками.

Во второй половине XV — первой половине XVI века получили распространение тайные убийства особо опасных заключенных. Их долго изводили голодом и жаждой или внезапно умертвляли в застенке. Власти избегали широкого обнародования их «дел», а потому предпочитали расправляться с опальными таким образом, чтобы о них меньше говорили и быстрее забыли. В сырых монастырских кельях и темных казематах государевых темниц скончались дядя Ивана III Василий Ярославич Серпуховский и Боровский, сноха державного правителя Елена Волошанка, его внук — великий князь Дмитрий, удельные властители Андрей Васильевич Углицкий с сыном, Юрий Иванович Дмитровский, Андрей Иванович Старицкий, бояре Михаил Львович Глинский, Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский, Иван Федорович Бельский. Лаконичность и таинственность сведений о последних минутах жизни этих узников не позволяют уста-

новить причину и охарактеризовать обстоятельства их смерти, но несомненно одно: все они много страдали и погибли «при помощи» их всесильных недругов.

Менее опасных преступников подвергали торговой казни — позорному прилюдному избиению кнутом. Иногда великие князья проявляли милость к осужденным и, спасая им жизнь, заменяли смертный приговор торговой казнью. Так произошло в 1442 году, когда Василий II «доличився», что великокняжеский дьяк Иван Кулудар Ирежский выдал военные планы московского командования удельному князю Дмитрию Шемяке. Разгневанный государь «велелъ и (изменника. — *И. М.*) кнутьемъ бити, по станомъ водя, да и дьячество отнялъ у него». Опозоренный и изгнанный с великокняжеской службы, И. Ирежский вынужден был довольствоваться пристанищем в уделах. Однако для предателя это наказание было слишком мягким. Если неверный дьяк выдержал торговую казнь, то другой государственный преступник, тоже живший в XV веке, под ударами кнута скончался. Это был житель Смоленска Богдан Селевин — участник заговора, организованного польским королем Казимиром IV с целью убить могущественного неприятеля Ивана III. В январе 1493 года заговор был раскрыт. Выяснилось, что перешедший на московскую службу Иван Лукомский должен был «великого князя убити или окормити зельемъ». Отраву «у него выняли» и уничтожили, главных исполнителей смертоносного замысла Ивана Лукомского «да Матисафа Ляха толмача Латынского» сожгли в клетке, установленной на льду Москвы-реки. Причастных к заговору братьев-«смолнянъ» Богдана и Олехна Селевиных Иван III приговорил к торговой казни, «и Богданъ умеръ от торговые казни, а Олехну головы ссекли про то, что они посылали з грамотами и съ вестми человека своего Волынца к великому князю Александру»[1].

---

[1] ПСРЛ. Т. XX. Первая половина. Ч. I. — СПб., 1910. С. 359; Т. XXIII. — СПб., 1910. С. 150; Т. II. — М., 1962. Стб. 234–236.

Наиболее распространенной мерой наказаний в XIV — первой половине XVI века были традиционные разнообразные штрафы. Они вошли в судебную практику Руси еще в XI веке, постепенно заменив собой архаичную кровную месть, которая была присуща обычному праву восточных славян. Эта санкция доминировала среди решений судов средневековой Руси по земельным и многим уголовным «делам». Отличительным наказанием для «татей» (воров) было их «пятнание» клеймом. Позорный знак ставился на лице преступника, чтобы постоянно напоминать грешнику о нарушении им божественной заповеди и предостеречь окружавших его людей от опасности сближения с порочным человеком.

Особую категорию заключенных составляли волхвы, колдуны, еретики. Им были уготованы «очистительные» казни — утопление или «огненная купель». Идея расправиться с нечестивыми богоотступниками могла исходить от общинников, княжеской или церковной власти. В 1375 году новгородцы «ввергоша в воду, в Волхов, стриголников еретиков». В 1411 году псковичи обвинили в колдовстве и сожгли одиннадцать «вещих женок». В 1443 году пламя костра погасило можайского боярина Андрея Дмитриевича и его жену. Супругов обвинили в волшебстве и сожгли по указу можайского князя Ивана Андреевича. Зимой 1504 года «князь великый Иванъ Васильевичь и сынъ его князь великый Василий Ивановичь всея Руси со отцемъ своимъ съ Симономъ съ митрополитомъ и съ епископы и съ всемъ соборомъ обыскаша еретиковъ и повелеша ихъ лихихъ смертною казнью казнити; и сожгоша въ клетке диака Волка Курицына, да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова, декабря 27, а Неврасу Рукавову повелеша языкъ урезати и въ Новгороде въ Великомъ сожгоша его. И тое же зимы архимандрита Касьяна Юрьевского сожгоша, да брата его Ивашка Самогорного, да Гридю Квашню, да Митю Пустоселова и иныхъ еретиковъ сожгоша, а иныхъ

въ заточение розослаша, а иныхъ по манастыремъ». В начале XVI века новгородский архиепископ Серапион спас от сожжения трех боярынь, подозревавшихся в колдовстве. В те же годы был оклеветан старец Иосифо-Волоколамского монастыря Фофан. Тайные враги обвинили инока в волхвовании. Они требовали казнить монаха и угрожали удельному князю Федору Борисовичу Волоцкому: «Только его не сожжешь, да его сына Михаля, ино погибнути тебе да и городу твоему». Напуганный зловещим предсказанием, князь повелел уничтожить инока-кудесника с его сыном в «огненной купели»[1].

В целом система наказаний в средневековой Руси (до середины XVI века) преследовала цель не калечить правонарушителей, устрашая таким образом все общество, а опозорить их, заставить раскаяться в греховном поведении и вернуться к законопослушной жизни. Но тех, кого, по мнению представителей властей, «исправить» было невозможно, а именно: убийц, разбойников, воров-рецидивистов, изменников, мятежников и крамольников, еретиков и «поганых» язычников, — всех их следовало уничтожать, чтобы своим участием в общественной жизни они не мешали строительству целостного Русского государства. При этом законоведы того времени тщательно расследовали причины и обстоятельства совершенных преступлений. Виновность правонарушителя требовалось доказать. Исключения делались только для особо важных государственных преступников, судьбу которых вершил монарх. Но в этом случае ошибочные приговоры были исключены, потому что истину устанавливал не обыкновенный человек, а сакральный судья, до конца XV века претворявший

[1] ПСРЛ. Т. XX. Первая половина. Ч. 1. — С. 375; Т. XXVII. — М. — Л., 1962. С. 272; Алексеев А. И. Власть и общество Древней Руси в отношении к колдовству и ереси XI – XVI вв. (казни посредством сожжения) // Российская государственность: история и современность. — СПб., 2003. С. 49 – 50.

в жизнь решения Всевышнего, в XVI столетии превратившийся в «земного бога». В период опричнины Ивана Грозного устоявшаяся система поддержания и охраны правопорядка в Русском государстве была расстроена, на смену законности пришли произвол, насилие, беспрецедентные по жестокости пытки и казни, порождавшие страх, деградацию человеческой личности и «клятвопреступников», и их палачей, дезорганизацию отдельных политических институтов и общества в целом.

«Чтоб неповадно было так делати»

Лариса Аладьина

Карательная политика — неотъемлемая составляющая государственной системы. Первым документом, дающим целостную картину о существовавшей системе наказаний в Древнерусском государстве, является Русская Правда. Система наказаний основывалась на взимании штрафов и виры за совершенные преступления, размер которых отражал как тяжесть совершенного преступления, так и социальную принадлежность потерпевшего: за убийство смерда или холопа взималось 5 гривен, а за княжеского тиуна — 80 гривен. При этом в Русской Правде отсутствовала смертная казнь. В процессе централизации государственного аппарата, усиления самодержавия, обострения социальных противоречий система наказаний ужесточается. Данная тенденция проявляется уже в Судебниках 1497 и 1550 годов и закрепляется в Соборном уложении 1649 года.

Соборное уложение 1649 года позволяет выявить иерархию преступлений в соответствии с их тяжестью: преступления против церкви и религии считались наиболее тяжкими, им посвящена I глава; за ними следуют государственные преступления — против жизни, здоровья и чести государя (II, III главы) и преступления против порядка управления (IV – VI главы); преступления против собственности и преступления против личности. Данная система отражала основные тенденции развития Российского государства XVII века: усиление централизации вла-

ти предопределило особое место государственных преступлений и ужесточение борьбы с ними; при этом государственные преступления сочетают в себе как преступления против государственного строя, так и против личности государя. Следует отметить, что преступления против личности занимают нижнюю ступень в иерархии, что объясняется снижением правового статуса населения Российского государства, в том числе в связи с развитием крепостного права.

Соборное уложение содержит основные виды наказаний за политические и общеуголовные преступления. Наиболее распространенным наказанием являются *телесные наказания* (членовредительные и болезненные), которые предусматриваются 97 статьями. *Членовредительные наказания* подразумевают отсечение руки и усечение ушей и носа. *Болезненные наказания* подразделяются на битье кнутом и батогами. Причем *битье кнутом* представляет более тяжкое наказание по сравнению с *битьем батогами* и предусматривается чаще (соответственно, 73 статьи предусматривают наказание кнутом, 16 статей — батогами). Телесные болезненные наказания могли быть обычными и *беспощадными*, когда палачу вменялась особая суровость при их исполнении. Достаточно часто предусматривалось сочетание нескольких видов наказаний: телесных, тюремного заключения, реже ссылки.

На втором месте по частоте применения находится такая мера наказания, как *смертная казнь*. Смертная казнь подразделялась на *квалифицированную* (требовавшую особой подготовки и связанную с физическими страданиями преступника) и *неквалифицированную* (обычную). В Соборном уложении неквалифицированная смертная казнь упоминается гораздо чаще, чем квалифицированная (соответственно, 43 и 16 статей). Квалифицированная смертная казнь исполнялась в виде сожжения, закапывания в

землю (за убийство мужа), залития горла свинцом (за фальшивомонетничество).

Артикул воинский 1715 года, созданный Петром I, явился олицетворением жестокой политики абсолютизма в отношении как уголовных, так и политических преступников. Способы исполнения наказания по Артикулу более разнообразны и в основном направлены на усиление физических страданий осужденного: так, квалифицированная смертная казнь по Артикулу воинскому помимо сожжения и залития горла металлом предусматривала четвертование и колесование. Иногда специально предписываются дополнительные мучения перед выполнением смертной казни: «...тогда ему язык раскаленным железом прожжен, и потом отсечена глава да будет»[1]. К телесным болезненным наказаниям прибавляется битье шпицрутенами, заковывание в железо. По сравнению с Соборным уложением гораздо чаще предусматриваются членовредительные наказания: усечение сустава, рук, носа, ушей, клеймение.

Описанные наказания, не связанные с лишением свободы, занимали значительное место в отечественной карательной практике до середины XVIII века благодаря простоте исполнения и малозатратности. Основная цель наказания — кара преступника и превенция преступлений путем устрашения, «чтобы на то смотря иным неповадно было так делати...»[2] Однако в процессе развития общества система наказаний усложняется. Постепенно значительное место в ней приобретают наказания, связанные с лишением свободы.

Тюрьма

Тюремное заключение занимало значительное место в отечественной системе наказаний начиная

[1] Артикул воинский. Арт. 3.

[2] Соборное уложение 1649 г. Гл. III. Ст. 1, 9.

с XVII века. Термин «тюрьма» (от thurm — башня) в русском языке имел ряд аналогов — острог, поруб, погреб, иногда яма. Тем не менее смысловая нагрузка оставалась единой: понимается «принудительное помещение человека в наказание за учиненное им преступное деяние в государственное сооружение, ограничивающее свободу передвижения его определенным пространством»[1]. Такого рода заключение, выступавшее в основном в качестве превентивной меры, было известно еще в Древней Руси, однако в качестве наказания оно впервые упоминается в Судебнике 1550 года. К XVII веку значение тюремного заключения в системе наказаний значительно увеличивается: в Соборном уложении 1649 года тюрьма упоминается более чем в 40 статьях. Несмотря на довольно широкое распространение тюремного заключения по Соборному уложению, оно чаще использовалось в качестве дополнительного, а не самостоятельного наказания, сопровождалось пытками и телесными наказаниями. В качестве самостоятельной меры тюрьма применялась в основном к несостоятельным должникам. Общая тенденция на ужесточение наказаний в XVII веке находит свое выражение в отягчении тюремного заключения путем наложения кандалов — заключение «в железо». Данная мера носила не только карательное, но и превентивное значение. К XVIII веку тюремное заключение как мера наказания теряет свое значение и остается главным образом мерой предварительного заключения, которое, впрочем, могло быть и весьма долговременным — несколько лет и более. Так, в указе от 1727 года говорилось, что «по поданным ведомостям таковые находятся, что не в весьма тяжкие прегрешения впали, а содержатся по году и более; к тому ж о Майоре Воеводском особливо указала Ея Императорское Вели-

[1] Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. — М., 2000. С. 285.

чество дело вскоре решить, ибо он 10-й год под караулом содержится»[1].

В конце XVII века тюрьма как вид наказания вытесняется ссылкой, и до второй половины XVIII века «тюремный вопрос» фактически не поднимался, что четко прослеживается на законодательном уровне. По справедливому замечанию М. Н. Гернета, «составителям Свода приходилось разыскивать статьи о тюрьме не без труда, и они находили их тем скорее, чем ближе к ним по времени были годы издания тех или других законов, и наоборот»[2]. Со второй половины XVIII века тюремное заключение возвращается в пенитенциарную практику Российского государства: во второй половине XVIII века появляется Проект устава о тюрьмах; в начале XIX века учреждается Общество попечительное о тюрьмах. Данный процесс связан с реформаторской деятельностью в сфере уголовно-исполнительной политики, которая во многом основывалась на идеях западноевропейских реформаторов. В Западной Европе тюрьма традиционно являлась основной организационной формой исполнения наказания. На практике тюремное заключение не получило широкого распространения и до конца XIX века применялось гораздо реже ссылки и каторжных работ, главным образом для подследственных. Объективно, тюрьма не соответствовала российским условиям и не могла удовлетворить потребности российской уголовно-исполнительной политики.

В истории развития пенитенциарной системы Российского государства особое место занимают монастырские тюрьмы со своим особым режимом и распорядком. В монастыри заключались, во-первых, лица, совершившие преступления против веры и

---

[1] Полное собрание законов Российской империи. Собр. I (далее — ПСЗ). Т. VII. № 5059.

[2] Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 томах. Т. 2. — М., 1951 – 1956. С. 33.

церкви, во-вторых, лица, представлявшие опасность для государства, чему способствовала относительная изолированность монастырей. В XVI – XVIII веках многие монастыри выполняли функцию государственных тюрем для заключения в них наиболее важных преступников не только против церкви и религии, но и против государства и правительства, против общественной нравственности и т. д. Как правило, ссылка в монастырь сопровождалась насильственным пострижением в монашество. Наиболее известные мужские монастыри, использовавшиеся в качестве тюремного заточения: Николаевский Карельский Архангельской губернии; Сийский на Северной Двине; Спасо-Прилуцкий; Новгород-Северский; Кирилло-Белоозерский; Валаамский; Юрьевский под Новгородом; Псковский; Свияжский Казанской губернии; Далматовский Успенский Пермской губернии; Троицкий Селенгинский; Вознесенский Иркутский; Успенский Нерчинский[1]; Суздальский Спасо-Евфимьев и Соловецкий. В указах и инструкциях подробно излагаются правила содержания монастырских заключенных: «А когда оный колодник в Соловецкий монастырь привезен будет, и ты б, богомолец наш, архимандрит (такой-то) с братией, его, колодника, в Соловецкий монастырь приняли и посадили бы в тюрьму вечно и велели держать его там безвыходно, чтобы он, колодник, из оной тюрьмы не ушел, и бумаги, и чернил ему не давать, и ежели он, колодник, сидя в тюрьме, станет кричать и сказывать за собою наше государево слово и дело, и таких, приносимых от него слов не слушать»[2].

Монастырское заключение считалось одним из самых суровых наказаний не только из-за тяжелых условий, но и потому, что при заключении в мона-

---

[1] См.: Пругавин А.С. Монастырские тюрьмы // Право. 1903. № 7. С. 440.

[2] Там же. С. 438.

стырь сроки заточения чаще всего не указывались либо делалась отметка «навечно». Кроме того, в силу особой опасности заключенных лиц для церкви и государства им с особой строгостью предписывалась изоляция от посторонних, служителей монастыря, иногда от охраны: «И стоять ему, колоднику, в крепкой тюрьме, под смотрением того монастырского архимандрита, а караульным унтер-офицеру и солдатам иметь крепкое и неусыпное над ним, колодником, смотрение и осторожность, чтобы при нем пера, чернил и бумаги отнюдь не было и чтобы он ни с кем ни в какие разговоры не вступал и ничего бы непристойного не разглашал и не говорил, чего ради к нему не токмо из посторонних никого, но и из монастырской братии и служителей ни в келью, ниже во время слушания литургии и прочего церковного пения, ни для чего не допускать и разговаривать запрещать»[1]. Двери тюремных келий особо опасных преступников запечатывали специальными печатями: «Когда он, колодник, посажен будет в тюрьму, тогда к нему приставить караул, и всегда бы с ружьями было по два человека на часах, один от гвардии, а другой из гарнизонных. Двери бы были за замком и за твоею печатью, а у тюрьмы окошко было б малое, где пищу подавать; да и самому тебе в тюрьму к нему не ходить, ниже другого кого пускать, и его, колодника, в церковь не допускать. А когда он заболит и будет весьма близок к смерти, то по исповеди приобщить его Св. тайной в тюрьме, где он содержится, и для того двери отпереть и распечатать, а по причащении оные двери запереть и запечатать тебе своею печатью и приказать хранить накрепко, как в прежних указах объявлено»[2]. Самым тяжким наказанием считалось заключение в так называемые «земляные тюрьмы», которые представля-

---

[1] Пругавин А.С. Указ. соч. С. 438 – 439.

[2] Там же. С. 439 – 440.

ли собой вырытую в земле яму, края были обложены кирпичом, крыша состояла из досок; в крыше находилось небольшое отверстие, закрывавшееся дверью и запиравшееся на замок, в которое опускали и поднимали узника, а также подавалась пища. Пол устилался соломой, для естественной нужды подавались особые судна, которые поднимались и очищались раз в сутки[1].

Помимо заточения в мужские монастыри широкую практику получило заключение в женские монастыри: Покровский и Ризоположенный в Суздале; Далматовский Введенский Пермской губернии; Кашинский Тверской губернии; Енисейский Рождественский; Иркутский Знаменский. В Енисейском Рождественском монастыре было устроено особое тюремное отделение с железными решетками для помещения «преступниц женского пола». Зачастую в женские монастыри ссылались женщины без обозначения их имен и фамилий; находились среди них и такие, «которые быв обречены вечному заточению, помещались в отдельных каютах (казематах), и их даже не велено было выпускать в храм Божий»[2]. Заточение в женские монастыри также имело различные условия и сроки вплоть до бессрочного пожизненного заключения. Монастырские тюрьмы с их средневековыми порядками просуществовали до конца XIX века. Можно отметить, что реформирование уголовно-исполнительной системы России затронуло их в последнюю очередь.

Снижение роли тюремного заключения в качестве меры наказания и вытеснение его ссылкой к началу XVIII века имело несколько причин. Во-первых, нужно отметить значительные расходы государства на содержание тюрем даже в том виде, в котором они существовали в этот период. В частности, указом от

[1] Пругавин А.С. Указ. соч. С. 436.

[2] Там же. С. 442.

1687 года отдавалось распоряжение о починке тюрем на местах, где говорилось о следующих возможных расходах: «...и тем Воеводам велеть градским и уездным людям сметить при тех подьячих, что на те тюрьмы починки, какова лесу и иных всяких припасов порознь надобно, и почему за какие припасы и плотникам от дела доведется дать прямой ценой без прибавки; а будет в которых городах тюрьмы вовсе худы и починить их невозможно, на то тюремное строенье, что какова лесу и иных припасов надобно и за дело плотникам, по тому же сметить прямою ценою, как в тех городах лес и всякие припасы купят без прибавки ж, да те сметные росписи тем подьячим за Воеводскими и ценовщиковыми и за своими руками привезти к Москве в приказ Сыскных дел»[1]. Во-вторых, к XVIII веку тюрьмы уже не справляются с потоком осужденных, что стало следствием ужесточения уголовной политики государства в целом. В-третьих, концентрация преступного элемента в городах центральной России, где находились тюремные учреждения, угрожала безопасности общественного порядка в этих регионах. Целесообразным было направить эту массу на окраину государства, что и выполнялось при помощи ссылки. В-четвертых, колониальная политика государства на освоение окраинных территорий, главным образом Сибири, требовала значительных людских ресурсов. При существовавшем крепостном праве этими людскими ресурсами могли быть преимущественно лица, потерявшие свой прежний правовой статус, — осужденные преступники, которые подвергались ссылке.

Ссылка

Ссылка, в отличие от тюремного заключения, занимает доминирующую позицию в системе организационных форм исполнения наказания Российского

[1] ПСЗ. Т. II. № 1271.

государства с XVIII века. Развитие ссылки в описываемый период характерно не только для России, но и для других государств: в частности, широкое распространение получила английская ссылка в Северную Америку. В течение XVIII—XIX веков развивается австралийская ссылка, где использовалась нещадная эксплуатация осужденных. Во Франции на протяжении XIX века существовала ссылка в Гвиану и Новую Каледонию. В Великобритании и во Франции ссылка теряет свое значение во второй половине XIX века; аналогичные тенденции наблюдаются и в России. В целом ссылка как организационная форма исполнения наказания тесно связана с колониальной политикой вышеперечисленных государств, но российская ссылка имеет ряд особенностей. В отличие от западноевропейских стран, в России происходит процесс интенсивного освоения собственных окраинных территорий. При этом русские колонисты, значительная часть из которых были ссыльными, несли туда культурные традиции.

Наиболее широкое распространение получила сибирская ссылка. Появившись раньше остальных, она занимает доминирующее положение на протяжении XVII—XVIII веков и не теряет своего значения в XIX веке. В XVII веке идет процесс активного освоения Сибири, и контакты колонистов с аборигенами носили не всегда мирный характер.

В XVII веке в Сибири сложились три группы крестьянского населения: государевы пашенные крестьяне, оброчные и монастырские крестьяне. С начала XVIII века при заселении Верхнего Приобья основную массу составляли оброчные крестьяне. Также в начале XVIII века первое место среди земледельцев занимали служилые люди. За земледельческим населением, складывавшимся в Сибири из различных пришлых элементов и местных выходцев из других сословий, прочно закрепился термин «разночинцы». Со временем различия в положении крестьян и раз-

ночинцев стирались. Уже в 1740-е годы воеводская канцелярия не делает особых отличий между крестьянами и разночинцами, а в 1770-х годах термин «разночинцы» перестает употребляться. К XVIII веку ситуация в этом регионе меняется: период покорения местного населения закончился, был окончательно установлен контроль центральной власти в лице ее официальных структур. В связи с этим меняется и колониальная политика: правительство заинтересовано в извлечении материальных ресурсов Сибири. Соответственно, ссылка приобретает все большее значение, применяется как самостоятельная мера наказания, вытесняя тюремное заключение и телесные, особенно членовредительные, наказания. В указе от 1679 года говорится: «Воров, коих пойманы будут, и в расспросе и с пыток учнут на себя говорить в воровствах и за те их воровства заведется им чинить казнь, сечь руки и ноги: и тем ворам той казни не чинить, а ссылать их в Сибирь на пашню, с женами и детьми на вечное житье»[1]. Таким образом, проявляются новые тенденции уголовно-исполнительной политики государства, выразившиеся в постепенном отказе от членовредительства как устрашающего наказания в пользу сохранения людских ресурсов для проведения колонизации. Осужденные начинают прагматично использоваться для решения социально-экономических проблем государства.

Ссылка как мера наказания была достаточно многообразна. И. Я. Фойницкий выделяет несколько видов ссылки по целевому признаку: ссылка как мера опалы, ссылка как мера милости, ссылка как мера безопасности, ссылка как способ текущего управления[2]. В качестве меры опалы ссылка применялась в основном к политическим противникам либо провинив-

[1] ПСЗ. Т. II. № 772.

[2] Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 245.

шимся иным образом лицам, приближенным к власти (например, Меншиковы, Долгорукие и др.). Данный вид ссылки можно отнести к политической, понимая под этим исключительно борьбу за власть. Только к середине XIX века, после восстания декабристов, ссылка начинает приобретать ярко выраженный политический характер (политическая ссылка) в качестве наказания лиц, выступающих против существующего государственного строя. В период XVII – XVIII веков «политическая ссылка», очевидно, не оказывала какого-либо существенного влияния ни на политическую ситуацию в целом, ни на уголовно-исполнительную политику в частности.

Ссылка в качестве милости применялась по отношению к военнопленным иноземцам, а также к преступникам, осужденным к смертной казни или позднее к каторге, замененной ссылкой. Первоначально ссылались военнопленные, которые отправлялись на окраины России, преимущественно в Астрахань и Сибирь И. Я. Фойницкий указывал, что «в Астрахани в XVII ст. было много ссыльных иноземцев, между ними даже индейцы. Литву на государевой службе в Сибири мы встречаем уже с XVI ст.; их, а также других военнопленных иноземцев по окраинам распределял разряд. В Сибири в XVII ст. мы находим полоненников поляков, немцев и других иностранцев...»[1]

В отношении общеуголовных преступников ссылка в качестве милости начинает применяться несколько позже. Первоначально помилование выражалось в отказе от членовредительных наказаний, как в вышеупомянутом указе от 1679 года[2], и смертной казни. Ссыльные подразделялись на сосланных «за смертные вины» и «не за смертные вины». Приговоренных к смертной казни, замененной ссылкой, клей-

---

[1] Фойницкий И.Я. Указ. соч С. 245.

[2] ПСЗ. Т. II. № 772.

мили; в случае побега клеймили повторно, при новом побеге предавали смертной казни: «Которые воры за смертные вины будут запятнаны и из тех мест, куда они в ссылку посланы, сбегут, и пойманы они будут на Москве или в городах, кроме воровства, и тем чинить жестокое наказание, бить кнутом, запятнать в другой ряд на правой щеке и ссылать в ссылку; а буде там пятнанные воры объявятся из бегов и пойманы будут хотя в малой причине к воровству, и тех казнить смертию, не докладывая Их Великим Государям...»[1]

В XVIII веке амнистии, происходившие достаточно часто, широко применяли ссылку в качестве помилования. По именному указу от 1728 года «для коронования» Петра II объявлялось помилование на следующих условиях: «Которые колодники держатся ныне в различных воровствах, кроме касающихся дел к первым трем пунктам и смертных убийств и неоднократных разбоев, за которые вины подлежат смертной казни или ссылке вечно в каторжную работу: тем учиня наказание, послать в Сибирские города; а которые надлежат к каторжной ссылке временно, а именно на 3 года и больше, тех без наказания послать в Сибирские ж города на вечное житье, которых Губернатору определить в службу по своему рассмотрению»[2]. По указу от 13 ноября 1740 года принцессы Анны Брауншвейг-Люнебургской «для поминовения блаженныя и вечнодостойныя памяти Великой Государыни Императрицы Анны Иоановны», определялось «сосланных на каторжную работу с вырезанием ноздрей за побеги драгун, солдат, матросов и рекрут, от той работы освободить, и послать в Сибирь и тамо Сибирскому Губернатору определить и разослать их на житье в тамошние дальние городы»[3].

---

[1] ПСЗ. Т. III. № 1394.

[2] Там же. Т. VII. № 5242.

[3] Там же. Т. XI. № 8292.

В качестве меры безопасности ссылка представлялась удобной мерой наказания и может рассматриваться в широком и узком значении. В узком значении ссылка рассматривается по отношению к жителям усмиренных или вновь присоединенных провинций, например Новгорода, Пскова, Полоцка в 1563 году[1], а также опальных лиц, обвиненных в государственных преступлениях. В XVII веке с усилением самодержавия все большее значение придается государственным преступлениям, под которыми понимались «скоп и заговор». В соответствии с нормами Соборного уложения 1649 года, в частности главы II «О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать», за все подобные преступления следует смертная казнь. Однако в частных случаях, когда устанавливалась более легкая провинность, в отношении «опасного» лица могла применяться ссылка. Так, стольник князя Юсупова в 1648 году был присужден к конфискации всех поместий, вотчин, «животов» и к ссылке в дальние сибирские города за то, что, услышав «от своего человека непристойное слово, будто царь Алексей Михайлович не прямой государь, таил то четыре месяца неведомо для какой причине»[2]. Аналогично ссылка могла применяться в отношении невиновных родственников государственного изменника. Так, несмотря на подтверждение, что родственники «про его, Ивашкину измену, никак не ведали, по государеву указу велено братьев изменника Ивашки Козлова и мать его и сестру... сослать на житье в Казанские городы и устроить в службу»[3].

В широком значении ссылка как мера безопасности может рассматриваться в отношении общественного порядка, который подвергался угрозе со стороны

---

[1] Фойницкий И.Я. Указ. соч С. 246.

[2] Тельберг Г.Г. Очерки политического суда. С. 130. Цит. по: Российское законодательство X – XX вв. Т. 3. С. 265.

[3] Тельберг Г.Г. Указ. соч. С. 251 – 252. Цит. по: Там же. С. 263.

преступных элементов. Как указывалось выше, одной из причин снижения роли тюремного заключения по сравнению с ссылкой в XVIII веке являлась концентрация преступного элемента в городах Центральной России, где находились тюремные учреждения, что угрожало безопасности общественного порядка в этих регионах. Насколько актуальной оставалась данная проблема, указывают документы XVIII века. В частности, неоднократно предпринимались попытки борьбы с беспорядками, которые устраивали тюремные заключенные «по слабости караульных за ними солдат, и проезжающих и идущих всякого чина людей прося милостыню, что весьма им чинить запрещено, чем не малое бесславие здешнему городу наносят, ибо между тем нередко случается, что и чужестранные персоны мимо их проезжают; паче же всего опасно, дабы такие злодеи, будучи в отчаянности и имея при себе на работах ломы и пешни железные и другие вредительные инструменты, из каковой злости не уязвили кого напрасно»[1]. В борьбе с этим явлением ссылка представлялась вполне приемлемым вариантом не только в качестве меры наказания, но и безопасности общественного порядка в городах Центральной России.

Ссылка как способ текущего управления широко применялась в тех случаях, когда в данной местности была необходимость в людских резервах. В этом отношении показательны указы о перемещении ссыльных в различные регионы России. География ссылки представляется довольно многообразной. До XVIII века преимущественно практиковалась ссылка в Сибирь, хотя встречаются и более размытые формулировки — «в ссылку, куда кто доведется»[2], «в Сибирь и иные городы»[3]. В этот же период встречаются более

[1] ПСЗ. Т. XIV. № 10541.

[2] Там же. Т. II. № 1004.

[3] Там же. Т. III. № 1430.

вариативные указания: например, в указе от 1692 года «в Сибирь, на Вологду, а которых в Киев, в Переяславль, а которых на Терек, в Симбирск, также кого и в иные городы»[1]. В XVIII веке появляется ссылка в Астраханскую губернию и в Оренбург.

В процессе эволюции ссылки на протяжении XVII – XVIII веков четко прослеживаются изменения уголовно-исполнительной политики государства в целом. Ссылка различалась на ссылку на поселение, ссылку в тюрьму и ссылку в работы. Не останавливаясь подробно на ссылке в тюрьму, отметим, что туда по распоряжению из Москвы назначались важнейшие из опальных либо по усмотрению местных властей подлежали ссыльные по мотивам безопасности. Представляет интерес эволюция ссылки на поселение. На протяжении XVII века правительство, проводя колониальную политику, было заинтересовано главным образом в заселении новых территорий, поэтому осужденные, как правило, ссылались «на житье» с семьями. По указу 1679 года требовалось преступников «ссылать в Сибирь на пашню, с женами и детьми на вечное житье»[2]. В указе 1680 года уточняется, что ссылать следует «...с женами и детьми, которые дети будут трех лет и ниже, а которые дети больше трех лет, и тех не ссылать»[3]. Ссыльные посылались «на пашню» и «в службу» и в целом восполняли недостаток русского населения, занимая свою нишу в этом социуме. В ссылку, таким образом, попадало не только трудоспособное население, но и престарелые, и малолетние, что на данном этапе не расходилось с интересами государства.

В связи с экономическим ростом Российского государства, возрастанием потребности в рабочих руках и новых материальных ресурсах в начале

---

[1] ПСЗ. Т. III. № 1449.

[2] Там же. Т. II. № 772.

[3] Там же. № 846.

XVIII века начинает широко применяться ссылка «в работы». В указе от 1701 года говорится о борьбе с неработающим элементом: «А буде которым ссыльным людям мочно пашни пахать: и тем людям вместо хлебного жалования принудить к пашне, хотя человек по пяти и по шести вобче, чтобы им сперва к той работе приставать было не трудно. А буде которым ссыльным людям, по указным Великого Государя грамотам велено быть на пашне, а они живучи в Нерчинске пашни не пашут, и велеть над ними смотреть, чтобы они на пашни строились и пашню пахали с радением неоплошно... и того накрепко смотреть, которые гуляки ни за какое ремесло не примутся: и их смирять и дело делать и ремеслу учинить заставливать...»[1]

Большое значение начинает придаваться «государевой пользе» в проведении политики по распределению ссыльных и уголовно-исполнительной политики в целом. В указе от 1732 года говорится: «...велено осужденных... для умножения людей ссылать на житье в Охотск, по силе которого Вашего Величества указа, и отослано туда по ныне разных чинов 153 чел.; а понеже неизвестно есть, какая из тех людей будет там Государева польза, и не могут ли они при том месте напрасно пропасть...»[2] При возведении Оренбурга также преследовалась двойная цель заселения местности и ускорения строительных работ: «Для новости города Оренбурга, как купецких, так и мастеровых и ремесленных людей, подлежащих по указам за вины их в ссылку на житье в Сибирь и на заводы, отныне таких людей ссылать на житье... в Оренбург, дабы таким образом в том новом месте промышленных и мастеровых и ремесленных людей умножено быть могло»[3]. Исходя из экономических

---

[1] ПСЗ. Т. IV. № 1822.

[2] Там же. Т. VIII. № 6205.

[3] Там же. Т. XII. № 8906.

интересов государства правительство начинает четко разграничивать осужденных к ссылке по степени их пригодности к работе, предпочитая, чтобы не присылались «престарелые такие, кои ни в какую службу и пользу употреблены быть не могут, и расход на них казенными деньгами и провианту бывает туне»[1].

В соответствии с экономическими потребностями получает развитие ссылка в тот или иной регион. В 1701 году это Нерчинск[2], в 1732-м приговоренных к ссылке в Охотск «для государевой пользы» пересылают «на Сибирские заводы» и на «Астраханские Красноярского ведомства Артиллерийского сеитерные заводы»[3]. С 1739-го до конца 1740-х годов ссылаются преимущественно в Оренбург, по указу от 1754 года — в Сибирь, Оренбург, на каторгу в Рогервик[4], в 1755 году — в Сибирь[5]. В 1760 году «для лучшего приумножения в Сибири при Нерчинских серебряных заводах работ и поселений» издается указ «Об отправлении впредь в Сибирь для работы и поселения при Нерчинских заводах колодников обоего пола, осужденных к ссылке в Рогервик и в другие места»[6], а в 1762-м указ «О прекращении ссылки на Колыванские заводы колодников, и о селении их... на дистанциях от Тобольска к Иркутску, а от Иркутска до Нерчинска»[7]. В дальнейшем ссылка не только не теряет своего значения в системе наказаний, но и продолжает свое развитие вплоть до начала XX века.

---

[1] ПСЗ. Т. XI. № 8093.

[2] Там же. Т. IV. № 1822.

[3] Там же. Т. VIII. № 6205.

[4] Там же. Т. XIV. № 10226.

[5] Там же. № 10444.

[6] Там же. Т. XV. № 11123.

[7] Там же. № 11414.

Каторга

Каторга возникает в России в 1699 году и представляет совершенно новую организационную форму исполнения наказания. Появление каторги представляется закономерным процессом и связано с особенностями социально-экономического и политического развития Российского государства второй половины XVII — начала XVIII века. Причиной, обусловившей появление каторжных работ, явился экономический рост Российского государства: подъем промышленности, необходимость строительства новых городов, строительство флота. Возникает необходимость в относительно дешевой «свободной» рабочей силе, причем в огромных масштабах. При существовавшем крепостном праве рабочую силу в требуемом количестве могли представлять только осужденные преступники.

Первоначально каторга означала «ссылку на галеры» — парусно-гребные суда Азовского и Балтийского военно-морского флота, которые в народе именовались каторгами. В Артикуле воинском встречаются оба термина — «на галеру ссылкою наказать», «посылкою на каторгу наказан быть». Наиболее широко применялась каторга на Азов и в Рогервик (Балтийский порт). Каторжные использовались при строительстве новой столицы Санкт-Петербурга, а позже Оренбурга. Со временем каторга потеряла свое первоначальное значение в качестве «ссылки на галеры» и рассматривалась как организационная форма исполнения наказания, основной особенностью которой являлось принудительное исполнение тяжелой работы.

Каторга разделялась на вечную и временную с обозначением срока либо «до указу». Только в 1721 году издается указ «О ссылке на каторгу винных с назначением срока», в котором говорилось: «...ежели кто за какие вины осужден будет в каторжную работу на время, а не вечно, и о таких усматривая и объ-

являя вины их, присылать на урочные годы по указу, а не таким образом, как на напред сего»[1]. Каторга была вторым по тяжести видом наказания после смертной казни. Иногда законодательство предоставляло выбор на усмотрение судебной инстанции при назначении наказания: казнить «смертию или вечно на галеру ссылкою наказать»[2].

Особенность каторги как организационной формы исполнения наказания состояла в сочетании сразу нескольких карательных элементов: во-первых, лишение свободы на срок или пожизненно; во-вторых, обязательный принудительный труд на тяжких государственных работах; в-третьих, содержание каторжных на особо строгом режиме; в-четвертых, обязательное применение к каторжным членовредительных или болезненных наказаний.

Значение каторги в системе наказаний значительно усиливается после отмены смертной казни в 1744 году, в связи с чем большой поток людей, осужденных «на натуральную и политическую смерть», отправляется на каторгу. Это привело к тому, что законодатель более четко начинает разграничивать статус каторжных: на осужденных к каторге как таковой и осужденных «на натуральную и политическую смерть»[3]. Так, в соответствии с указом «О рассылке Юстиц-коллегии одинаких знаков для клеймения преступников, и распределения их в каторжные работы по степени преступлений», присужденных к натуральной смерти следовало клеймить специальными «литерами» и «употреблять с отменою против других в тяжкую всегдашнюю работу»[4]. В отличие от них, осужденных на вечную ссылку требовалось исполь-

[1] ПСЗ. Т. VI. № 3815.

[2] Артикул воинский. Арт. 166.

[3] ПСЗ. Т. XIII. № 10101.

[4] Там же. Т. XIV. № 10305.

зовать на работах «со облегчением, то есть выключением праздников и воскресных дней». Все эти мероприятия ставили целью градацию осужденных, «чтоб оные по винам их в тех работах сравнены не были»[1].

В XVIII веке наблюдается тенденция к сближению двух организационных форм исполнения наказания — ссылки «в работы» и каторги. Зачастую законодатель не делает разграничения между ссыльными и каторжными, объединяя в одном документе тех и других[2]. Так, в Высочайше утвержденном докладе графа Миниха «О распределении ссылочных по разным казенным заводам» говорится об осужденных «на каторги и в ссылки, или за долги зарабатывать за большие суммы на многие годы»[3]. Появляется термин, сочетающий обе формы, — «ссылка на каторгу»[4]. Данная тенденция объясняется изменением задач уголовно-исполнительной политики, в соответствии с которыми главное значение приобретает использование работы осужденных для государственной пользы.

Смирительные дома

XVIII век характерен относительной открытостью к восприятию Россией западноевропейского опыта и его реализации при реформировании различных государственных структур. Это относится как к петровским преобразованиям, так и к законотворчеству Екатерины II. Заимствование европейских традиций наблюдается и в уголовно-исполнительной сфере: в частности, в образовании новых организационных форм исполнения наказаний, примером чего являются *смирительные и работные дома*.

---

[1] ПСЗ. Т. XIV. № 10305.

[2] При этом существовало разграничение в правовом статусе.

[3] ПСЗ. Т. VIII. № 6205.

[4] Там же. Т. XIV. № 10764.

Исследователи по-разному оценивают деятельность смирительных и работных домов, отождествляя их с более привычными организационными формами исполнения наказания, хотя очень различными по сути — либо с тюрьмой[1], либо с каторгой[2]. Представляется возможным полагать, что смирительные и работные дома являлись самостоятельной формой исполнения наказания, в своей основе заимствованной из западноевропейских стран и не свойственной российским традициям. На это указывают следующие обстоятельства: во-первых, в главе XX «О цухтгаузах (или смирительных домах) и гошпиталях (или больницах)» Регламента Главного Магистрата, в соответствии с которой законодательно возникают смирительные дома, прямо указывается на западноевропейский опыт: «...понеже в других государствах такие домы не токмо в больших, но везде и в малых городах обретаются, и имеют первое свое начало от фундации земского начальства...»[3] Во-вторых, несмотря на энергичные преобразования Петра I, реально смирительные и работные дома появляются лишь во второй половине XVIII века, то есть через полстолетия после издания Регламента. В частности, в 1740 году на запрос в Адмиралтейство и Коммерц-коллегию, в чьих ведомствах должны были такие дома находиться, было объявлено, что «в ведомстве оных, прядильных домов не было и ныне нет»[4]. Очевидно, введение данной формы исполнения наказания было непопулярно в России. Смирительные и работные дома не получи-

---

[1] Гернет М.Н. Указ соч. Т. 2. С. 41 – 42.

[2] Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 252. И.Я. Фойницкий полагал, что во второй половине XVIII века срочная каторга породила «две системы мер, между которыми колеблется правительство и которые действуют параллельно: одна — работы крепостные и местные, другая — рабочие дома».

[3] ПСЗ. Т. VI. № 3708. Гл. XX.

[4] Там же. Т. XI. № 8224.

ли широкого распространения в Российской империи и в последующие годы — во второй половине XVIII — начале XIX века. Это объясняется следующими обстоятельствами: непрактичностью домов в российских условиях; необходимостью значительных затрат на их строительство, которые, по Регламенту Главного Магистрата и Учреждениям для управления губерний, должны были нести местные власти; отсутствием каких-либо российских традиций в этой области.

История работных домов начинается с указов от 1719 года о прядильных домах[1]. Основанием к учреждению прядильных домов послужило обращение компанейщика Московского полотняного завода Андрея Турки «со товарищи» с просьбой о присылке на завод «для пряжи льну баб и девок таких, которые будут на Москве из Приказов, также и из других Губерний по делам за вины свои наказаны»[2]. При этом оговаривалось, что расходы на содержание данных лиц берут на себя вышеназванные «компанейщики» в соответствии с содержанием каторжных[3]. К работам в прядильных домах присуждались лица женского пола, не подлежащие смертной казни[4]. Данная мера наказания, однако, не получила должного развития, и в 1740 году Кабинет министров Ея Императорского Величества выносит резолюцию о постройке такого дома в Москве при парусной прядильной фабрике, но с условием «токмо, чтоб оный дом построен был без всяких казенных убытков»[5].

Смирительные дома учреждаются Регламентом Главного Магистрата[6]. В соответствии с документом

---

[1] ПСЗ. Т. V. № 3306, 3313.

[2] Там же. № 3313.

[3] Там же. № 3306.

[4] Там же. № 3306.

[5] Там же. Т. XI. № 8224.

[6] Там же. Т. VI. № 3708. Гл. XX.

заключению в смирительные дома подлежали лица, «которые суть непотребного житья и невоздержанного, яко сыновья, которые родителям своим також и учителям явятся непослушны, и от злого житья не престанут, и ни к чему доброму склонны не будут; подобно ж которые и совершенного возраста впадут в непотребное житие, учнут имения расточать, домы разорять и прочие непотребности чинить, такожде и рабы непотребные, которых уже никто в службу не приемлет, еще ж ленивые, здоровые, нищие и гуляки, которые не хотя трудиться о своем пропитании, ядят хлеб вотще»[1]. Таким образом, смирительные дома являлись мерой наказания не столько преступного, сколько антисоциального элемента. Основной мерой воздействия на заключенных должен был стать принудительный труд, «чтоб никогда праздны не были». В этом же документе упоминаются прядильные дома, которые должны быть созданы «для непотребного ж и неистового женского пола, которых должно наказывать таким же образом»[2].

Следующим этапом развития законодательства о смирительных и работных домах явились Учреждения для управления губерний от 7 ноября 1775 года. В соответствии с ними, смирительные и работные дома находились в ведении губернского Приказа общественного призрения наряду с народными школами, сиротскими домами, больницами, богадельнями, домами для больных и неизлечимых, домами «для сумасшедших»[3]. Основная задача работных домов — «работою доставить прокормление неимущим» «обоего пола» лицам, добровольно прибывшим для «пропитания» либо присланным по распоряжению губернских властей[4]. Таким образом, произошли изменения

[1] ПСЗ. Т. VI. № 3706. Гл. XX.

[2] Там же.

[3] Учреждения для управления губерний. Гл. XXV. Ст. 390.

[4] Там же.

по сравнению с предыдущим периодом в отношении круга лиц, подлежащих заключению в работные дома: если в начале XVIII века заключению подвергались осужденные женского пола, то во второй половине XVIII — начале XIX века работные дома предназначались главным образом для неимущих, нищих мужского и женского пола. Теоретически задача работных домов изменилась в сторону благотворительности, а не кары, хотя на практике на протяжении XVIII–XIX веков работные дома остаются организационной формой исполнения наказания, к которому прибегали судебные и административные органы.

По Учреждениям для управления губерний задачей смирительных домов определялось ограждение общества «от многих продерзостей добронравие повреждающих... для общего благочиния и спокойствия семей»[1]. Заключению в смирительные дома подлежали следующие категории лиц «обоего пола, которые непотребного и невоздержанного жития»: «1. сыновья и дочери, кои родителям своим непослушны, или пребывают злого жития, или ни к чему доброму не склонны; 2. люди, которые впадут в непотребное житие, начнут расточать имения, долги накоплять вдвое против имения, дом разорять, и чинить непотребности, противные чести; 3. люди, которые начнут без стыда и зазора иметь явно поведение добронравию и благочинию противное; 4. рабы непотребные, которых никто в службу не принимает; 5. рабы ленивые и гуляки, кои все пропивают или проматывают; 6. люди, которые не хотя трудиться для своего пропитания, едят хлеб вотще, и сим подобные; 7. непотребного, неистового и соблазнительного жития женского пола»[2].

Заключению в смирительный дом подвергались по приговору суда, по решению наместническо-

---

[1] Учреждения для управления губерний. Гл. XXV. Ст. 391.

[2] Там же. Ст. 390.

го правления, по просьбе в Приказ общественного призрения со стороны отца, матери либо трех родственников антисоциального лица, по требованию помещика или хозяина («с приписанием причины, для которой ссылает человека в смирительный дом»[1]). Срок заключения в работных и смирительных домах мог быть пожизненным или временным.

В августе 1775 года Екатерина II предписала московскому полицмейстеру открыть работный дом для тунеядцев в ведении полиции. Первый работный дом при полиции был открыт за Сухаревой башней в Карантинном доме, где заключенные использовались для распилки камня. Женский работный дом был открыт в бывшем Андреевском монастыре, на берегу Москва-реки, возле Воробьевых гор; основная работа заключалась в прядении льна. В 1871 году работный дом появился в Санкт-Петербурге, а в 1783 году указом от Сената было предписано создавать работные дома во всех губерниях. По своей сути смирительные и работные дома сочетали в себе заключение как меру изоляции и лишения свободы и принудительный труд. Но, в отличие от тюремного заключения и каторжных работ, принудительный труд осужденных здесь впервые стал рассматриваться в качестве исправительной меры, а не карательной или практической.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в XVIII веке сложились основные организационные формы исполнения наказания в виде тюремного заключения, ссылки, каторги, смирительных и работных домов, что было обусловлено прежде всего общегосударственными целями и задачами и отразило основные тенденции развития уголовно-исполнительной политики государства. Политические задачи по освоению новых окраинных территорий обеспечили развитие ссылки, экономические задачи начала

[1] Учреждения для управления губерний. Гл. XXV. Ст. 390.

XVIII века — использование принудительного труда заключенных и появление новой организационной формы исполнения наказания — каторжных работ. Дальнейшее экономическое развитие и политические тенденции, связанные с процессом становления и развития абсолютизма в России, привели к слиянию данных видов наказания и появлению ссыльно-каторжных работ. Карательная политика, направленная на укрепление абсолютизма, обусловила формы наказания, связанные с физическими и моральными страданиями лиц, лишенных свободы, — каторжные работы с последующим клеймением, широкое распространение телесных и в особенности членовредительных наказаний. Следует подчеркнуть, что в XVIII веке в уголовно-исполнительной политике Российского государства появляются элементы исправительного воздействия на заключенных, следствием чего стало появление смирительных и работных домов. Данные организационные формы были явно заимствованы из пенитенциарной практики западноевропейских стран и не соответствовали социально-экономическим и культурным условиям российского общества, поэтому не могли удовлетворить потребности отечественной уголовно-исполнительной политики. Развитие тюремного заключения связано с процессами реформирования уголовно-исполнительной системы и прошло сложный путь эволюции: к началу XVIII века тюрьма практически исчезает из пенитенциарной практики, вновь появляется в качестве самостоятельной меры наказания во второй половине XVIII века в связи с новыми тенденциями в организации исполнения наказания, продекларированными в период «просвещенного абсолютизма». Политические интересы и культурные традиции породили особый вид наказания — монастырские тюрьмы, предназначенные для религиозных сектантов и государственных преступников. Развитие данного вида наказания в XVIII веке обусловлено изолированностью монастырей, а также

подчиненной ролью церкви государственной власти в России.

Следует также отметить, что именно характер уголовно-исполнительной политики на определенном этапе развития определил соотношение и доминирование тех или иных организационных форм исполнения наказания. В конце XVII — первой половине XVIII века карательный характер уголовно-исполнительной политики проявился в развитии каторги и телесных наказаний. Во второй половине XVIII — первой четверти XIX века в связи с декларативными гуманными тенденциями на исправление заключенных официальное предпочтение отдается тюремному заключению и работным домам, хотя на практике продолжают развиваться ссыльно-каторжные работы.

Лихие люди

Из истории преступности в XVII веке

Евгений Вершинин

В XVII веке в России, несмотря на огромные пространства и относительную редкость населения (а может быть, и благодаря последней), уголовным преступникам от суда скрыться было нелегко. В стране существовало развитое уголовное законодательство, периодически обновлявшееся и дополнявшееся. Такими вехами в истории уголовного права являлись указная книга Разбойного приказа 1616/1617 года, соответствующие главы Уложения 1649 года и Новоуказные статьи 1669 года о татебных, разбойных и убийственных делах[1].

Центральным судебным органом по уголовным делам являлся Разбойный приказ в Москве, хотя само тяглое население столицы судилось в Земском приказе. В местных судебных инстанциях наблюдалась исторически сложившаяся пестрота. В центральных уездах страны с дворянским землевладением как наследие предыдущего столетия продолжали существовать губные учреждения, а в некоторых районах черносошного Поморья — волостные земские суды. В то же время с начала XVII века появляются воеводские приказные избы, которые стали основной местной судебной инстанцией (а на огромных окраинах страны, где не было губных органов, и единственной). Уголовными делами

[1] Маньков А. Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. — Л., 1982; Он же. Законодательство и право России второй половины XVII в. — СПб., 1998; Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. — М., 1986; Рогов В. А. Уголовные репрессии и наказания в России. — М., 1992.

могли заниматься и специальные сыщики, посылаемые из Москвы по уездам (временные комиссии).

Квалифицированных правоведов в России XVII века, конечно, не было. Поскольку суд не отделялся от приказной администрации, постольку и судебные функции приходилось выполнять начальникам (судьям) приказов, дьякам, городовым воеводам и подьячим с приписью.

Наиболее серьезными уголовными преступлениями являлись татьба, разбой и убийство. Если первые два из них связывались с профессиональной преступностью, то убийства весьма часто оказывались неумышленными. Существовала прямая, почти фатальная связь между неумышленным убийством и употреблением хмельных напитков. Резкие перепады между длительными скучными постами и официально разрешенными праздниками создавали массовое настроение лихости и разгула. Голландец Н. Витсен, побывавший в Москве в 1665 году, записал в своем дневнике: «Здесь сейчас масленая неделя... В пятницу и субботу мы видели много пьяных мужчин и женщин, попов и монахов разных чинов. Многие лежали в санях, выпадали из них, другие — пели и плясали. Теперь здесь очень опасно; нам сказали, что в течение двух недель у 70 человек перерезали горло»[1]. Впрочем, изумление европейцев русским пьянством давно стало хрестоматийным. Куда интересней и надежней (в смысле достоверности) обратиться к следственным делам XVII века.

Уже упоминавшийся тобольский воевода С. И. Салтыков летом 1691 года отослал в Сибирский приказ статейный список уголовных дел, рассмотренных за время его пребывания в должности с февраля 1690 года[2]. Воевода сам проводил следствие и со ссыл-

---

[1] Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664 – 1665. — СПб. 1996. С. 110 – 111.

[2] Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 214. Стб. 1049. Л. 66 – 62.

кой на законодательство выносил приговоры вплоть до смертной казни. Единственное, что обязан был сделать воевода по отношению к Москве, — сообщить, «кому имяны и за какие вины указ учинен». Ценность данного статейного списка состоит не в какой-то его исключительности, а наоборот, в типичности.

Какие же криминальные страсти волновали Тобольский уезд в 1690 – 1691 годах? Одновременно в тобольскую приказную палату из Терсяцкой слободы были присланы двое убийц. По существовавшей процедуре сначала следовал просто допрос, а затем вне зависимости от его результатов — допрос с применением пытки. Обвиняемый крестьянин Семка Исаков показал, что он убил Ларку Исакова, крестьянина той же слободы, в драке «пьянским делом без умыслу». Другой обвиняемый, гулящий человек Максим, поведал следующую историю: просил он своих долговых денег у крестьянина Ивана Петерева, однако последний крайне болезненно воспринял напоминание о долге и «учал» своего кредитора бить. В драке Максим «боронясь от себя (т. е. в состоянии самообороны. — *Е. В.*) зарезал его, Ивашка, до смерти без умыслу». Следствие выяснило, что иных убийств за обвиняемыми не числилось. Решающую роль при определении наказания за убийство играло наличие или отсутствие «умысла». Нахождение виновного в пьяном состоянии являлось смягчающим обстоятельством. Убийц из Терсяцкой слободы били кнутом и отдали на поруки с записью.

Из Благовещенской слободы был прислан по обвинению в убийстве крестьянин С. Гусев, который вины за собой не признал, а при допросе показал: после традиционных в крестьянской среде помочей у него дома состоялась пивная пирушка, на которой вместе с хозяином присутствовали 13 человек. Наутро во дворе «объявился» труп крестьянина Семенова. Причины и свидетели смерти остались неизвестны. Суд освободил Гусева, признав, что данная смерть случилась «нена-

рочным делом» (новоуказная статья 106). Аналогичное решение было вынесено и по делу крестьянина Чубаровской слободы Петра Закрятина, обвиняемого в убийстве крестьянина Осипа Кокорина. У себя на дворе Закрятин давал лошадям сено и «пьянским делом поспатнулся» на забор. Из забора выпало бревно. Оно-то и зашибло Кокорина, «неведомо для чего» подошедшего к забору с другой стороны. Суд признал, что смерть приключилась «ненарочным делом». Другие дела более заурядны. Как правило, это драки на определенной стадии пирушки, вследствие которых один из участников оказывается «зарезан ножем». Виновника в этом случае наказывали кнутом (не считая пытки во время следствия) и отдавали на поруки. Надо заметить, что воеводский суд отнюдь не формально относился к ведению следствия и старался учесть разные обстоятельства, при которых произошло убийство. Так, обвиняемый в убийстве крестьянин Петрушка Лукин показал, что был на помочах в деревне Шавинской у крестьянина Шаверина. Оттуда он якобы пошел к себе на поле для «досмотру хлеба» и на обратном пути встретился с крестьянином Ганкой Мамариным и его сыном Федькой. Последние будто бы стали его бить, и Петрушка в целях самообороны их зарезал. Суд не поверил Лукину. Во-первых, выяснилось, что и раньше у Петрушки и Ганки «в пьянстве драка была». Во-вторых, убитому Федьке было всего 10 лет, что и явилось решающим обстоятельством при вынесении приговора: «И тот вор Петрушка по новоуказной 81 статье казнен смертью для того знатно, что он то смертное убивство учинил умыслом, догнав на дороге нарочным делом, потому что он Ганкина сына Федьку зарезал в малых летех, а с пытки в том не винился, отбывая смертной казни».

Наконец, при воеводе Салтыкове было расследовано громкое и весьма неприятное для сибирских церковных властей дело. 17 декабря 1690 года в тобольской приказной палате появился избитый Иван Божедомов, приказчик известного гостя Г. Никитина. Он заявил,

что в этот день выехал из Тобольска и в четырех верстах от города на него напали «неведомо какие люди», самого избили, а «животы пограбили». В XVII веке выслеживание и доставка уголовных преступников в судебную инстанцию являлись в основном делом рук самих пострадавших; воеводские власти никаких оперативно-розыскных мероприятий не проводили. В этом отношении Божедомову повезло. На другой день после разбойного нападения в приказную палату явился с повинной один из его участников, каменщик Софийского дома Моська Иванов. Благодаря его показаниям вскрылась преступная деятельность целой банды. В нее входили светские служители Софийского дома: два повара, три хлебника, восемь каменщиков, четыре творильщика (строительная профессия), двое крестьян, пристав Софийского дома и бывший палач г. Тары. Выяснилось, что нападение на Божедомова — третье на счету банды. Первые два были совершены на деревни татар (Тоболтуринские и Яскалбинские юрты) и сопровождались убийством трех человек. В ходе следствия была установлена степень вины каждого из преступников и в соответствии с этим вынесен приговор. Пристав А. Андреянов и четыре каменщика избежали суда, «съехав безвестно» еще до грабежа Божедомова. М. Иванов, участвовавший в одном разбое, за свой извет от пытки и наказания был освобожден и отдан на поруки. Софийского дома оброчный бобыль И. Андреев, выступивший в роли наводчика (именно он сообщил о точной дате поездки Божедомова), получил наказание кнутом. Уличенных только в одном разбое били кнутом, резали им уши и отправили в ссылку. Девятерых членов банды, за которыми числились два-три разбоя или разбой с убийством, приговорили к смерти. Настоящим рецидивистом оказался бывший «заплечный мастер» Ульян Титов. Еще до своих «подвигов» в Тобольске, проживая на Таре, он совершил две кражи и одно убийство. Все смертные приговоры были приведены в исполнение. Данное дело, помимо истори-

го правового аспекта, интересно и другим. В Московском государстве XVII века, как видим, закон в равной мере защищал и русское, и «инородческое» население.

Мотивы умышленного убийства одинаковы во все времена — месть («недружба», по терминологии XVII века), семейные ссоры и жажда обогащения.

В феврале 1652 года перед мангазейским воеводой предстали прибывшие из промысловых зимовий Бажен Афанасьев и его двое товарищей. Они привели с собой Ивана Федорова Галичанина, которого обвиняли в убийстве трех промышленных людей. При допросе с пыткой Иван «во всем винился». Оказалось, что осенью он жил в зимовье в верховьях Таза со своим товарищем Гришкой Чушолой, которого и «убил до смерти». После этого он несколько месяцев жил в зимовье у Бажена Афанасьева и отплатил ему тем, что убил его брата и племянника. Душегуб намеревался перебить из лука и остальных охотников. Последние отделались «на стану», хотя Бажен получил сквозную рану в руку. Осажденные промышленники пошли на хитрость: поклялись («крест целовали») Галичанину, что его не убьют и умолчат о случившемся, если он придет к ним «добром». Иван оказался достаточно наивен (или голоден?), чтобы поверить крестоцелованью. Во время следствия преступник честно признался, что «хотел де он их побить из нажитков — Бог даровал им соболиный промысел доброй», а убийства списать на остяков и самоедов. Оказалось, что Иван был из владельческих крестьян боярина Никиты Ивановича Романова (двоюродного дяди царя Алексея Михайловича), но это не спасло его от смертной казни. По приговору воеводы Игнатия Корсакова убийца был повешен в заполярной Мангазее — «чтоб на то смотря иным не повадно вперед было воровать, руских и всяких твоих государевых людей побивать и животов их грабить»[1].

[1] РГАДА. Ф. 214. Стб. 1056. Ч. 1. Л. 38 – 39.

Неудачная семейная жизнь из-за крайней трудности разводов тоже подчас заканчивалась трагически. В 1674 году крестьянин Тотемского уезда Баженов признался в убийстве своей жены. Причиной гнева послужило то обстоятельство, что жена утаила от него два аршина сермяжного сукна. Надо заметить, что законодательство XVII века не выделяло убийство жены мужем в отдельное преступление. Поэтому такие дела решались, исходя из мотивов убийства, и в наказаниях наблюдался разнобой. В данном случае убийце отсекли левую руку и правую ногу, «потому что убил жену не за великое дело». В конце века илимский воевода за аналогичное преступление приговорил крестьянина Карпова к более легкому наказанию — битью кнутом на козле и отсечению пальца левой руки.

Женщин за такие преступления ждала предусмотренная законодательством смертная казнь. До нас дошла челобитная одного изрядно напуганного мужа: «В 1678 году она, жена моя Пелагея, хотела меня... топором срубить и я от ея топорового сеченья руками укрывался, и посекла у меня правую руку по запястью, и я с дворишка своего чуть жив ушел. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубивством... Вели... царской указ учинить и меня с нею развесть, чтобы мне от нея впредь напрасною смертью не умереть». В 1646 году верхотурский воевода получил приговор Сибирского приказа по делу об убийстве крестьянина Ф. Шадры. Последний был убит гулящим человеком Минеевым при соучастии Катерины, жены Шадры. Как выяснило следствие, Катерина с Минеевым «от мужа своего воровала». Минеева повесили, а казнь Катерины, которую указывалось «окопать в землю», ввиду ее беременности на время отложили. Но после рождения ребенка неверную жену все равно ожидала мучительная (как говорят юристы, квалифицированная) смерть.

Если уж решаться на преступления, то в XVII веке их надо было совершать накануне царской

свадьбы или рождения детей в царском семействе. В июле 1688 года илимская жительница Дунька Филатова убила ножом своего мужа, промышленного человека Корнишку. Приведенная к двум пыткам, она созналась, что убийство было умышленным. По новоуказной 100 статье ее однозначно полагалось казнить. Однако Евдокии повезло: пока тянулось следствие, женился царь Петр Алексеевич (27 января 1689 года). В Илимск с вестью о радостном событии прибыл поддьякон тобольского Софийского дома Лученин. Для приговоренных к смерти его приезд означал помилование и смягчение наказания. «Для всемирной радости» Дуньку не казнили, а учинили ей жестокое наказание: «бита кнутом на козле и в проводку по улицам и по торгам нещадно», затем ей отсекли два пальца левой руки и отдали на поруки.

Под амнистию по случаю свадьбы Петра не попал кузнец из Усть-Кута (Илимский уезд) Иван Карпов, который 24 августа 1689 года ударом обуха убил торгового человека Левку Коняева. Виновный признался, что совершил убийство хотя и «во пьянстве», но «с умышленья». На основе новоуказной 79 статьи ему был вынесен смертный приговор, но в Илимск подоспела новая «всемирная радость» — рождение дочери Марии у царя Ивана Алексеевича. По этому случаю смертнику Карпову «учинили свободу». Осталось только претерпеть членовредительное наказание. Как сухо докладывал в Сибирский приказ илимский воевода, кузнеца били кнутом на козле и в проводку, затем отсекли левую руку по запястье. Карпов «от того умре»[1].

Естественно, что в XVII веке не очень-то различали преступников «душевно здоровых» и тех, у кого наблюдались явные нарушения психики. В 1688 году крестьянский сын (Илимский уезд) Петр Ступин убил в драке «деревом» крестьянку Пелагею Зарубину.

[1] РГАДА. Ф. 214. Стб. 1116. Л. 250. 253 – 254.

Убийство было признано совершенным в состоянии самообороны, потому что «она, Палашка, учинили с мужем своим задор» — начали бить Петра и его брата Ивана. Надо думать, что суд, вынося оправдательный приговор убийце, ошибся. Менее чем через год тот же Петр Ступин убил ножом брата Оброську, другой брат, Савка, отделался двумя ножевыми ранениями, а Иван, пытавшийся разнять драку, был изувечен поленом. Со ссылкой на 88 новоуказную статью Петр Ступин без долгих разбирательств был повешен.

Приговор по уголовным делам, как уже говорилось выше, опирался на письменное законодательство. В «мужском» средневековом обществе наказания за изнасилование как отдельный вид преступления, не было предусмотрено. На практике при решении подобных дел судьи ориентировались, видимо, на нормы обычного права. Например, среди ряда решений илимской приказной избы (1688 – 1690) только в одном случае отсутствовала ссылка на новоуказные статьи. Некто Ивашко Хлома, который уже был сослан из Иркутска в Илимск, «изнасильничал девку Дашку, разтлив блудным грехом». За это Ивашку били кнутом нещадно и отослали обратно в Иркутск[1]. При разборе дел подобного рода большое значение, очевидно, имел социальный статус как обвиняемого, так и потерпевшей. Судя по всему, высшей мерой наказания для насильников (включая рядовых дворян) была торговая казнь — публичное битье кнутом.

Воровство на Руси встречалось гораздо чаще, чем убийство. Наказание «татям», особенно рецидивистам, было достаточно жестоким. Например, в 1689 году «явились во многих воровствах и татьбах» енисейский и иркутский казаки Сенька Пополтов и Сенька Княжицкий. «И я, холоп ваш, — докладывал иркутский воевода, — по новоуставным статьям велел Сеньку Пополтова за многое воровство и татьбы каз-

[1] РГАДА. Ф. 214. Л. 252.

нить смертию, повесить. И за упрощением иркуцких детей боярских и всех градцких и приезжих всяких чинов людей для великие... всемирные радости и сочетания законного твоего великого государя... брака он, Сенька, смертию не кажнен, и дан вместо смерти живот, а за великие его... вины отсечено у него у левые руки 2 пальца и дан на чистые поруки з записью».

В самом конце столетия в Илимске к смертной казни был приговорен вор-рецидивист Иван Томский, который обокрал три церкви, две часовни и совершил 12 краж у мирских людей. Высокая квалификация преступника оказала ему напоследок плохую услугу. По законодательству церковная татьба каралась смертью «безо всякого милосердия». Но Томского признали виновным еще и в «волшебствах»: совершая кражи днем, делал он это «невидимо».

А были еще поджигатели, фальшивомонетчики, корчемники, сводники, «подпищики» (подделыватели документов)... Взгляд, уставший от душегубцев и татей, поневоле любовно останавливается на последних, нарушавших закон с помощью виртуозного владения грамотой. Пересматривая в 1656 году тюремных сидельцев, новые томские воеводы обнаружили среди них местного сына боярского Степана Неверова, находившегося в заключении уже шесть лет. А ведь до этого сибирская служба Неверова (сам он был из Тульского уезда) складывалась неплохо. Знал Степан несколько языков сибирских народов и часто был посылаем с посольствами к калмыкам и киргизам. В 1643 году, пользуясь пребыванием в Москве, хлопотал Неверов о повышении своего денежного жалованья. И дана ему была из Сибирского приказа специальная грамота о том, что его оклад увеличивается на 3 рубля. Однако в Томск Степан привез другую грамоту, написанную своей рукой, и значилось там уже не 3, а 4 рубля. Как выяснилось позднее, подлинник Степан разодрал, а «дьячью руку и подьяческую справку» искусно подделал. В течение семи лет получал сын боярский свой незакон-

ный рубль. И остановиться бы ему на этом. Однако в 1650 году Неверов представляет вторую «воровскую ложную грамоту» — о прибавке к его окладу новых 2 рублей. Неизвестно, как вскрылось «воровство» Степана, но в процессе следствия пришлось ему признаться в подделке еще двух документов, которыми он «помог» томским казакам. Несмотря на прошлые заслуги, Неверов был «пытан накрепко и огнем жжен». Впрочем, крепкое здоровье сына боярского справилось с пытками и тюрьмой: в 1680 году он был еще жив[1].

Уголовные преступления совершались, разумеется, не только среди социальных низов общества. Чрезвычайно интересна и мало разработана тема дворянских разбоев. А ведь дворянам, как показывает пример братьев Кропотовых, казненных за разбой на большой дороге (1679), довольно легко было составить шайку из своих холопов. Да что там большая дорога... В 1668 году столичные власти констатировали, что «ныне на Москве ездят по улицам воры, всяких чинов люди и боярские холопи, в санях и пеши ходят многолюдством с ружьем и с бердыши и с рогатины и с топорками и с большими ножами, и воруют — людей бьют и грабят и до смерти побивают...».

Любопытно отметить, что среди уголовных дел XVII века нам пока не встретились случаи явной мести или самосуда по отношению к преступнику. Это означает, что подданные московского царя уже прочно признали как общественно опасный характер тяжелых уголовных преступлений, так и исключительное право государства карать преступников.

---

[1] РГАДА. Ф. 214. Стб. 490. Л. 106 – 107; Резун Д. Я. Родословная сибирских фамилии. Новосибирск. 1993. С. 126 – 127.

Тюрьма, ссылка и... семейные ссоры

Как решались некоторые семейные конфликты в Российской империи

Федор Севастьянов

Сегодня, сталкиваясь с конфликтами между родителями и детьми, которые в той или иной степени испытывает каждая семья, мы иной раз вздыхаем: «Не те теперь времена!» Каждому школьнику известно, что около четырехсот лет назад в ходе решения семейного конфликта царь Иван Грозный своего сына вовсе зашиб до смерти. А автору настоящих строк, например, частенько приходилось в детстве выслушивать весьма образные рассказы своего деда о том, какие воспитательные средства мог применить глава крестьянской семьи к своим детям еще в 20-е годы ушедшего уже столетия. Но едва ли хоть кто-то из нас даже на секунду допускает мысль, что всего двести лет назад, в блестящее время Пушкина и Гоголя, самыми обычными механизмами разрешения семейных ссор в дворянской среде были... тюрьма и ссылка.

Наследие патриархальной старины

Конечно, суровость древних русских законов в отношении детей, изъявлявших непокорность своим родителям, учитывая особенности эпохи, вряд ли покажется современному читателю удивительной. Так, памятник XVII века — Уложение царя Алексея Михайловича — в главе XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» в числе прочих преступлений определяло наказание для родителей, убивших своих детей, и, наоборот, для детей, убивших родителей.

Статья 1 этой главы гласила: «Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери смертное убийство, и их за отеческое или за матерне убийство казнить смертию же безо всякия пощады»[1]. Статья 2 карала смертью и всех соучастников и пособников таких, вне всякого сомнения, страшных преступлений. Между тем, когда речь заходила об убийстве родителями своих детей, законодатель неожиданно смягчался. Так, статья 3 цитируемой главы определяла: «А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то посадить в тюрьму на год, а отсидев в тюрьме год, приходить им к церкви божии, и у церкви божии объявлять тот свой грех всем людем вслух, а смертию отца и матери за сына и за дочь не казнить».

Заметим, что источник этой главы, по мнению комментаторов, «западный». Литовский статут 1588 года за такое преступление определял после публичных физических истязаний «злолютую» казнь: «утопление в мешке вместе с псом, петухом, ужом и котом»[2].

Впрочем, без труда можно найти и собственно «московские» источники приведенных норм Соборного уложения. Уже в XVI веке были сформулированы моральные основы отношения родителей и детей, из которых, вне всякого сомнения, «выросли» процитированные статьи XXII главы Уложения. Небезызвестный Домострой в главе 19 «Како детей своих воспитати во всяком наказании и страсе Божии» наставительно советует: «Наказуи дети во юности, покоят тя на старость твою». Глава 21 «Како детеи учити и страхом спасати» еще более жестка и безапелляционна: «Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою... и не ослабеи бья младенца. Аще бо

[1] Здесь и далее цит. по изданию: Соборное Уложение 1649 года: текст, комментарии. — Л. 1987.

[2] Там же. С. 383.

жезлом бьеши его, не умрет, но здравие будет. Ты бо бья его по телу, душу его избавиши от смерти»[1].

Кажется известная картина с детства приучила нас к мысли, что царь Иван Грозный на практике опробовал правоту 21-й главы Домостроя на своем сыне (правда, уже не младенце) и убедился в том, что нечаянно убить жезлом сына все-таки можно... Еще раз оговоримся: нигде в процитированных источниках речь не идет о возрасте детей не потому, что само собою разумелась некая дата совершеннолетия, знаменовавшая выход из-под патриархальной власти родителей, а потому, что от этой власти полностью детей избавляла только смерть отца и матери.

И здесь нельзя не процитировать главу 36 принятого также в царствование Ивана Грозного Стоглава, называющуюся «О наказании чад своих»: «Аще ли кто злословит родителя, и сей пред богом грешен есть, а от людей проклят. Аще ли биет отца или матерь, от церкви да отлучится и смертию да умрет»[2]. Иными словами, за словесное оскорбление родителей — анафема, а за побои — смерть...

Соборное уложение 1649 года, таким образом, лишь подвело закономерный итог подобному пониманию пределов власти родителей над детьми.

Последовавшая вскоре за царствованием «тишайшего» государя эпоха его младшего сына — Петра Великого — не внесла существенных изменений в этот вопрос. Соборное уложение оставалось действующим правовым актом, а изданное наставление для молодых людей «Юности честное зерцало», которое часто представляют как показатель торжества новых «европейских» бытовых практик в петровскую эпоху, в рубрике «Нравоучения от священного писания по алфавиту избранные», повторяя Стоглав,

---

[1] Домострой. — СПб., 1994. С. 28–29.

[2] Российское законодательство X–XX вв. Т. 2. — М., 1985. С. 299.

под буквой S помещало и следующее: «Злословяи отца и матерь, смертию да умрет»[1].

Как увидим ниже, не было изжито наследие патриархальной старины и к началу XIX века. Более того, в золотой пушкинский век тюрьма и ссылка были привычными механизмами решения семейных конфликтов между родителями и их взрослыми уже отпрысками. Особенно интересно, что речь здесь идет о так называемом «обществе», то есть «сажать» своих непокорных детей имели склонность представители образованных, прежде всего дворянских, слоев.

Подполковник Депрерадович, поручики фон Курсы и другие

Справедливости ради заметим, что один подобный случай даже описан в исторической литературе. Посвятивший ему специальную статью А. И. Куприянов назвал его «казусом Депрерадовича»[2]. Суть его вот в чем. В 1819 году генерал-майорша София Депрерадович добилась заключения своего взрослого сына, подполковника (!), в крепость по обвинению в «неповиновении ей и нанесении личных обид», причем непокорный родительской власти офицер провел под арестом более года. Интересно, что дело дошло до высочайшей конфирмации. Александр I согласился с требованием Софии Депрерадович безоговорочно, потребовав «рассмотреть его (подполковника Депрерадовича. — *Ф. С.*) поступки противу матери и поступить с ним по всей строгости законов». И это, несмотря на то что местному совестному суду, разбиравшему дело, была совершенно очевидна чисто имуществен-

[1] Юности честное зерцало или Показание к житейскому обхождению. Собранное от разных авторов. Репринтное издание. — СПб., 1717.

[2] Куприянов А. И. Конфликты поколений и власть: частная жизнь в XIX в. (на примере казуса Депрерадовича) // ACTIO NOVA 2000. — М., 2000. С. 245 – 253.

ная подоплека спора. По мнению членов суда, «непочтение» проявилось в том, что подполковник оказался неуступчив при разделе отцовского наследства, требуя точно причитавшейся ему по завещанию доли. Это обстоятельство, как видим, не повлияло на резкость и безапелляционность высочайшей резолюции.

При этом интересно, что (и об этом А. И. Куприянов не пишет) «казус Депрерадовича» был включен в Полное собрание законов Российской империи. Иными словами, высочайшие указания по этому делу признавались верховной властью общим правилом.

В 1820 году Сенат рассматривал дело «о двух поручиках: отставном Егоре и служащем в Белозерском пехотном полку Антоне фон Курсах, сужденных за причинение матери своей Шарлотте, по втором муже Тизенгаузеновой, побой (так в тексте. — *Ф. С.*) и ругательств, равно как сестрам их». Дело это также дошло до высочайшего рассмотрения. Представленный императору доклад в весьма черных красках рисовал поведение братьев фон Курсов. Будто бы первый из них — Егор, — выйдя в отставку и приехав в родительский дом, «вместо того чтобы оказать матери своей повелеваемое самим Богом почтение, первым шагом вступления своего попрал Священные права родительские и весь долг сыновний... он, весь предавшись пьянству, дал буйству своему совершенную волю». Упомянута была даже такая трогательная подробность, что Егор фон Курс не постыдился бранью и побоями ответить на попытки матери уговорить его «в нетрезвом состоянии... не ездить на бешеной лошади». После же приезда в отпуск второго брата дела якобы пошли и совсем худо: «Оба они вместе пьянствуют, ходят ночью по харчевням и кабакам, бесчинствуют, ездят с девками по деревням, бродят в пьяном образе нагие, разоряют дом и имущество, и сверх того из них Антон, ругая мать свою и сестер, похвалялся первую сечь розгами, а брат его, Егор, бить ее палками и дать до 500 ударов, между тем Антон драл ее за ухо и бил чубуком по спине». Что же касается дока-

зательств всех этих бесчинств, то в качестве них были представлены свидетельские показания трех дворовых людей самой же Тизенгаузеновой и местного исправника. Первые будто бы были свидетелями безобразной сцены, а последний вместе с членом Врачебной управы установил, что у женщин имеются «боевые на спине знаки».

Сенат, сославшись прежде всего на... Соборное уложение 1649 года, определил отставного поручика Егора фон Курса, лишив чинов и дворянства, отдать в солдаты, а в случае неспособности к такой службе сослать в Сибирь, оговорив, что не выносит такого приговора его брату лишь постольку, поскольку тот — офицер, «чиновник, Гражданскому начальству не подведомственный», и предавал его дело военному суду.

Сенатский указ завершается прямой отсылкой к упомянутому «казусу Депрерадовича». Отметив, что «к сожалению Сената неоднократно доходили уже до разбирательства дела подобного рода», а между тем, «оскорбление родительской власти толико противно Богу и ненавистно сердцу Его Императорского Величества», то Сенат напоминал: в 1819 году, решая дело Депрерадовича, император повелел «уничтожив заведенное следствие, судить подполковника Депрерадовича по всей строгости законов, и чтобы суд сей кончен был немедленно». А это значит, что при поступлении жалоб родителей на детей никакого следствия местные власти, и, в частности, совестные суды — специальные органы, которым эти дела были подведомственны, вообще не должны были проводить[1]!

Наполеонов Кодекс и российские законоискусники

Пожалуй, даже дискутируя о степени вестернизации России к началу XIX столетия, все историки сходятся, что уж внутрисословная жизнь русского

[1] ПСЗ. Т. XXXVII. 1820. № 28121. С. 31 – 34.

дворянства была европеизирована глубоко и прочно. И если уж и говорят о каких-то дефектах и конфликтах европеизации России, то имеют в виду отношения между «обществом» и «народом» (по сути, между дворянством и крестьянством). Первое, мол, усвоив ценности западноевропейской культуры, было готово уже и к политической демократизации: требовало свобод и ограничения самодержавия. Второе же пребывало в непросвещенном и угнетенном состоянии, утешаясь наивным монархизмом и храня патриархальные русские традиции. Но так ли это было в традиционно закрытой сфере семейных отношений?

В начале XIX века в александровской России и наполеоновской Франции велись кодификационные работы. Работа французских кодификационных институтов завершилась созданием двух знаменитых памятников права: Уголовного кодекса 1810 года и Гражданского кодекса 1804 года — знаменитого Кодекса Наполеона.

В Кодексе Наполеона интересующему нас предмету — вопросу о характере и пределах власти родителей над детьми — посвящено несколько статей (статьи 371 – 387). Причем характерно название титула XI, в который они объединены: «Об отцовской власти», ибо статьи 373 вручает родительскую власть исключительно отцу: «Отец один осуществляет эту власть во время существования брака»[1]. Мать в этом отношении, даже в случае смерти отца ребенка, сильно ограничивалась.

Общий смысл титула выражают следующие статьи. Статья 371 провозглашает: «Дети во всяком

[1] Здесь и далее все цитаты из Кодекса Наполеона, Французского уголовного кодекса 1810 года и российского Проекта Гражданского уложения приводятся по изданиям: Французский гражданский кодекс 1804 года. С позднейшими изменениями до 1939 года. Пер. с франц. И. С. Перетерского. — М., 1941; Французский уголовный кодекс 1810 г. С изменениями и дополнениями на 1 июня 1940 г. — М., 1947; Проект Гражданского уложения Российской империи. Ч. 1 – 3. — СПб., 1814.

возрасте должны оказывать своим отцу и матери почтение и уважение». Статья 372 определяет, что «дети остаются под властью родителей до достижения совершеннолетия...» А согласно статье 376, «отец, который имеет очень серьезные поводы к недовольству поведением ребенка» мог своей властью лишить его свободы на месяц, если тот не достиг 16 лет, или требовать от власти государственной полугодового лишения свободы для ребенка старше 16. Несколько статей посвящены защите имущества, «которое <дети> могут приобретать своим отдельным трудом» и «которое будет им подарено или завещано».

Как видим, к началу XIX века Франция подходила уже со вполне современным пониманием характера и пределов родительской власти. Что же касается «оказания почета и уважения» родителям, то ведь эти категории — более моральные, нежели правовые. Опять же, данная норма Кодекса Наполеона носила исключительно диспозитивный характер и была лишена санкции: Кодекс ничего не говорит о наказании совершеннолетнего человека за «оказание неуважения» своим родителям. Патриархальные следы правовой защиты этого уважения можно найти разве что во Французском уголовном кодексе 1810 года, в статье, посвященной такому специфическому преступлению, как отцеубийство. «Приговоренный к смерти за отцеубийство, — гласит статья 13, — препровождается на место казни в рубашке, босиком, с черным покрывалом на голове. Он выставляется на эшафоте, в то время как судебный пристав читает народу обвинительный приговор; вслед за этим ему отсекается кисть правой руки, и он предается немедленной смерти». «Простым смертникам» просто рубили голову на гильотине без всяких дополнительных мрачных прелюдий.

Что же касается России, то кодификационные работы здесь возглавил знаменитый российский реформатор М. М. Сперанский, занимавший одно время

наряду с прочими и пост директора Комиссии составления законов. Это обстоятельство в значительной степени предопределило печальную судьбу подготовленных под его руководством российских проектов Уголовного и Гражданского уложений: после отставки «дрянного поповича» их под разными предлогами «заговорили» в Государственном Совете, и ни один их них не стал действующим законом.

Не без оснований считается, что проект Гражданского уложения был составлен Сперанским лично. При этом недоброжелатели реформатора (наиболее известен здесь Н. М. Карамзин) утверждали, что этот проект являлся не более чем переводом Наполеонова Кодекса на русский язык. Однако поищем в нем статьи о родительской власти.

В проекте Гражданского уложения Российской империи власти родителей над детьми посвящены не каких-то семнадцать статей, а специальная глава «О власти родительской» (§§ 320 – 360, гл. 10, ч. 1), насчитывавшая сорок один параграф. Без труда можно заметить чисто русское происхождение норм этой главы.

Так, §§ 320 – 322 раскрывают сущность родительской власти. В соответствии с ними «власть родителей над детьми есть или общая, или особенная». Причем если «особенная родительская власть действует до совершеннолетия детей», то «общая власть простирается на всю жизнь и не прерывается никакими частными обстоятельствами». Таким образом, под особенной властью понималось примерно то же, что и в Кодексе Наполеона: ребенок — лицо недееспособное, и родители должны являться его законными представителями. Хотя, оговоримся, пределы русской особенной родительской власти понимались куда как шире: она охватывала не только вопросы воспитания детей и «способы родительского исправления», но и такие сферы, как «избрание рода жизни» детей и их бракосочетание (само собой — включая выбор брачного партнера) (§ 326). Общая же власть, описан-

ная в проекте российского Гражданского уложения 1810 года, представляется явлением исключительно русским. Так, § 323 гласит, что «по силе общей власти во всяком возрасте и во всех состояниях дети обязаны родителям совершенным почтением и сыновним повиновением во всем, что не противно общим Государственным Законам». При этом, согласно § 324, «нарушение сей власти со стороны детей сверх нравственного преступления составляет вину, подлежащую действию Гражданских Законов» (оговоримся, что в данном случае «гражданских», скорее всего, означает не гражданско-правовых; речь идет вообще о законах, принятых государством). А § 360 при этом определял, что «развратное детей поведение и расточительность и по совершеннолетии их дает родителям право требовать на них прещения».

Как уже говорилось выше, процитированный проект Гражданского уложения так и не стал действующим законом, но были ли какие-то иные, действовавшие на тот момент «гражданские законы», о которых там упоминалось? Выясняется, что у цивилизованного и европеизированного дворянства была масса легальных возможностей использовать тюремное заключение и административную высылку в качестве действенного средства воспитания своих взрослых детей.

Обратимся прежде всего к Учреждениям для управления губерний, изданным в 1775 году Екатериной II[1].

Статья 391 этого закона посвящена устройству смирительных домов, «ибо доброучрежденный смирительный дом ограждает общество от многих продерзостей». Интересно, что среди категории лиц, подлежащих заключению в такие дома, на первом (!) месте значатся именно «сыновья или дочери, кои родителям своим непослушны или пребывают злого жития, или ни к чему доброму не склонны». Причем для

[1] ПСЗ. Т. XX. 1775. № 14392. С. 229 – 304.

определения таких недостойных чад в смирительный дом отнюдь не нужно было решения суда: они заключались туда «по прошению в Приказе Общественного Призрения отцов или матерей, или по прошению трех родственников (им представить свидетельство для чего)», а от родителей, как видим, и объяснения причин не требовалось. Правда, согласно Учреждениям для управления губерний, «сосланных в смирительный дом по прошению родителей... сами родители... должны снабдевать содержанием, без чего смирительный дом сосланных не принимает или принятых освобождает». Иными словами, содержать заключенного в смирительный дом отпрыска недовольные его поведением родители должны были за свой счет. И это ограничение было единственным.

Как видим, неограниченное право родителей заточать детей в смирительные дома было со времен матушки Екатерины весьма действенным, если так можно выразиться, пенитенциарным средством разрешения семейных конфликтов.

Дети же были совершенно беззащитны перед судебно-административным преследованием со стороны родителей. Как показывает анализ дел, судебные и административные власти Российской империи и в начале XIX века руководствовались... статьями Соборного уложения 1649 года. О практически полной безответственности за убийство детей речи, правда, уже не было. Но вот статьи 4—6 главы XXII свода законов Московского царства считались вполне действующими. Статья 6 недвусмысленно определяла: «А будет которой сын или дочь учнут бити челом о суде на отца и на матерь, и им на отца и на матерь ни в чем суда на давать, да их же за такое челобитье бить кнутом и отдать их отцу и матери». Суть же остальных статей вкратце сводилась к следующему: «А будет кто сын или дочь, не помня закона христианского учнет отцу или матери грубые речи говорить, или отца или матерь с дерзости рукою зашибет» или даже «у отца или у матери

животы пограбят насильством», а также «отца и мать при старости не учнут почитать и кормить и ссужать их ничем не учнут», то за это предписывалось «чинить жестокое наказание, бить кнутом же нещадно».

Представляется, что приведенные приговоры представляли собой некий компромисс между истязательскими нормами Уложения царя Алексея Михайловича и более соответствовавшим духу времени Учреждениям для управления губерний Екатерины II. Так, фон Курса вместо битья кнутом лишили чинов и дворянства, а вместо того, чтобы «отдать отцу и матери», — отдали в солдаты. Депрерадович же вместо смирительного дома сидел в крепости.

Можно задаться вопросом: а насколько собственно применимы были эти архаичные законы в золотой век русской культуры? Включение некоторых из таких казусов в Полное собрание законов Российской империи уже говорит само за себя. Окончательный же ответ на поставленный вопрос дают нам архивные материалы. Так, довольно большое количество дел, производившихся по обвинению родителями детей в «непочтении», сохранилось в архиве... знаменитого III Отделения. Переданные туда по преемственности, дела эти начинались еще в предшествующую, александровскую, эпоху и часто тянулись годами.

«За что я сижу в монастыре?»

Подобного рода дела, истинной подоплекой которых были имущественные споры внутри семьи, часто тянулись гораздо дольше, а финал их бывал существенно менее оптимистичным, чем в случае с Депрерадовичем. Вот, например, дело «По жалобе помещика Костромитинова на сына его, отставного штабс-ротмистра»[1]. На его страницах бушуют просто-таки шекспировские страсти.

---

[1] Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 109. Оп. 229. Д. 40 (1824 г.).

В Комитете министров «дело» докладывал 23 апреля 1824 года всесильный А. А. Аракчеев. Ссылаясь на прошение орловского помещика Федора Костромитинова с жалобой на сына, он объяснял, что «сын его, отставной штабс-ротмистр... получив от него в дар значительное недвижимое имение и сверх того денежные суммы на уплату долгов, вдался в развратную жизнь, сделался расточительным и неблагодарным, оказывает ему грубости и оскорбления и угрожает даже лишением жизни». Ф. Костромитинов уже жаловался на сына в 8-й департамент Сената, но там ему указали на то, что подобные дела решаются в совестном суде. Поэтому «считая для себя весьма тягостным судиться с сыном, Костромитинов всеподданнейше просит о повелении удалить его из Орловской губернии и заключить навсегда в Суздальский Спасов монастырь на покаяние, а имение отобрать от него, яко от неблагодарного, и отдать в прежнее владение просителя».

В данном случае Комитет министров, видимо, почувствовав имущественную подоплеку недовольства отца сыном, не стал торопиться с решением. Министры постановили поручить местному генерал-губернатору А. Д. Балашову произвести расследование и затем доложить Комитету свое мнение.

Результаты расследования Балашов изложил в особой «Записке», из которой явствовало, что сын, в свою очередь, имел претензии к отцу. Оказывается молодой Николай Костромитинов подавал прошение о взятии родительского имения в опеку, мотивируя свою просьбу «нетрезвою жизнью отца». Кроме того, он жаловался, что этой слабостью пользуется его мачеха — Надежда Емельянова. Она добилась от мужа составления завещания в свою пользу на большую часть имений. Николай Костромитинов ставил под сомнение даже саму законность этого брака, поскольку Емельянова состояла с его отцом «во второй степени родства»: первая жена Федора Костромитинова

крестила ее дочь. Имение действительно было взято в опеку. Однако Федор Костромитинов получил «одобрительные свидетельства» от малоархангельского и ливенского уездных предводителей дворянства, а сверх того, еще от 78 местных дворян и добился возвращения ему имений из опеки. Не помогла даже поданная его крепостными жалоба «о притеснении», поскольку, по уверениям ливенского уездного предводителя дворянства, «к подаче значенной жалобы участвовал (так в тексте. — *Ф. С.*) сын помещика штабс-ротмистр Костромитинов». Сам же молодой Костромитинов, как видно из «Записки», состоял в данный момент под судом по делу о «найденном повешенным старосте его Иванове», в убийстве которого и подозревался. Что же касается второго брака Федора Костромитинова, то выяснилось, что заключен он был вполне законно и «духовное начальство» никаких препятствий к нему не усмотрело...

Понятно, что содержание этой справки предопределило решение Комитета министров: уже 9 декабря 1824 года министры «находя поступки штабс-ротмистра Николая Костромитинова противу отца его весьма предосудительными» определили просить высочайшего соизволения на заключение его в Спасо-Евфимиев монастырь. Такое согласие было получено, причем Александр I указал, что содержание в монастыре — мера временная. Если же вина младшего Костромитинова в смерти его старосты будет доказана, он получит гораздо более тяжкое наказание. Император выразил даже свою особенную волю, чтобы это дело было решено вне очереди.

Будучи заключен в монастырскую тюрьму Николай Костромитинов стал... писать. Очевидно, в самом начале 1828 года он передал на имя А. Х. Бенкендорфа целую гору своих сочинений, а именно: трагедию «Альбер или суд Филиппов (Сюжет из времен Филиппа Прекрасного, короля Франции)» (в произведении, конечно же, фигурировали отец, оклеветав-

ший своего сына, и благородный и мудрый монарх, раскрывший обман), а также проект «О мере наказания за лихоимство» (адресованный ни больше ни меньше как в Государственный Совет), «Опыт о человеке или рассматривание человека физически и нравственно» и «Способ о улучшении состояния и образа жизни однодворцев, умеренная свобода и протчее». Но подобное «аллегорическое» взывание к милосердию властей не имело успеха. Бенкендорф направил сочинения для рассмотрения... по команде, наложив резолюцию: «Архимандриту рассматривать, ибо ему содержащиеся в монастыре препоручены и дабы пустыми бумагами правительство не было напрасно обременяемо».

В ход пошли окольные пути. Одна из сестер Николая Костромитинова (а их имущественные интересы, как несложно понять, второй брак отца и составленное завещание в пользу второй жены также ущемляли) похлопотала за брата в Петербурге, после чего он вторично подал прошение Бенкендорфу, написанное на десяти листах с обеих сторон, весьма высокопарным слогом (как мы уже видели, младший Костромитинов был не чужд графоманских упражнений).

Прежде всего он категорически отрицал как свою вину в гибели старосты, так и факт оскорбления отца. Задаваясь вопросом «За что я сижу в монастыре?», он представлял дело так. Отец его, к тому времени уже умерший Федор Костромитинов, здорово пил, а потому полностью попал под влияние второй жены, которая составила подложное завещание в свою пользу. Пытаясь предотвратить разорение отцовского имения, Николай просил об установлении над ним опеки. Месть же «называющей себя его мачехой Надежды Емельяновой» была быстрой и жестокой. Действуя подкупом, ибо целиком располагала средствами мужа, она добилась обвинения Николая в убийстве старосты, а позже заставила мужа написать то самое

прошение, с рассмотрения которого в Комитете министров и началось данное дело.

Николай рисует свое бедственное положение: над его имением установлена опека, причем опекунами сделаны не сестры, а постороннее лицо, которое лишь разоряет его. Разорено и имение отца: «По смерти родителя моего не осталось ничего в доме, кроме нескольких изодранных рубашек, нескольких изломанных стульев, двух или трех худых столов, дюжины ножей с вилками... десяти ложек. От имения, которое приносило более сорока тысяч рублей доходу!..»

В заключение младший Костромитинов выражал уверенность, что «скорбь невинного внятна будет чувствительному сердцу и справедливому великодушию» Бенкендорфа. Так и произошло. Очевидно, старания сестры оказались небесплодны: еще до написания прошения на место для расследования всех обстоятельств дела был направлен особый чиновник. Уже 19 апреля он доносил из Ельца о практически полном подтверждении всего, что писал младший Костромитинов. Однако дело тянулось еще долго. По крайней мере до начала 1829 года оно волочилось по различным инстанциям, конец его остается неизвестным.

Как видим, не менее пяти лет жизни молодого офицера прошли в монастырской тюрьме в результате семейной склоки, которая не могла разрешиться судебным порядком из-за архаичных норм закона XVII века, признававшихся вполне справедливыми. Это было настолько безусловно, что известны случаи, когда родители своих взрослых детей отправляли в тюрьму примерно с такою же легкостью, как в детстве ставили в угол. Так, в 1815 году некто майор Спичинский добился заключения своего сына Никиты (24-летнего только-только вышедшего в отставку корнета Серпуховского уланского полка) в Спасо-Евфимиев монастырь, что в Суздале[1]. Процедура высылки была стандартной:

[1] ГА РФ. Ф. 109. Д. 9 (1815 г.).

по представлению московского генерал-губернатора и управляющего Министерством полиции он был заточен в монастырскую тюрьму решением Комитета министров с высочайшего соизволения.

В дальнейшем отец дважды прощал сына, усматривая в его письмах «христианское раскаяние», и дважды сдавал его назад в Спасо-Евфимиев монастырь. Первый раз родительское прощение было получено в сентябре 1820 года, после пяти лет заключения. Но уже в октябре того же года «в удовлетворение просьбы майора Спечинского» Комитет министров определил Спичинского-младшего «паки отправить в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь». В следующий раз старший Спичинский ходатайствовал о возвращении сына «в недра его семейства» осенью 1830-го: бумаги об этом легли на стол уже А. Х. Бенкендорфу. Новый император Николай I наложил на его доклад лаконичную резолюцию «отдать отцу». 7 января 1831 года Никита Спичинский был освобожден из монастыря, а уже в августе 1833-го отец «в письме своем... изобразив резкими чертами дурное поведение сына... обнаруживающееся в пьянстве, буйстве и непокорности», просил власти «для удержания от крайнего разврата и буйственных поступков... посадить его <сына> или в крепость, или в отдаленный монастырь и содержать там пока не утвердится в доброй нравственности и особенно в правилах нашей религии». В результате Никита Спичинский был отправлен в Соловецкий монастырь. О дальнейшей участи его неизвестно, как неизвестно в точности и о тех его пороках, которые не смогло исправить пребывание в знаменитой тюрьме Спасо-Евфимиева монастыря.

Еще один красочный пример — дело «О высылке отставного коллежского советника Ананиевского в Вятскую губернию под надзор полиции», начавшееся в январе 1824 года[1].

---

[1] ГА РФ. Ф. 109. Д. 38 (1824 г.).

На сей раз инициатором дела выступил санкт-петербургский генерал-губернатор М. А. Милорадович. Он внес в Комитет министров записку об удалении из Петербурга сына вдовы тайного советника Ананьевского (имени ее в деле так и не упомянули) Петра Ананьевского. Просьба мотивировалась следующим образом. «Вдова Тайная Советница Ананьевская... объясняет, что покойный муж ее имел благоприобретенное им общее с нею имение и двух сыновей Петра и Николая, которые еще при жизни отца их оказали себя развратными и неспособными к службе. Старший из них Петр лишен был мест, которые занимал в Военной Коллегии и в Комиссии Составления Законов, потом по ходатайству отца был определен в Кавказскую Губернию прокурором» и далее сменил еще три губернии, где неизменно служил по судебной части: сначала прокурором, а потом — советником палаты. Причем и получение чинов, и мест объяснялось исключительно протекцией отца. Отец, по словам просительницы, будто бы «употребив все усилия к их <сыновей> исправлению, не мог успеть в том; почему духовным завещанием 20 октября 1819 года предоставил все без изъятия имения в полное владение жены своей», обязав ее, впрочем, выплачивать сыновьям по три тысячи рублей в год. В том же году Ананьевского-старшего не стало.

В прошении в красках рисуется образ низко падшего младшего сына Николая. Он в свое время был «по высочайшему повелению удален от должности, чтобы впредь никуда не определять» (правда, имел чин 7-го класса), когда мать «для спокойствия своего, по сердоболию матери, выдала им единовременно каждому по 10 т<ысяч> р<ублей>», братья промотали их «не более как в три месяца». Более того, «с потерею нравственности сыновья... попрали и Священную Религию, а ведя жизнь распутную подверглись разным болезням». В результате Николай покончил с собой, причиной чего называлось «расстройство ли нравственных и физических способностей, или зараза

вольнодумства» (?! — *Ф. С.*). Старший же сын угрожает матери, в доказательство чего были приведены его слова, обращенные к людям Ананьевской: «Горе всем им будет».

Впрочем, судьба Петра Ананьевского сложилась лучше, чем у многих: ему удалось избежать монастырского заключения, Комитет министров определил выслать его в один из уездных городов Вятской губернии. Лишь в апреле 1829 года Петр наконец, спустя пять лет после высылки и почти полтора года после смерти матери, на этой высылке настоявшей, получил разрешение вернуться в Петербург. Определяющую роль здесь сыграла переданная Бенкендорфу записка тогдашнего генерал-губернатора Санкт-Петербурга П. В. Голенищева-Кутузова, в которой он честно признавался, что «покойная Тайная Советница Ананьевская, как известно, в продолжении своей жизни и даже будучи уже в преклонных летах, имела предосудительную связь с некоторыми особами. По ее слабости сии особы были главными распорядителями в доме ее и при жизни мужа», а после его смерти начали настоящую атаку на сыновей, очевидно, борясь за доходы от имения.

«О совестном суде и его должности»

Обратим внимание на то, что часть из упомянутых выше дел (например, Депрерадовича и фон Курсов) первоначально рассматривались совестными судами, а часть получила внесудебное разрешение через Комитет министров с последующим высочайшим утверждением (таковы дела Спичинского и Ананьевского). В чем же была разница между двумя путями достижения родителями одной и той же цели — удаления непокорного взрослого сына в тюрьму или ссылку и что же это вообще была за судебная инстанция — совестный суд?

Уже цитировавшееся екатерининские Учреждения для управления губерний так говорят «о со-

вестном суде и его должности». Статья 395 определяет, что главная цель совестного суда есть «подать руку помощи страждущим иногда более по несчастливому какому ни наесть приключению, либо по стечению различных обстоятельств, отягощающих судьбу его выше мер им содеянного». Ту же мысль проводит статья 399, относившая к компетенции совестного суда «дела, касающиеся до таковых преступников, кои иногда более по несчастливому какому ни наесть приключению либо по стечению различных обстоятельств впали в прегрешения, судьбу их отягощающие выше мер ими содеянного, так же преступления, учиненные безумным или малолетним, и дела колдунов или колдовства, поелику в оных заключается глупость, обман и невежество...» Наконец, статья 397, устанавливая в качестве главного «правила» совестного суда «человеколюбие вообще», обещала, что «совестный суд никогда судьбы ничьей да не отяготит, но вверяется оному совестный разбор и осторожное и милосердное окончание дел, ему порученных».

И вот этому-то «ничьей судьбы не отягощающему» примирительному суду, членам которого часто была прекрасно известна истинная причина родительской жалобы на «непочтение и побои», фактически предлагалось применять при рассмотрении жалоб родителей на детей архаичные нормы Соборного уложения, поскольку, как мы видели, воля высших властей была однозначна: дети должны за такие прегрешения нести суровейшие наказания.

Естественно, что явочным порядком совестные суды уклонялись от подобных решений. Такую попытку мы видели в деле Депрерадовича. Ф. Костромитинов предпочел вообще обойти местный совестный суд, которому, по всей видимости, была очевидна имущественная подоплека его дела. Другой интересный пример — дело по жалобе отставного статского советника Огарева на сына своего, начавшееся в

1827 году[1]. Не вдаваясь в детали его обстоятельств, отметим лишь, что при рассмотрении тяжбы совестный суд пришел к выводу: «Жалоба Статского Советника Ивана Огарева на сына своего Надворного Советника Алексея Огарева содержит два предмета: первый есть личное оскорбление; а другой действие по имению и по денежным капиталам», но при этом «нашел, что неудобно было бы соединить их в одно дело: ибо 1-е, оскорбление влечет за собой последствие уголовных законов; а действие по имению и капиталам должны разрешаться законами гражданскими; и 2-е, *в делах об оскорблении оправдания детей против родителей места не имеют* (курсив наш. — *Ф. С.*); а по делам о имении могут быть допускаемы в виде следствий гражданских прав на обладание имуществом, которые равно сильны как для отца, так и для сына».

Разделив таким образом одно дело на два, совестный суд вскоре обнаружил... что старший Огарев потерял всякое желание продолжать судебное преследование сына за оскорбления.

Другой интересный факт. К концу 1820-х годов четко проявляется нежелание высших инстанций рассматривать судебные дела. Сложно сказать, в чем была причина этого. Возможно, виной тому субъективный фактор. Александр I, как известно, сильно переживавший (особенно в конце жизни) свою вину в гибели отца, как мы видели, вставал на сторону «оскорбленных» родителей. Николай I, одержимый идеей порядка, часто накладывал на схожие жалобы резолюции: «Предоставить законному ходу», а иногда «Рассмотреть вне всякой очереди», но все-таки рассмотреть в суде. Возможно, причина была объективна: видя в апелляции к верховной власти средство скоро достичь намеченной цели — услать ненавистное чадо в глухую деревню или монастырскую тюрьму, — многочисленные просители могли просто

[1] ГА РФ. Ф. 109. Д. 110 (1827 г.).

«перегрузить» соответствующие инстанции: прежде всего Правительствующий Сенат и III Отделение, в первые годы после учреждения воспринимавшееся многими как прямой канал скорой и эффективной связи с монархом.

Так, когда к Бенкендорфу попала жалоба «по просьбе отставного поручика Луполова об исследовании поступков его против его матери»[1], тот просто передал дело в Комиссию прошений Н. М. Лонгинову, изложив, правда, его суть так, что зятья Луполова Косюра и Корбовский (очевидно, мужья сестер) настраивают против него мать «с целью неправедно завладеть принадлежащим ему Луполову имением». 2 января 1828 года Лонгинов уведомил Бенкендорфа: «Комиссия Прошений, рассмотрев определение 6 Департамента Правительствующего Сената, коим предоставлено матери Луполова просить на него за обиды в Совестном Суде и находя оное правильным, заключила: начатое по тому определению матерью его дело, как не получившее еще окончания, оставить в законном течении».

Именно к началу николаевского царствования относится и несколько актов, специально подчеркивавших, что необходимо «сужение об оскорблении родителей детьми обоего пола и всякого состояния без различия, предоставить... Совестным Судам». Исключение из этого правила могло быть сделано только в том случае, если в данной местности совестных судов не было вовсе[2].

Таким образом, к началу 1830-х годов для молодого человека шанс быть отправленным волей своего сурового родителя в тюрьму или в ссылку сильно уменьшился de facto. De jure же он оказался минимизирован введением в действие с 1 января 1835 года

---

[1] ГА РФ. Ф. 109. Д. 37 (1827).

[2] ПСЗ. Т. I. 1826. № 507. С. 828–829; № 568. С. 919–922; Т. II. 1827. № 883. С. 158.

Свода законов Российской империи. Как известно, властью было продекларировано, что Свод ничего не меняет в существующих российских законах, а лишь приводит их в систему, почему каждая его статья сопровождалась ссылками на сами эти законы, помещенные в изданном в 1830 году их многотомном Полном собрании. Одновременно всем местам и просителям было дано право ссылаться лишь на статьи Свода.

Но вот что интересно. Например, ссылкой на статьи 5—6 главы XXII Соборного уложения (на основании которых, напомним, известный читателю поручик Егор фон Курс был лишен чинов, дворянства и отдан в солдаты) подкреплена статья 116 тома X: «От детей в личном отношении не приемлется на родителей никакого иска»[1]. Нельзя не согласиться, что николаевские кодификаторы истолковали смысл статей закона царя Алексея Михайловича весьма творчески: нетрудно усмотреть разницу между «неприемом иска» и суровым наказанием за попытку его подачи. Статья 114 того же тома, наконец, законодательно определила, что «родители, для исправления детей строптивых и неповинующихся, имеют право употреблять домашние исправительные меры», ну а «в случае же безуспешности сих средств» им оставалось два пути: либо «приносить... жалобы в Совестных Судах», которые, как было показано, совсем не горели желанием заточать таких детей в монастырские тюрьмы, либо «отдавать в смирительные домы», но лишь не состоящих на государственной службе своих «развратных» детей, а также содержать их там за свой счет.

[1] Здесь и далее цит. по: СЗ. Т. X. — СПб. 1835.

Применение законодательства по государственным преступлениям в розыскных делах эпохи Петра I

Евгений Рычаловский

Специализированные учреждения для следствия и суда по государственным преступлениям, предусмотренным статьями главы II Соборного уложения 1649 года, создаются только в царствование Петра I, точнее, с конца XVII столетия. Возглавляли их ближайшие сотрудники царя, что делало эти учреждения важным звеном в системе формируемого государственного аппарата и главным инструментом в обнаружении и подавлении не только реальной политической оппозиции, но и всякого недовольства действующей властью — от монарха до местной приказной бюрократии. Впервые внимание на правовые нормы функционирования одного их таких учреждений — Канцелярии тайных розыскных дел — обратил историк В. И. Веретенников. По его мнению, приговоры, выносившиеся в Канцелярии, преимущественно основывались на главе II Соборного уложения и на Артикуле воинском. Причем на Уложение ссылались в менее важных делах[1]. Подобное же наблюдение в отношении возникшего двумя десятилетиями ранее Преображенского приказа сделала Н. Б. Голикова: «При определении состава политических преступлений главным руководством для судей служила вторая глава Соборного уложения...»[2]

---

[1] Веретенников В. И. История Тайной канцелярии петровского времени. — Харьков, 1910. С. 184 – 187.

[2] Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I: По материалам Преображенского приказа. — М., 1957. С. 34.

Соглашаясь с тем, что основной функцией указанных судебно-следственных учреждений являлось устрашение и подавление политической оппозиции и любых форм недовольства действующей властью, необходимо иметь в виду, что в своей деятельности эти учреждения проводили общий принцип Петровских реформ — следование интересам государства. Все, что наносит вред и убыток государству, определяется как преступление[1]. Вместе с тем единственным источником права становится закон, в том числе в виде указов, предпринимаются усилия по публикации законодательных актов[2]. Перед судьями стояла двоякая цель: с одной стороны, не просто найти и покарать виновного во что бы то ни стало, а «совершить правосудие», то есть установить справедливость обвинения, выяснить вину ответчика, квалифицировать преступление и вынести в соответствии с действующим законодательством приговор, пытаясь согласовать часто противоречивые статьи Уложения, воинских артикулов и новейшие указы; с другой — в своем вердикте руководствоваться субъективной оценкой опасности деяния для государственного устройства и степени участия подследственных, представленной прежде всего самодержцем.

В делах Преображенского приказа и Тайной канцелярии Петровской эпохи сохранились многочисленные извлечения из законоположений, которые, по мнению судей, подходили к тому или иному случаю. Такие записи помещались в конце выписки из розыскного дела, представлявшейся для вынесения приговора полномочной власти. Обычай давать выписки из Соборного уложения, вероятно, берет начало в царствование Алексея Михайлови-

---

[1] ПСЗ. Т. 5. № 2871. С. 135 – 136. Именной указ от 24 декабря 1714 года.

[2] Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. — Ростов-на-Дону, 1995. С. 272.

ча[1], а по государственным преступлениям правления Петра впервые отмечен в статейных списках по делу Ф. Л. Шакловитого, его сообщников и членов их семей 1689 года[2]. Здесь приводятся извлечения из главы II, статей 1 (о злом умысле «на государьское здоровье»), 6 (о ведении жен и детей изменников «про ту их измену»), 7 (о неведении жены и детей об измене мужа и отца)[3]. Служители Преображенского приказа с возникновения его как розыскного органа, а позднее — Канцелярии тайных розыскных дел продолжили эту практику. Дело 1697 года о И. Е. Цыклере, А. П. Соковнине и Ф. М. Пушкине и прочих относится к наиболее значительным делам Преображенского приказа до стрелецкого бунта. Они обвинялись в намерении убить государя и выбрать на царство другого, взбунтовать стрельцов и донских казаков и вместе с ними разорить Москву. Кроме того, двум стрельцам инкриминировали недонесение об умысле против царя и о непристойных словах и двум — непристойные слова. Приговор затронул также жен и детей обвиненных и их имущество[4]. Приказным, видимо, не составило

---

[1] Правда, в документах одного из самых значительных политических процессов времен Алексея Михайловича — Степана и Фрола Разиных, в том числе в сказке, объявленной им перед казнью, нет никаких следов подобных выписок или даже ссылок. См.: Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Т. 3: Подавление восстания, казнь С. Разина и позднейшие отголоски (с января 1671 г.). — М., 1962. С. 87.

[2] Речь идет о двух статейных списках: окольничего Ф. Л. Шакловитого, стольника полковника С. Ю. Резанова, стрелецкого пристава Обросима Петрова, стрелецкого пятидесятника Козьмы Чермного и др.; стольника А. И. Безобразова, его жены А. В. Безобразовой, волхвов Дорофея Прокофьева и Федора Бобылева и людей Безобразова. См.: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Стб. 210 – 264. — СПб., 1884; Т. 2. Стб. 275 – 292. — СПб., 1885.

[3] См.: Соборное уложение 1649 года: Текст. Комментарии. — Л., 1987. С. 20. (Законодательные памятники русского централизованного государства XV – XVII веков).

[4] Голикова Н. Б. Указ. соч. С. 294 – 296. Приговор от 6 марта 1697 года.

труда подобрать подходящие статьи к преступлениям Цыклера со товарищи и к участи их семей. Докладная выписка из дела, по заслушании которой царь и бояре вынесли приговор, завершается извлечениями из нескольких статей главы II Соборного уложения: статьи 1; статьи 2 — о намерении «Московским Государством завладеть и Государем быть», сборе с этой целью рати и переписки «Царского Величества с недруги»; статьи 5 — о взятии «поместий, вотчин и животов изменничьих» на царя; статьи 7; статьи 8 — о детях изменника, живших с ним раздельно до измены; статьи 18 — об извещении про «скоп и заговор» или иной злой умысел на царя; статьи 19 — о неизвещении про «скоп и заговор» или иной злой умысел[1].

Проследить этапы следствия от завершения непосредственно розыска до вынесения приговора можно на примере не столь громкого дела по извету холопки Анастасии Дружининой 22 декабря 1697 года на своего владельца, стольника А. А. Кузьмина-Караваева, его жену Анастасию и двоюродную сестру Прасковью Юрьеву дочь Бокину в непристойных словах. Суть извета состояла в том, будто стольник и прочие говорили: «...Поделам де Великого Г[о]с[у]д[а]ря Алешка Соковнин и Ивашка Цыклер убить хотели, что у него де, Г[о]с[у]д[а]ря, нет розсуду. Как был в Московском Г[о]с[у]д[а]рстве кн[я]зь Василей Голицын, и у него де, кн[я]зь Васил[ь]я, россуд был лутче ево, Великого Г[о]с[у]д[а]ря... Хотя де он, Г[о]с[у]д[а]рь, тому Алешке Соковнину и Ивашке Цыклеру головы отсек, еще де осталос[ь] их не столко... Н[ы]не де он, Г[о]с[у]д[а]рь, еще завел новое: детей их берет в малых летех и посылает за море для ученья. Какой де ево, Г[о]с[у]д[а]рев, россуд?»[2] После записи о пыточ-

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 485. Л. 96 – 99. См.: Соборное уложение. С. 20 – 21.

[2] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 629. Л. 11 – 12; Голикова Н. Б. Указ. соч. С. 187.

ных речах Анастасии 18 января 1698 года, когда она признала свой донос ложным, следует помета: «И столник княз[ь] Федор Юрьевичь Ромодановской, слушав сего дела, приказал выписать из Государева указу из Соборного Уложенья». И ниже: «А в Г[о]с[у]д[а]р[е]ве указе и в Соборном Уложенье во 2-й главе в 17-й статье (в тексте ошибочно — 16-й) напечатано: «Буде хто на ково доводит Г[о]с[у]д[а]р[е]во великое дело или измену, а не довел, и сыщетца про то допряма, что он такое дело затеял на него напрасно, и тому изветчику то ж учинить, чево довелся тот, на кого он доводил». Далее: «И по сему делу выписано на перечень, а в выписке пишет...»[1] На следующих пяти столбцовых листах изложено дело от извета до окончания розыска[2], в конце последнего листа приведена выписка из упомянутой статьи Уложения, после которой стоит другая помета: «206-го генваря в 19 день по указу Великого Г[о]с[у]д[а]ря столник княз[ь] Федор Юрьевичь Ромодановской, сей выписки слушав, приговорил: изветчицу жонку Настку за ее воровство и за ложной ее извет по Уложенью казнить смертью, чтоб, на нее смотря, и иным так воровать и ложно извещать было неповадно. А Офонасья Кузмина Короваева и жену ево и сестру свободить...»[3] Царь Петр находился в это время за границей в составе Великого Посольства, и Ромодановский принимал решение единолично.

В тот же день стольник вынес приговор по другому извету о непристойных словах, где содержалась иная трактовка непристойных слов. Посадский человек Решемской слободы Суздальского уезда Данила Волков (Лазарев), проживавший по кабальной записи у торгового тяглеца Казенной слободы в Москве Андреяна Фомина, 6 декабря 1697 года объявил, что последний

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 629. Л. 32. См.: Соборное уложение. С. 21.

[2] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 629. Л. 33 – 37.

[3] Там же. Л. 37.

отправился для покупки лука на Красную площадь «после казни воров и изменников Алешки Соковнина с товарыщи и после Г[о]с[у]д[а]р[е]ва походу с Москвы» и, глядя на отрубленные головы, сказал: «...Напрасно де Федка Пушкин и Алешка Соковнин с товарыщи кажнены, довелось де было вместо их на том месте головам быть тем, хто на них извещал». Спустя год у себя в доме Фомин при тесте и жене произнес: «Указал де Г[о]с[у]д[а]рь Мартыну Орленку держать бляцкие бани». На что его жена отвечала: «Чему де быть? Он де и сам блядует»[1]. Андреян повинился в сказанном после подъема на дыбу, его жена — после расспроса у пытки. Говорили они о том «спроста». Затем Андреян сказал, что те речи произносил «спьяна», «а умыслу де у него в том не бывало»[2]. В конце выписки из дела, представленной Ромодановскому, сказано: «А в Г[о]с[у]д[а]реве указе и в Соборном Уложенье во 2-й главе напечатано: «Буде кто учнет на Г[о]с[у]д[а]рское здоровье умышляти злое дело и про то ево злое умышление сыщется допряма, что он на Г[о]с[у]д[а]рское Величество злое дело мыслил и делать хотел, и такого по сыску казнить смертью». А за непристойные слова что чинить, того в Г[о]с[у]д[а]реве указе и в Соборном Уложенье не напечатано и в новоуказных статьях не написано». Далее следует помета: «207-го генваря в 19 день по указу Великого Г[о]с[у]д[а]ря столник князь Федор Юрьевичь Ромодановской, сей выписки слушав, приговорил тому Андреяну и жене ево вместо смертной казни учинить жестокое наказанье — на козле бить кнутом нещадно и, урезав язык жене ево, сослать в Сибирские городы на пашню»[3].

В первом деле глава Преображенского приказа счел возможным квалифицировать содеянное Дру-

---

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 673. Л. 1.

[2] Там же. Л. 4, 5, 8.

[3] Там же. Л. 56; Голикова Н. Б. Указ. соч. С. 210 – 211.

жининой как «недоведенный» извет по «государеву великому делу», назвав слова, приписанные ею хозяину, его жене и сестре, «воровством», а не «непристойными словами». В этом случае он смог, не затрудняясь обращением к верховной власти, применить готовую статью Уложения, предусматривавшую смертную казнь, если следовать логике наказания за покушение на государево здоровье или за измену. Показательно, что подьячие не сделали выписку из статьи 13 той же главы о ложном извещении «про Государское здоровье или какое изменное дело» людей и крестьян на своих хозяев и помещиков, предусматривавшей наказанье кнутом. Повлияло на приговор, видимо, то, что донос был совершен на представителя знати, а в словах, произнесенных холопкой, содержалось одобрение попытки убить царя, то есть голый умысел, наказуемый, как и сама измена. В деле А. Фомина с женой, при отсутствии соответствующей статьи в Уложении, приговор выносился согласно воле (и произволу) монарха. Отлучка царя заставила Ромодановского обратиться к практике решения подобных дел уже без ссылки на закон.

При наличии подходящей к конкретному случаю статьи в Уложении приговор не исключал ее расширительного толкования. Так, в октябре 1700 года в Преображенском приказе проводился розыск по извету человека Степана Покровцова на своего владельца, окольничего А. И. Леонтьева. Окольничий якобы незаконно держал у себя в доме стрельца Ивана Самойлова, старицу-раскольницу и некоего Андрея Темирева, находившегося «в церковной противности», к которому приходили со своими книгами поп и дьячок «неведомо для каково научения и вымыслу»[1]. Извет признали ложным. В выписке из дела содержалась ссылка на упомянутую статью 13 главы 2. Выносили приговор бояре, с октября 1699 года съезжавшиеся

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 799. Л. 5.

в Преображенское раз в неделю. Они приговорили «Андрея Темирева и человека ево (А. И. Леонтьева. — *Е. Р.*) Ивашка Самойлова свободить, а изветчику, околничего Андрея Ивановича Леонтьева человеку Стенке Покровцову, учинить наказанье — бить кнутом и отдать по прежнему Андрею Ивановичу, а буде взять ево не похочет, и ево, Стенку, з женою и з детьми послать в Сибирь на пашню...»[1] О ссылке в Сибирь в случае отказа владельца взять назад своего человека или крестьянина в статье ничего не говорится.

В том же 1700-м году несколькими месяцами ранее бояре вынесли смертный приговор по непристойным словам, сходным с произнесенными Анастасией Дружининой. Утренним днем конца мая несколько дворовых женщин помещика К. И. Данилова села Барыбина Тульского уезда — Анна Аносова дочь Полосухина, Марина Иванова дочь Пименова, Прасковья Артемьева дочь и жена повара Ненила — гнали в стадо скотину, а по дороге домой Ненила стала бранить людей Данилова, в том числе и своего мужа, которые пошли по своей воле на службу: «Бунтовщики де, блядины дети, пошли в волницу, на без головье забунтовали. Мужа де моево чорт понес, а меня покинул с робяты. Кому их кормить? А боярин де месечины не дает». Марина Пименова пыталась ее унять, говоря: «Какие они бунтовщики? Что де они забунтовали? Боярина своего не покрали, сундука не подломили, пошли не от воровства своево — они пошли служить Великому Г[о]с[у]д[а]рю. И наперед сего волница в службу писывались». На что Анна Полосухина заявила: «К чорту де пошли, а не к Г[о]с[у]д[а]рю. У нас де свой Г[о]с[у]д[а]рь — хто нас поит да кормит. Мы де ему станем служить, а наперед де сего мы и без них жили ж». В последовавшей перебранке свое слово вставила и Прасковья: «Полно де тебе (Марине. — *Е. Р.*) молодицу изгонять. Те де пошли, а иные итить не смеют,

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 799. Л. 16.

толко де мир помутили. Как бы Великий Г[о]с[у]д[а]рь указал нам всем дать волю на все четыре стороны, мы бы де за него, Г[о]с[у]д[а]ря, вечные богомольцы»[1]. Выписка из дела не содержит извлечения из статьи Уложения по непристойным словам за отсутствием таковой. Но заслушавшие выписку бояре, вероятно, посчитали, что в сравнении помещика с государем и в намерении служить только ему содержатся признаки измены, и приговорили «дворовую жонку Миткину жену Полосухина Анютку за... ее непристойные слова казнить смертью». Ненилу и Прасковью присудили к наказанию батогами, причем имя последней было внесено в запись приговора позднее[2]. Однако Петр не стал утверждать приговор: Анну и Ненилу он распорядился наказать кнутом, после чего первую послать в вологодские монастыри, а вторую — отдать помещику[3]. Возможно, одной из причин смягчения приговора послужил тот факт, что к розыску из вотчины Данилова затребовали мужа Анны Полосухиной, Дмитрия, подозревая его в наущении жены указанным выше словам, но тот, как оказалось, находился в бегах[4].

В отличие от Преображенского приказа раннего периода его функционирования Канцелярия тайных розыскных дел, созданная весной 1718 года для розыска по делу царевича Алексея, могла обращаться к более широкому кругу законодательных актов. Прежде всего это Артикул воинский и ряд частных указов, существенно дополнявших Соборное уложение: например, именной, объявленный из Сената указ от

---

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 838. Л. 3 – 4; Голикова Н. Б. Указ. соч. С. 174. Изветчицей была подслушавшая разговор дворовая Ульяна Артемьева.

[2] РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Стб. 838. Л. 14. Приговор от 15 июня 1700 года за скрепой думного дьяка А. А. Виниуса.

[3] Там же. Л. 15. Запись именного указа от 5 июля 1700 года.

[4] Там же. Л. 6.

23 декабря 1713 года[1] и изданный как следствие его сенатский указ от 13 января 1714 года[2], давшие толкование понятию «государево слово и дело», именной указ от 25 января 1715 года, определивший круг «нужных и важных дел», о которых следовало доносить самому царю или караульному сержанту при дворе его величества: «о злом умысле против персоны Его Царского Величества или измене», «о возмущении или бунте» и «о похищении казны»[3].

Впервые Артикулы воинские Тайная канцелярия привлекла вскоре после их публикации, готовя выписки из законов для собрания министров и Сената, уполномоченных вынести приговор царевичу Алексею. Это артикулы 19 (об умысле против его величества с оружием или войском и о сообщниках, помогавших в том и подававших совет, предусматривавшего четвертование, и толкование на него: «Такое ж равное наказание чинитца над тем, которого преступление хотя к действу и не произведено, но токмо его воля и хотение к тому было, и над оным, которой о том сведом был, а не известил») и 127 (об измене, намерении ее совершить и равном за них наказании)[4]. Рядом мы видим статьи 1 и 2 главы II Уложения. Исключительность суда над особой царского рода, который в обычное время являлся прерогативой государя, и участие иерархов церкви объясняют обращение к Ветхому (Книга Левит, гл. 20; Второзаконие, гл. 21) и Новому Завету (Евангелие от Матфея, гл. 15, зачало 60; Евангелие от Марка, гл. 7, зачало 28; Послание Апостола Павла к Римлянам, гл. 1, зачало 81; Послание Апостола Павла к Ефесянам, гл. 6, зачало 232).

---

[1] ПСЗ. Т. 5. № 2756. С. 76.

[2] См., например: РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1. Д. 848. Л. 10 – 10 об.

[3] ПСЗ. Т. 5. № 2877. С. 137 – 138.

[4] Ссылка идет на следующую публикацию: Артикулы прав воинских Царского Величества. 1717. См. также: ПСЗ. Т. 5. № 3006. С. 325, 357.

«Духовные чины», подобравшие «от священных Писаний образцов и статей, сему делу приличных», помимо Книги Левит, Второзакония, вышеприведенных глав Евангелий от Матфея и Марка и Послания Павла к Ефесянам, ссылались также на Книгу Бытия, гл. 9, Книгу Исхода, гл. 20 – 22, Вторую Книгу Царств, гл. 15 – 18, Книгу Есфири, гл. 1, Притчи Соломоновы, гл. 20, Книгу пророка Варуха, гл. 1, Евангелия от Луки, гл. 2, Матфея, гл. 5, 17, 19, 22, Первое послание Апостола Петра, гл. 2, Послания Павла к Римлянам, гл. 13, Колоссянам, гл. 3, Послание к Титу, гл. 3, правило 14 Поместного собора в Гангре, 1-е слово Иоанна Златоуста о Анне-пророчице[1]. Однако они содержат либо поучения без определения какого-либо наказания ослушнику, либо грозят проклятием или Божьим судом, и потому, в отличие от упомянутых ранее выписок, их не включили в напечатанное «Объявление розыскного дела и суда... на царевича Алексея Петровича»[2]. Соответственно, приговор министров, Сената и высших чинов «стану воинского и гражданского» основывался не только на воле монарха передать дело их решению, но и на «Б[о]жественных, ц[е]рковных, гражданских и воинских правах». Царевич обвинялся в следующем: «...умысл... бунтовной против отца и Г[о]с[у]д[а]ря своего и намеренный из давных лет подыск и произыскивание к престолу отеческому и при животе его чрез разные коварные вымыслы и притворы и надежду на чернь и желание отца и Г[о]с[у]д[а]ря своего скорой кончины... Он, царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямою от Бога определенною дорогою и способы по кончине отца

[1] Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 6: Царевич Алексей Петрович. — СПб., 1859. С. 518 – 523.

[2] Объявление розыскного дела и суда, по указу Его Царскаго Величества на царевича Алексея Петровича, Санктпитербурхе отправленнаго, и по указу Его Величества в печать, для известия всенароднаго, сего Июня в 25 день, 1718, выданное. — [СПб., 1718]. С. 45 – 47. См. также: Устрялов Н. Указ. соч. С. 529 – 536.

своего Г[о]с[у]д[а]ря получить, но, чиня все ему в противность, намерен был против воли Его Величества по надежде своей не токмо чрез бунтовщиков, но и чрез чюжестранную цесарскую помощь и войска, которые он уповал себе получить и с разорением всего Г[о]с[у]д[а]рства и отлучением от онаго того, чего б от него за то ни пожелали, и при животе Г[о]с[у]д[а]ря отца своего достигнуть»[1]. В отличие от приговоров по прочим розыскным делам, данный вердикт должен был не установить вид, а затем и форму наказания, а лишь представить мнение, какого наказания заслуживает царевич. Дальнейшая конкретизация отдавалась на усмотрение самодержца. «...И тако по вышеписанным Б[о]жественным, ц[е]рковным, гражданским и воинским правам, которые два последние, а имянно гражданские и военные, не токмо за такое уже чрез писма и действителные происки против отца и Г[о]с[у]д[а]ря, но хотя б токмо против Г[о]с[у]д[а]ря своего за одно помышление бунтовное, убивственное или под[ъ]искание к Г[о]с[у]д[а]рствованию казнь смертную без всякой пощады определяют, кол же паче сие сверх бунтовного малоприкладное в свете Богомерзкое двойное родителе убивственное намерение, а имянно в начале на Г[о]с[у]д[а]ря своего яко отца отечествия и по естеству на родителя своего милостивейшаго... таковую смертную казнь заслужило... Свое истинное мнение и осуждение обьявляем... подвергая в протчем сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердое разсмотрение Его Царского Величества Всемилостивейшаго нашего монарха»[2].

Одним из первых в розыскной практике новообразованного учреждения стало дело, касавшееся не политического, а гражданского и имущественного преступлений. Высокий социальный статус и потер-

[1] РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. Ч. 3. Л. 173.

[2] Там же. Л. 173 об. – 174.

певшей, и обвиняемой сторон побудил царя ввести его в категорию важнейших и передать доверенным лицам, выполнявшим особые поручения. Речь идет о деле камер-фрейлины царицы Екатерины Алексеевны Марии Даниловны Гамильтон, подробно изложенном М. И. Семевским[1]. Обвинялась она в вытравлении лекарствами двух плодов незаконного сожительства (блуда) с царским денщиком Иваном Михайловичем Орловым, убийстве третьего, новорожденного, ребенка и краже вещей у царицы Екатерины Алексеевны. В ходе розыска также выяснялась вина Гамильтон в распространении злонамеренного слуха, что Орлов вместе с Авдотьей Чернышевой обсуждали царицу Екатерину Алексеевну, якобы она ест воск и от этого у нее угри, то есть речь шла об оскорблении чести члена царской семьи. Однако Гамильтон под нажимом самого царя призналась в содеянном, заявив, что распускала слух из ревности[2], и этот эпизод не вошел в окончательный вердикт. Приговор в виде именного, данного в Тайной канцелярии указа от 27 ноября 1718 года гласил: «...Великий Государь, Царь и Великий Князь Петр Алексеевичь, Всеа Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, будучи в Канцелярии Тайных розыскных дел, слушав вышеписанного дела и выписки, указал: по имянному своему, Великого Государя, указу девку Марью Гамантову, что она с Ываном Орловым жила блудно и была оттого брюхата трижды и двух робенков лекарствами из себя вытравила, а третьяго удавила и отбросила, за такое ее душегубство, также она ж у ц[а]рицы Г[о]с[у]д[а]р[ы]ни Екатерины Алексеевны крала алмазные вещи и золотые, в чем она з двух розысков повинилась, казнить смертью...»[3] Но в

[1] Семевский М. И. Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. Слово и дело! 1700 – 1725: Репринтное издание. — М., 1991. С. 185 – 268.

[2] РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 150. Л. II – II об.

[3] Там же. Л. 20.

записке из Кабинета царского величества в Тайную канцелярию мы находим резолюцию: «...А о девке Гамантовой предложить Господам Правителствующим Сенаторам и то дело им решить по настоящим о том Государственным правам, и чему она за вины свои по приговору их, сенаторскому, удостоена будет, ту казнь ей и учинить»[1]. Следующие после резолюции выписки из светского и церковного законодательства предназначались, видимо, для сенаторов. Приводятся выдержки из следующих печатных законодательных кодексов[2]:

Соборного уложения, главы XXII, статьи 3 — о наказании отца или матери, убивших своего сына или дочь, годичным заключением в тюрьму и публичным покаянием[3];

той же главы статьи 26 — о наказании смертью жены, прижившей в блуде детей и умертвившей их самолично или с помощью других лиц[4];

Кормчей книги (Номоканон), главы 6 (Правила Поместного собора в Акире), правила 22 с толкованием о пожизненном покаянии убившего человека своей волей[5];

главы 17 (Правила 6-го Вселенского собора), правила 91 с толкованием «дающий и приемлющи дето губная зелия убийци суть», толкование — «разбойническому запрещению повинны суть таковые жены, иже вземлют отравления да уморят младенцы сущия во чреве их, и дающий им таковая туюжде казнь приемлют»[6];

главы 21 (Правила Василия Великого), правила 2 с толкованием — «хитростию растливши, егда аще

---

[1] РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 150. Л. 22 об. – 23.

[2] Там же. Л. 23 – 25 об.

[3] См.: Соборное уложение. С. 129.

[4] См.: Там же. С. 131.

[5] В тексте ошибочно — глава 7. См.: Кормчая книга. — М., 1653; Там же. Л. 50 об.

[6] Там же. Л. 203 об.

уморит, убийца есть», толкование — «жена, чревата сущи, егда аще приимет пагубное зелие, яко да уморит сущаго во чреве ея младенца, убийца есть. И испытуем, аще вообразился бе младенец или не вообразился, понеже множицею умирают со младенцы и жены, и елико по хитрости их два убивства бывают: едино убо хотящей родити жене, другое же — младенцу» — о запрещении на 10 лет[1];

той же главы правила 56 — «иже волею убив, 20 лет запрещение да примет»[2];

главы 31 (Правило Григория Нисского к Литонию епископу Мелетинскому и предисловие) правила 7 — «татьбы образы, разбой, раскопание стенам, сия последуют разбойнику, и убивство»[3];

той же главы правила 8 — «святотатство, рекше церковная красти, Ветхое убо Писание равно вмени с убивством, и обоя камением повелевает убити. Подобает же во всяцем гресе покаяния теплого смотрити, а не времене»[4];

главы 45 (Избрание от закона, Богом данного Израильтянам Моисеем), статьи 47 — «человек, иже аще убиет всяку душу человечю, смертию да умрет»[5];

главы 49 (Градской закон, или Прохирон), грани 39, статьи 72 — «аще жена во чреве имущи и зло помыслит на свою утробу, яко да извержет младенца, биема от предел да извержется»[6];

главы 50 («Царей Леона и Константина главизны», или Эклога), зачала 16, статьи 14 — «аще жена

[1] РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 150. Л. 225 об. – 226.

[2] Там же. Л. 241 об.

[3] «Татьбы же образы, разбой, раскопание стенам, сия последуют разбойнику, и убийство. Утворил бо есть к таковым оружием и помощию друг и месты тем же, и суду убийц повинен есть». — Там же. Л. 269.

[4] Там же. Л. 269 – 269 об.

[5] Там же. Л. 371.

[6] В печатной Кормчей — «изженется». Там же. Л. 492.

блуд сотворит и будет не праздна и разказит свое чрево, яко извреща, биена и заточена да будет»[1].

Ниже выписки из статьи 26 Уложения отмечено, что здесь не сказано, какое наказание применять ко вдовам и девкам, совершившим такое преступление[2].

Судьи попали в сложную ситуацию. С одной стороны, в кодексе светского права — Соборном уложении — смертная казнь предусматривалась за убийство детей только для замужней женщины, прижившей их в блуде, но не для девицы или вдовы. В сборнике церковного права — Кормчей, — куда входили также «царей Леона и Константина главизны» и Градской закон, в большинстве глав, конкретно говорящих об умерщвлении младенцев во чреве, для женщин, повинных в таком преступлении, предусматривается церковное запрещение либо телесное наказание и изгнание или заточение. Только в главе 45, говорящей об убийстве вообще, предусматривается смертная казнь: «Человек, иже аще убиет всяку душу человечю, смертию да умрет». Именно стремлением ужесточить наказание, исполнив тем самым высочайшую волю, объясняется привлечение правила 8 главы 31 о святотатстве (краже церковного имущества), где также говорится о смертной казни. Примечательно, что канцелярские служители, готовившие выписки, не обратились к именному, объявленному из Сената указу от 4 ноября 1715 года, грозившему смертной казнью «незаконнорождающим» матерям, которые «явятся во умерщвлении тех своих младенцев», причем имелись в виду как жены, так и девки[3]. Возможно, в их представлении в сферу действия указа попадало только податное население.

Для сравнения приведем дело дворовой князя И. Ф. Ромодановского Прасковьи Гавриловой, по ко-

---

[1] РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 150. Л. 517.

[2] Там же. Л. 23 об.

[3] ПСЗ. Т. 5. № 2953. С. 181.

торому в 1719—1722 годах проводился розыск в Преображенском приказе. Как и фрейлина Гамильтон, она зачала в незаконном сожительстве с денщиком генерал-майора М. А. Матюшкина Андреем Фоминым ребенка и задушила его сразу после родов[1]. Судьи тщетно пытались выяснить причастность к преступлению других лиц, трижды подвергнув дворовую пытке. Из всей Кормчей, видимо, было сочтено достаточным привлечь только статью 14 главы 50 (см. выше). Также сделали выписку из статьи 26 главы XXII Соборного уложения и сослались на аналогичное законоположение из Новоуказных статей. В данном случае никого не смутило, что статья не касалась девиц и вдов. Был приведен и именной указ от 15 июня 1714 года, по которому «велено всякого чина судьям всякие дела делать и вершить все по Уложенью»[2]. Дьяк Преображенского приказа В. Нестеров сделал безуспешную попытку воспользоваться прецедентом — при Ф. Ю. Ромодановском жена некоего Ивана Суворова за подобное преступление была сослана в Кострому в Настасьин девичий монастырь[3]. Приговор от 26 мая 1722 года ссылался на статью 26 главы XXII Уложения и указ 15 июня 1714 года; на их основании Прасковью присудили к отсечению головы[4]. На суровость приговора, несомненно, повлияло то, кем был хозяин дворовой.

Большинство дел, проходивших по ведомству Тайной канцелярии, как и ее предшественника, так или иначе касались непристойных слов. В 1719—1720 годах здесь производился розыск об архимандрите Александро-Свирского монастыря Александре. Этот крутого нрава настоятель отказывался служить в честь ангела царя Петра Алексеевича в день апостолов Пе-

---

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1042. Л. 1—2.

[2] Там же. Л. 4 об. — 5.

[3] Там же. Л. 2 об., 3 об.

[4] Там же. Л. 5.

тра и Павла, объясняя это так: «Что де служить? Какое в нем (в царе. — *Е. Р.*) христианство? Видишь де, он християнскую веру оставил, и в посты есть мясо, и других к тому принуждает, и носит немецкое платье и бороду бреет, и другим то чинить повелевает, и бл[а]гочиния в нем нет». Не велел он также праздновать день тезоименитства царицы Екатерины Алексеевны, объясняя это следующим образом: «Какая де она ц[а]рица! Она де немка, бесурманка. И прежде венца детей рождала»[1]. Как следует из доношения братии монастыря царю Петру Алексеевичу на Александра от 16 марта 1719 года, тот говорил, «что де Г[о]с[у]д[а]рь в бытность свою во обители великой убыток учинил»; архимандрит соборную церковь, где был построен предел апостолов Петра и Павла, «обнажил от всего иконнаго бл[а]голепия, иные вместные иконы в тое... часовню (построенную Александром. — *Е. Р.*) вынес, чтоб в том пределе и впред[ь] не токмо в протчие дни, но и на ц[а]рьские бы анг[е]лы Б[о]жественные службы не быт[ь]»[2]. Уже содержась под стражей в Канцелярии, в январе 1720 года он составил два «писания», где объяснял причины непразднования тезоименитства Екатерины Алексеевны: «ради прелюбодейнаго Их Ц[а]рскаго Величества брака», царь прелюбодействовал с Екатериной до венчания и «чада прижил, а законну ц[а]р[и]цу отставил»; венчался с Екатериной, не взяв благословения у первого архиерея, «а аще ли бы о сицевом прелюбодейном браце ведомо было первому архи<ер>ею, такожде и протчим архиереем и всему ос[вя]щенному собору, то бы никогда таковому беззаконному браку соизволили быти во с[вя]той Б[о]жией ц[е]ркви венчану, но, по правилом с[вя]тых ап[о]с[то]л и с[вя]тых о[те]ц, аки бы гнилый уд отсекли б прочь от с[вя]тыя ц[е]ркви», «и в сем Ево Ц[а]-

[1] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 54. Л. 2–3.

[2] Там же. Л. 44–44 об.

рское Величество насилие сотворил немалое с[вя]той соборной и ап[о]ст[о]льстей ц[е]ркви великороссийстей»; Петр не должен был жениться на Екатерине, так как имел с ней духовное родство (крестной матерью царицы была сестра Петра Наталья Алексеевна). Кроме того, «ныне Ево Ц[а]рское Величество взял обычаи от падшаго западнаго костела римскаго, который отринут от с[вя]тыя восточныя греческия ц[е]ркви и яко ж гнилый уд отсечен от соединения», — не держит посты и другим повелевает то же, ввел брадобритие и ношение париков, курение табака. Ранее, в 1716 году, во время пребывания в Петербурге для исходатайствования указа о постройке монастыря вблизи Преображенского в Москве, или на Крестовском острове в Петербурге, или в другом месте, он говорил дьяку И. Климонтову, что если ему не дадут место под монастырь, то он уйдет из Петербурга: «И вышед, отрясу де я прах, прилепшей к ногам моим во свидетелство, что отраднее де будет Содому и Гомору, нежели граду сему»[1].

Для судей Тайной канцелярии была подготовлена выписка из дела с извлечениями из следующих законов:

Соборного уложения, главы II, статьи 1;

Артикула воинского, артикула 19 (по нему виновным «яко оскорбителям величества» полагалось четвертование) и толкования на этот артикул; артикула 20: «Кто против его величества особы хулительными словами погрешит его действа и намерение презирать и непристойным образом о том разсуждать будет, оный имеет живота лишен и отсечением главы казнен быть»; толкования на артикул 20: «Ибо его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делех ответу дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли яко христианский государь по своей воле и благомнению управлять, и яко

[1] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 54. Л. 62–63, 67–70 об.

же о его величестве самом во оном артикуле помянуто, разумеется тако и о его величества цесарской супруге и о его государства наследии»[1].

В определении Канцелярии тайных розыскных дел от 22 февраля 1720 года осталась ссылка на статью 1 главы II Соборного уложения и артикула 20 Артикула воинского. Архимандрит обвинялся в произнесении «непристойных слов» о царе, царице, покойном царевиче Петре Петровиче и царевнах (в приговоре, объявленном перед казнью, — «зловымышленные поносителные непристойные многие слова») и приговаривался к колесованию. Дьяк Климонтов за недонесение признан был достойным смертной казни, но, поскольку «он помянутому розстриге в тех разговорех отговаривал с прещением», приговорен к наказанию кнутом и вырыванию ноздрей и вечной ссылке на галеры[2]. Следует заметить, что по воинским артикулам к колесованию первой формы (экзекуция производилась над живыми преступниками) приговаривались убийцы, совершившие преступление «для прибыли или в надежде к какой прибыли», и те, кто их нанял, подкупил или уговорил (артикул 161), отравители (артикул 162), убившие «наглым образом» отца, матери, дитя во младенчестве, офицера (артикул 163), вооруженные грабители, напавшие на людей в пути, на улицах, в доме, кто «ограбит или побьет, поранит и умертвит» (артикул 185)[3]. Артикул 20 предусматривал лишь отсечение головы. Указанная выше статья Соборного уложения вообще не уточняла вид казни. По отдельным петровским указам колесовать предписывалось совершивших неоднократные разбои[4], а также «вящ-

---

[1] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 54. Л. 106 об. — 107 об.; ПСЗ. Т. 5. № 3006. С. 325.

[2] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 54. Л. 108 – 109 об.

[3] ПСЗ. Т. 5. № 3006. С. 369, 375 – 376.

[4] Там же. № 3154. С. 539 – 540. Именной указ от 7 февраля 1718 года.

ших воров и разбойников, а особливо тех, кои чинили смертныя убивства и мучения», беглых драгун, солдат и матросов, уличенных в разбоях, и приказчиков, старост и выборных — пристанодержателей[1]. Применение квалифицированной казни по отношению к бывшему архимандриту, а под конец расстриге Алексею может быть объяснено только ясно выраженным намерением высшей законодательной власти. Формально свободу выбора в способе казни давала именно статья 1 главы II Уложения.

Хотя артикул 20 предоставлял основания вершить суд по любым непристойным словам, касающимся государя и членов его фамилии, но диктуемое им единственно возможное и излишне жестокое наказание чаще всего заставляло судей Тайной канцелярии отказываться от применения артикула на практике. Здесь имел место утилитарный подход к личности обвиняемого, чья жизнь «представляла известную ценность», которого можно было использовать как рабочую силу[2]. После начала применения Артикула воинского определения по большинству розыскных дел о непристойных словах, если руководители указанных учреждений и сам монарх не усматривали в них особой важности, не строятся на каких-либо ссылках, а исходят из практики предшествующих приговоров. Так, в 1720 году певчий царевны Натальи Алексеевны Андрей Савельев, придя в нетрезвом состоянии в дом священника, махал тростью перед портретом царя и говорил «Ой ты!»[3]. Несмотря на то что певчий уверял, будто отгонял от портрета мух, его поведение назвали «непотребным дерзновением», а слова — не-

---

[1] ПСЗ. № 3477. С. 773 – 775. Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам от 24 декабря 1719 года. Некоторых из уличенных в разбоях беглых, по усмотрению офицеров команд, можно было также вешать за ребра.

[2] См.: Голикова Н. Б. Указ. соч. С. 41.

[3] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 59. Л. 1 – 1 об.

пристойными и приговорили к наказанию батогами, после чего освободили[1]. В 1723 году сын священника Федора Ефимова Гавриил заявил отставному солдату — лейб-гвардейцу Н. С. Шабанову: «...Чорт... тебя пожаловал да дьявол, а не государь!» — и также был приговорен к батогам и вдобавок к сдаче в солдаты[2].

Что касается Преображенского приказа, то нам не удалось найти в его бумагах следов привлечения Артикула воинского при составлении приговоров. Отчасти это объясняется тем, что в период после 1718 года здесь не расследовались сколько-нибудь серьезные государственные преступления. Но главная причина, на наш взгляд, заключается в традиционной приверженности этого учреждения Соборному уложению, подкреплявшейся упомянутым выше указом 15 июня 1714 года. Так, в 1720 году тяглец Садовой слободы в Москве Василий Иванов сын Серебреников (по прозвищу Волк) на исповеди называл Петра I антихристом и осуждал его нововведения — ношение «немецкого» платья, бритье бород и т. д.[3] Розыск проводился в Преображенском приказе под руководством дьяка Я. Былинского. Затем Серебреникова, который оправдывался безумством от наведенной на него порчи, отправили в Санкт-Петербург, в Преображенскую канцелярию к И. Ф. Ромодановскому. Выписка из дела не содержит никаких извлечений из законов, не приведен и подходивший к данному случаю 20-й артикул. В конце выписки помещена запись именного указа (от 11 марта 1721 года), приговорившего Василия «за непристойные слова» к отсечению головы[4].

В 1721 году астраханский подьячий Григорий Емельянов сын Кочергин, пойманный на кражах, во

---

[1] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 59. Л. 6 – 6 об.

[2] Там же. Д. 123. Л. 107 – 107 об.

[3] Там же. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1124. Л. 3 – 3 об.

[4] Там же. Л. 26 – 28 об.

время наказания плетьми объявил за собой «государево слово» об умысле на здоровье государя и сообщил о хранившихся у него «важных царственных письмах». У подьячего было найдено заговорное письмо «от ружья» с припиской проклятия царю. По розыску обнаружилось, что письмо Кочергин продиктовал Ивану Бабушкину, сыну человека именитых людей Строгановых В. Ф. Бабушкина, а ряд слов, в том числе и проклятие, приписал собственноручно. Подьячий весьма неубедительно объяснял это желанием отомстить Бабушкину-старшему[1]. Кроме статьи 17 главы II Уложения о «недоведенном» извете были привлечены статьи главы IV: 1-я — о составляющих «воровски» государевы грамоты, переправляющих «своим вымыслом» что-либо в подлинных грамотах или приказных письмах, подделывающих подписи и печати; 2-я — о прикладывании подлинных печатей к «воровским письмам»; 3-я — о хранящих «для своих пожитков и корысти» поддельные письма[2]. Все три статьи предусматривали смертную казнь. Однако именным указом от 11 марта 1721 года Кочергин «за состав заговорного письма и за приправку в том писме о Его Ц[а]рском Величестве непристойных слов» приговаривался всего лишь к битью кнутом, вырезанию ноздрей и вечной каторжной работе[3]. Как видим, и в этом случае в приказе обошлись без воинских артикулов.

Немалую проблему для учреждений политического розыска представляли ложные изветы[4] людей разных сословий, желавших избежать наказания, получить награду за донос, движимых чувством мести и т. д. Нередко в таких изветах соединялись мо-

---

[1] РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1104. Л. 85 – 88.

[2] Там же. Л. 88 об. – 89. См.: Соборное уложение. С. 22 – 23.

[3] РГАДА. Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1104. Л. 92 об.

[4] Иногда под этим названием скрываются просто недоказанные изветы.

тивы «похищения государева интереса», оскорбления царской чести и покушения на жизнь монарха[1]. Случаи неоднократного ложного доноса Соборным уложением не предусматривались. За первый извет об умысле на здоровье государя или измене, признанный ложным, далеко не всегда назначалась смертная казнь в соответствии со статьей 17 главы II Уложения. Например, беглый драгун Андрей Полибин «за ложные воровские изветы» на Ф. Ю. и И. Ф. Ромодановских, М. Я. Лобанова-Ростовского, И. Ф. Лопухина и И. С. Чебышева, которые якобы замышляли убить царя «на потехе на Царицыном лугу», именным указом, объявленным начальником Преображенского приказа И. Ф. Ромодановским, был приговорен к каторжным работам и отправлен в Канцелярию полицмейстерских дел с памятью: если бы он и на каторге стал говорить «слово и дело», его надлежало казнить, не списываясь с соответствующими ведомствами[2]. Повторный извет о заговоре с целью убить царя повлек за собой новый розыск и определение Тайной канцелярии от 24 мая 1720 года. Судьи привели статьи 1 и 17 главы II Уложения, но за «зловымышленное воровство» приговорили драгуна к не предусмотренной этими статьями квалифицированной казни — четвертованию[3]. В указе от 3 июня того же года, объявленного Полибину перед казнью, содержится ссылка на указ государя с такой мотивировкой: «Чтоб, на то смотря, впредь другим твоей братье таких воровских зловымышленных продерзостей чинить и таких неповинных людей вредить было неповадно»[4].

---

[1] См.: Рычаловский Е. Е. Дело драгуна Полибина и феномен ложного извета в Петровскую эпоху // Гос. ист.-культ. музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования. Вып. 13. Петр Великий — реформатор России. — М., 2001. С. 62 – 70.

[2] Там же. С. 64 – 65.

[3] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 53. Л. 48 – 48 об.

[4] Там же. Л. 50.

В изветах о «похищении государева интереса» привходящие мотивы нередко побуждали Петра действовать вопреки нормам, предусмотренным ранее в подобных же случаях. Его указы неоднократно предписывали провести повторный розыск, даже если судебно-следственный процесс уличал изветчика во лжи и того, согласно статье 13 главы II Уложения, следовало подвергнуть суровому наказанию, а словам его в дальнейшем запрещалось верить. Так произошло с делом фискала Ефима Санина, который за многократные изветы об умысле на здоровье государя и хищение казны и за непристойные слова в адрес царя[1] был приговорен сначала к отсечению головы, а затем самим Петром — к колесованию[2]. Но в самый день экзекуции бывшего фискала самолично допросил царь, дал ему отсрочку в исполнении смертного приговора и велел отослать в ведомство Вышнего суда для расследования дела по одному из доносов[3]. В таких условиях судьи Преображенского приказа и Тайной канцелярии вынуждены были сообразовываться как с законами, рассчитанными на длительный период («установления, которые ни в какое время не могут перемениться», по определению Екатерины II[4]), так

[1] Находясь под караулом, говорил: «В Г[о]с[у]д[а]ре де нашем правды не стало быть: хто де на кого доносит, а он тем же де отдает под суд. А и[ы]не де хто ему, Санину, ни станет сказывать, что хотят де ево, Г[о]с[у]д[а]ря, убить или зарезать, я де о том доносить не стану... Он де, Г[о]с[у]д[а]рь, и сам будет хуже вора. И он де какой Г[о]с[у]д[а]рь? Он же де ч[е]л[о]в[е]к неправдивой». См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 79. Л. 308.

[2] Там же. Л. 413 – 415. См. также: Веретенников В. И. Указ. соч. С. 117. Для квалификации преступлений Санина привлекли артикул 20 Артикула воинского с толкованием, статью 17 главы 2 Уложения и пункт 3 главы 42 Устава воинского 30 марта 1716 года (ПСЗ. Т. 5. № 3006. С. 252) о невмешательстве фискалов в дела, «глас о себе имеющия» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 79. Л. 410 об. — 412 об.).

[3] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 79. Л. 418 – 418 об., 427 – 427 об.

[4] См.: ПСЗ. Т. 18. № 12949. С. 267. Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения 1767 года.

и с указами, изданными по конкретному случаю, часто передаваемыми словесно, что в итоге вело к формализации применения законодательства первого рода.

Иногда в ходе розыска обнаруживалось, что за тем, на кого показывали знание «государева дела», числились и обыкновенные уголовные преступления. В таком случае приговор основывался также на законодательстве «неполитического» характера. В 1721 году подьячий З. Кузьмин извещал в «важном деле» на новгородского священника Ф. Ефимова. Розыск вывел на бывшего крестьянина дворцового села Медведь Новгородской провинции Сидора Семенова сына Юхарина, содержавшегося при канцелярии Новгородского провинциального суда по обвинению в двух «татьбах» и в попытке совершить третью. Юхарин дал показание о «государевом деле», восходящем к 1718 году и касавшемся окружения царевича Алексея. В том году он и московский посадский Степан Михайлов тайно находились в доме дьяка М. А. Воинова в Санкт-Петербурге, ожидая удобного случая для совершения кражи. Там они слышали разговоры собравшихся в гостях у хозяина незнакомых людей о намерении отравить царя, и якобы Воинов собирался исполнить это. Разговор шел на немецком языке, с которого Юхарину переводил Михайлов. Колоднику Ф. Бирюкову, который и передал слова священнику Ефимову, Юхарин говорил, будто некоторые из участников заговора еще живы. Но в расспросе показал, что имел в виду Воинова, а потом узнал о его смерти. Отказавшись от кражи, Юхарин и Михайлов ушли из дома, и последний кричал у Покровского моста «караул» и сказал за собой «государево слово». Его забрали незнакомые люди, и с тех пор от него не было вестей. Примерно в 1719 году Юхарина взяли под караул за воровство в Новгороде, и там впервые он сказал «государево слово». Но местный ландрихтер И. Мякинин и подьячий Р. Семиков уговорили его

отказаться от объявления и сослаться на пьянство[1]. Для вынесения приговора привлекли не только обычные в таких случаях статьи 1 и 17 главы II (об умышлении на государское здоровье и о «недоведении» извета), но и статьи из главы XXI Уложения, касавшиеся обычных уголовных дел: статью 9 о «доведении» на татя одной «татьбы», за что полагалось наказание кнутом с отрезанием левого уха, заключение в тюрьму на два года и последующая высылка «в украинные города»; статью 10 об «изымании» татя во второй «татьбе» и наказании кнутом с отрезанием правого уха, заключением в тюрьму на четыре года и высылкой в те же «украинные города»; статью 11 о мошенниках, предусматривавшая то же наказание, что и за первую «татьбу»[2]. Видимо, исходя именно из этих статей Тайная канцелярия приговорила Юхарина «вместо смертной казни» к наказанию кнутом, заменив отрезание уха вырыванием ноздрей, а ссылку в «украинные города» высылкой «на каторгу в вечную работу»[3]. Вынеся приговор по имущественному преступлению, Тайная канцелярия взяла на себя функции таких учреждений, как Юстиц-коллегия или провинциальные суды.

Даже авторитетные кодексы вроде Соборного уложения или Артикула воинского не имели преимущества перед так называемым казуальным законодательством. Приговор, оформлявшийся по завершении розыска, следуя существующим законам, подлежал, за редким исключением, обязательному утверждению высшей инстанцией — государем (иногда сначала временными комиссиями или Сенатом), который на полном основании мог игнорировать ту

---

[1] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 84. Л. 42 об. – 45 об.

[2] Там же. Л. 55 об. – 57. См.: Соборное уложение. С. 118 – 119.

[3] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 84. Л. 58 – 59.

или иную правовую норму и подменять ее частным указом. Непосредственно в Преображенском приказе и Канцелярии тайных розыскных дел определялся круг законов (часто произвольно суженный), по которым вершили приговор; когда речь шла о форме наказания, допускалось расширительное толкование законов (как это происходило с колесованием). В случаях с наказанием за непристойные слова и ложные изветы наблюдается наибольший произвол в применении законодательства в зависимости от оценки опасности сказанного или от количества доносов — от смертной казни до битья батогами. Кроме того, по ведомству указанных выше учреждений проходили и преступления, не связанные с «государевым словом и делом», что требовало привлечения и «неполитических» законов уголовного права, иногда одновременно с «политическими», а также норм права церковного.

Уголовные процессы против взяточников и казнокрадов в России первой четверти XVIII века

(опыт краткого обозрения)

Дмитрий Серов

...А которыя против своей должности оплошкою или вымыслом погрешат, неотменно наказаны будут по важности дела

Генеральный регламент. 1720 год

Правдою служи — кость гложи.

Старинная русская поговорка[1]

14 февраля 1723 года всяких чинов московские жители, офицеры и солдаты гвардейских полков, равно и прочий служилый люд, съехавшийся в Москву вслед за вернувшимся из Персидского похода императором Петром I, были оповещены о том, что «имеет быть над некоторою знатною персоною на площади близ сенацкой палаты эксекуция сего февраля 15 числа». Об этом прокликали на торгах биричи, об этом же уведомляли развешанные у всех кремлевских ворот, в Китай-городе и Немецкой слободе особые листы. Человек, для казни которого в Кремле спешно возвели «нарочно уготованной» эшафот, в самом деле являлся знатной персоной. День 15 февраля 1723 года должен был стать последним в жизни Петра Павловича Шафирова — барона, действительного тайного советника, вице-президента Коллегии иностранных дел, сенатора, кавалера ордена Св. Андрея Первозванного и польского ордена Белого Орла.

[1] Законодательные акты Петра I. Сост. Н. А. Воскресенский. Отв. ред. Б.И. Сыромятников. — М.—Л., 1945. Т. 1. С. 507; Сборник российских пословиц и поговорок. Сост. И. И. Иллюстров. — Киев, 1904. С. 80.

Ранним утром 15 февраля на оцепленный солдатами эшафот поднялся облаченный в потертую шубу низкорослый, страдавший одышкой, тучный 50-летний осужденный, чья стремительная карьера началась ровно четверть века назад здесь же, в Кремле, в сводчатых хоромах Посольского приказа. Господин секретарь Ижорин принялся зачитывать приговор. «А понеже он, барон Шафиров... забыв свою присягу, не яко сенатор, но яко хищник или тать учинил... — разносились над безмолвно любопытствовавшей толпой казенные строки. — А понеже он... во оную вину самоизволно впал, того ради и приговорили согласно...»

С осужденного сняли парик и шубу. Устремив взгляд на купола церквей, Петр Шафиров несколько раз перекрестился, встал на колени и опустил голову на плаху. Палач взялся за топор[1]...

В тот же утренний час 15 февраля в приемной палате сенатского здания были оглашены приговоры еще нескольким опальным сановникам. Обер-прокурор Правительствующего Сената генерал-майор и гвардии майор Г. Г. Скорняков-Писарев приговаривался к разжалованию в рядовые и конфискации имущества (кроме родового), сенаторы князья Д. М. Голицын и Г. Ф. Долгоруков — к лишению чинов, домашнему аресту и внушительному штрафу в 1550 рублей каждый. Так завершилось «дело сенаторов» — один из наиболее громких судебных процессов петровского времени[2].

В целом Петр I относился к чиновникам, преступившим закон, безусловно, непримиримо. Он всеми

---

[1] Сведения о подготовке и проведении «эксекуции» над П. П. Шафировым извлечены из подлинного судебного дела, а также из фотографически точных записок очевидца — голштинского камер-юнкера Ф. В. Берхгольца: РГАДА. Ф. 248. Кн. 300. Л. 264, 265 об., 267 – 268, 271; Берхгольц Ф. В. Дневник. 1721 – 1725 / Пер. с нем. — М., 1903. Ч. 3. С. 20 – 21.

[2] Публикацию материалов «дела сенаторов» см.: Иванов П. И. Судное дело над действительным тайным советником бароном Шафировым и обер-прокурором Сената Скорняковым-Писаревым // Журнал Министерства юстиции. 1859. Т. 1. Кн. 3. С. 3 – 62.

силами стремился выжечь издревле разъедавшие отечественный госаппарат язвы взяточничества, казнокрадства, злоупотребления должностными полномочиями[1]. По воле монарха-преобразователя были созданы невиданные прежде органы надзора и уголовного преследования — фискальская служба и прокуратура, специализированные органы суда и предварительного следствия. Были приняты и защищавшие интересы государственной службы строгие законодательные акты.

Наиболее значительный вклад в дело разоблачения «похитителей казенного интереса», несомненно, внесла учрежденная в марте 1711 года фискальская служба России. Именно фискалы вскрыли эпизоды преступной деятельности губернаторов М. П. Гагарина и П. А. Голицына, главы Мундирной канцелярии М. А. Головина и начальника Морского комиссариата Г. П. Чернышева, сенаторов Ф. М. Апраксина и М. М. Самарина и многих-многих других сановников. Так, с подачи московского провинциал-фискала Алексея Нестерова в 1714 году началось расследование грандиозной «подрядной аферы», большинство участников которой составляли «персоны» из руководства страны (включая самого «полудержавного властелина» Александра Меншикова).

Механизм аферы не отличался сложностью. Просто группа высших чиновников, установив изрядно завышенные цены на поставку в Санкт-Петербург и армию провианта и фуража, сама и осуществляла — разумеется, через подставных лиц — эти поставки. Ко-

---

[1] Наиболее углубленно к настоящему времени оказалась изучена борьба Петра I со взяточничеством. Интересующимся этой темой можно порекомендовать: Астанин В. В. Борьба с коррупцией по законодательству Петра I // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. — М., 1999. С. 245 – 250; Серов Д. О. Противодействие взяточничеству в России: опыт Петра I (законодательные, правоприменительные и организационные аспекты) // Уголовное право. 2004. № 4. С. 118 – 120.

лоссальные же переплаты казенных сумм шли в карманы предприимчивых соратников царя-реформатора.

Растревоженный сообщениями А. Я. Нестерова, Петр I взял разбирательство аферы под личный контроль. Под государевым приглядом следствие пошло без обыкновенной волокиты. Вращавшийся в правительственных кругах современник так описывал настроения среди «птенцов гнезда Петрова» на исходе 1714 года: «*...Светлейший князь [А. Д. Меншиков] в великой конфузии, и все в самом печалном образе, понеже царское величество зело прилежно сие дело [подрядное] сам розыскивает и не токмо сие, но и всякая дела сам обещается пересмотреть и нанизать как за болшое, так и за малое равно, о чем все трясутся...*»[1]

А «трястись» действительно было от чего. Разгневанный вскрывшимися эпизодами фальшивых подрядов, царь санкционировал пытки высокопоставленных подследственных. На дыбу попал «хозяин» Петербурга вице-губернатор Яков Римский-Корсаков, дважды пытали сенатора князя Григория Волконского.

Финал для проштрафившихся «господ вышних командиров» вышел драматичным. Вот как в Походном журнале Петра I была засвидетельствована состоявшаяся 6 апреля 1715 года на Троицкой площади новой столицы «эксекуция»: «*...И приведши их на площадь, где положена была плаха и топор, объявлен указ: сенаторам двум, Волконскому и Апухтину, за вины их (что они, преступая присягу, подряжались сами чужими имянами под правиант и брали дорогую цену, и тем народу приключали тягость) указано их казнить смертью, однако от смерти свобожены, толко за лживую их присягу обожжены у них языки, и имение их все взято на государя...*» Бывшего вице-губернатора Я. Н. Римского-Корсакова наказали кнутом[2].

---

[1] Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 27. Л. 286 об.

[2] Походный журнал 1715 года. — СПб., 1855. С. 13.

Каковы же были общие итоги деятельности органов юстиции в отношении высших должностных лиц страны в петровское время? Начать имеет смысл с Правительствующего Сената. По моим сведениям, из 23 сенаторов Петра I под судом и следствием в первой четверти XVIII века побывало **девять человек (39%)**. Двое сенаторов были осуждены за причастность к той самой «подрядной афере», трое — по упомянутому «делу сенаторов» 1723 года. Кроме того, в использовании сенаторской должности в криминальных целях в разное время обвинялись Ф. М. Апраксин, Я. Ф. Долгоруков, А. Д. Меншиков и М. М. Самарин.

Существенно иная картина вырисовалась с руководителями центральных органов власти. Из 44 лиц, занимавших соответствующие должности при Петре I, под следствие и суд попало **14 (32%)**. Так, четверо администраторов данного звена — будущие сенаторы Ф. М. Апраксин, Я. В. Брюс, Г. И. Головкин и А. Д. Меншиков — оказались фигурантами все того же «подрядного дела». В 1717 – 1718 годах серьезные обвинения выдвигались против начальника Морского комиссариата Григория Чернышева, в 1723 – 1725 годах — против директора Канцелярии от строений Ульяна Синявина...

Остается коснуться вопроса о ситуации в губернаторском корпусе. Здесь данные автора таковы: из 32 губернаторов первой четверти XVIII века подсудимыми и подследственными оказались **16 человек (50%)**. Всего же из 82 высших администраторов Петра I под следствие и суд в первой четверти XVIII века попал **31 человек (38%)**.

В чем же обвинялись в описываемое время сановные питомцы эпохи реформ? Подавляющему большинству «вышних командиров» инкриминировались преступления либо в сфере экономики (вымогательство, растрата, мошенничество), либо против интересов государственной службы (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных

полномочий, получение взятки, служебный подлог). К примеру, бывший сибирский губернатор М. П. Гагарин был на суде признан виновным в восьми эпизодах преступной деятельности, включавших получение взяток, вымогательство, служебный подлог, растрату и злоупотребления должностными полномочиями. А вот занимавший в 1711—1715 годах пост оберфискала М. В. Желябужский в 1723 году и сам был изобличен в составлении подложного завещания[1].

Каковы же были результаты деятельности органов уголовной юстиции России первой четверти XVIII века в отношении высших администраторов? Прежде всего необходимо отметить, что отнюдь не все дела «вышних командиров», по которым осуществлялось предварительное следствие, дошли до судебного разбирательства. Из 31 сановника, подвергшегося при Петре I уголовному преследованию, под судом оказалось 21 (68%, или 26% от общей численности высокопоставленных госслужащих того времени), а осуждено 16 человек (52%, или 20%).

Например, не состоялось судебное рассмотрение грандиозного «счетного дела» А. Д. Меншикова, дел вице-губернаторов В. И. Гагарина и А. А. Курбатова, губернаторов П. А. Голицына и К. А. Нарышкина, главы Мундирной канцелярии М. А. Головина, сенатора М. М. Самарина. Произошло это по разным причинам.

Двое сановных фигурантов уголовных дел — Петр Голицын и Алексей Курбатов — скончались в период расследования. Дела еще двух — киевского губернатора Дмитрия Голицына и ревельского вице-губернатора Фридриха Левена — были прекращены на стадии предварительного следствия из-за недоказанности обвинений (6% от общего числа высших администраторов, подвергшихся уголовному преслe-

[1] РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 17. Л. 95–96 об.; РГАДА. Ф. 248. Кн. 273. Л. 718–718 об.

дованию). В остальных случаях фатальную роль, несомненно, сыграла волокита (целенаправленная или стихийная — другой вопрос).

Впрочем, и поступавшие в судебное производство дела «вышних командиров» далеко не всегда завершались вынесением приговора. Так, в Правительствующем Сенате заволокитили дело о служебном подлоге и казнокрадстве бывшего воронежского вице-губернатора Степана Колычева, в Вышнем суде — дело о злоупотреблении должностными полномочиями директора Канцелярии от строений Ульяна Синявина, в Камер-коллегии — дело о взяточничестве казанского губернатора Алексея Салтыкова.

Более всего «господ вышних командиров» превратилось из подсудимых в осужденных в результате судебного рассмотрения не раз упомянутых «подрядного» и «сенатского» дел (шестеро и четверо лиц соответственно).

К каким же мерам наказания приговаривались преступившие закон «птенцы гнезда Петрова»? Чаще всего к ним применялись уголовно-правовые санкции имущественного характера: штрафы и различные виды конфискаций. Из 16 осужденных сановников наказания подобного рода понесло 14 человек. При этом самая жесткая разновидность данной меры наказания — полная конфискация имущества — была назначена судом шестерым опальным администраторам.

Реже в судебной практике петровского времени применялась такая чувствительная для госслужащих мера, как лишение чинов. Подобное наказание понесли по меньшей мере пятеро сподвижников царя-реформатора. Шафиров в 1723 году помимо чина был лишен также баронского титула и орденов.

Телесные наказания по приговору суда претерпели четверо выходцев из рядов тогдашней «номенклатуры». Как уже отмечалось, в апреле 1715 года осужденные по «подрядному делу» сенаторы Василий Апухтин и Григорий Волконский подверглись —

за нарушение присяги на верность государственной службе — прижиганию языков, а бывший санкт-петербургский вице-губернатор Яков Римский-Корсаков — наказанию кнутом. Наказанию кнутом подвергся 24 января 1724 года и бывший обер-фискал М. В. Желябужский[1].

Что же касается смертной казни, то ее судебные органы первоначально назначили пятерым «птенцам гнезда Петрова»: В. А. Апухтину, Г. И. Волконскому, М. П. Гагарину, А. Я. Нестерову и П. П. Шафирову.

Осужденный Сенатом бывший сибирский губернатор Матвей Гагарин был повешен на Троицкой площади Санкт-Петербурга 16 марта 1721 года, осужденный Вышним судом бывший обер-фискал Алексей Нестеров — колесован там же 24 января 1724-го. Для остальных приговоренных процедура казни имитировалась: людей выводили на эшафот, клали на плаху и лишь после этого зачитывали указ о помиловании. В частности, именно так 15 февраля 1723 года поступили с Петром Шафировым. Топор палача вонзился тогда в плаху совсем рядом с головой бывшего сенатора и барона[2].

Достойно упоминания, что Петр I смягчал не только смертные приговоры. Скажем, разоблаченный фискальской службой начальник Морского комиссариата генерал-майор Григорий Чернышев в октябре 1718 года был осужден военно-судебным присутствием к полной конфискации имущества и лишению чинов. Царь заменил конфискацию сравнительно умеренным штрафом, а лишение чинов — арестом на пять дней[3].

---

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 373. Л. 720. Получивший 50 ударов кнутом Михаил Желябужский скончался от последствий наказания 15 февраля 1724 года. См.: Там же. Л. 730.

[2] По свидетельству Ф. В. Берхгольца, П. П. Шафирову после снятия с плахи потребовалась медицинская помощь. См.: Берхгольц Ф. В. Указ. соч. С. 21.

[3] РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Кн. 5947. Л. 9.

Что стоит констатировать в заключение? С одной стороны, общая цифра подвергшихся уголовному преследованию сановников — стоит повторить, 31 человек (38% от общей численности тогдашней высшей бюрократии) — вроде бы свидетельствует о наличии у Петра I политической воли к пресечению криминальных тенденций в данном звене госаппарата.

Впрочем, не менее показательна и другая цифра: 16 осужденных, лишь 52% подвергшихся уголовному преследованию «господ вышних командиров» (при 6% доказавших невиновность на предварительном следствии и не учитывая тех, кому смягчили приговор). А это уже свидетельство неустойчивости, переменчивости той самой политической воли. Столь грозный и бескомпромиссный в восприятии современников и особенно потомков царь Петр Алексеевич был в реальности не таким уж беспощадным к лихоимцам и казнокрадам из рядов собственного окружения.

Отмеченная неустойчивость высочайшей воли проявлялась местами удивительно ярко. Так, наряду с хрестоматийно известным попустительством Александру Меншикову Петр I длительно не предпринимал никаких действий в отношении такого глубоко одиозного правительственного деятеля, как Я. Ф. Долгоруков. По данным фискальской службы, князь Яков Долгоруков покровительствовал ряду криминализованных предпринимателей и госслужащих, приложил руку к расхищению выморочного имущества боярина А. С. Шеина, многократно получал взятки.

Предел царскому терпению наступил, казалось, в 1718 году, когда следственная канцелярия генерал-майора И. И. Дмитриева-Мамонова изобличила Якова Федоровича в крупномасштабных финансовых махинациях по «китайскому торгу». По распоряжению Петра I дело сенатора и генерал-пленипотенциара Долгорукова было передано на рассмотрение особого военно-судебного присутствия — Генерального суда. Однако нежданно-негаданно царь оста-

новил судебный процесс[1]. В итоге не пострадавший даже карьерно Яков Федорович отошел во благости в мир иной 20 июня 1720 года и был погребен с наивозможными почестями в присутствии царя в Александро-Невском монастыре.

А вот его пособник в махинациях по «китайскому торгу» Матвей Гагарин обрел иное место упокоения: на другом берегу Невы, прямо на эшафоте. Как известно, тело Гагарина Петр I предписал — для острастки лихоимцев — не снимать с виселицы (25 ноября 1721 года император дополнительно указал перевесить труп казненного на особо изготовленную цепь). Вот только после обрисованных зигзагов высочайшего правосудия вряд ли кто-то из столичных чиновников устрашался при виде качавшегося на ветру тела Матвея Петровича...

Помимо освобождения от всякой ответственности Долгорукова Петр I, случалось, смягчал им же самим утвержденные приговоры. К примеру, осужденные 15 февраля 1723 года по «делу сенаторов» Голицын и Долгоруков были прощены уже четыре дня спустя.

Кого не успел простить Петр I, миловала Екатерина I. Скажем, следствие по «счетному делу» А. Д. Меншикова, начет по которому превысил 1,5 миллиона рублей (около 1/5 тогдашнего госбюджета), было прекращено по особому именному указу от 8 декабря 1725 года[2]. Обрадованный Александр Данилович повелел размножить долгожданный указ типографски и «разослать в колегии и канцелярии и во все городы».

На основании вышеизложенного затруднительно согласиться с мнением весьма уважаемого исследователя о том, что «буквально все «новопризванные» Петром люди были мошенниками и подлецами безот-

---

[1] РГАДА. Ф. 11. № 371. Л. 8 об.; Ф. 248. Кн. 51. Л. 49 – 49 об.

[2] РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 29. Л. 138.

носительно к любому времени»[1]. В самом деле, ведь 51 сановник (62% высших администраторов России первой четверти XVIII века), несмотря на бесперебойную работу вездесущей фискальской службы, никак не соприкоснулись с органами уголовной юстиции.

Выходит, большинство руководящих лиц в тогдашних коридорах власти служило все-таки честно. Даже подозрениями в причастности к криминальным деяниям не запятнали своей репутации в те годы ни генерал-прокурор Павел Ягужинский, ни глава Канцелярии от строений, а затем сибирский губернатор Алексей Черкасский, ни президент Вотчинной коллегии Михаил Сухотин, ни сенатор Василий Долгоруков, ни многие другие «вышние командиры».

И уж совсем напоследок хочется вспомнить линию еще одной судьбы. Находясь под впечатлением от разоблачения «подрядной аферы», Петр I решил поставить сферу подрядных операций (в которой вращались тогда внушительные капиталы) под особый контроль. Для этой цели 15 марта 1715 года была специально образована Подрядная канцелярия, во главе которой царь поставил фронтовика, бывшего командира 3-й роты Преображенского полка капитана Герасима Ивановича Кошелева.

Когда же Подрядная канцелярия вошла в 1718 году в структуру новоучрежденной Камер-коллегии, Герасим Кошелев также перешел в налоговое ведомство. В коллегии он занял поначалу должность советника, а 18 января 1722 года стал ее президентом. На президентском посту Кошелев и встретил 5 августа того же года свою кончину. Что же оставил после себя видный петровский администратор, много лет пробывший в прямом соприкосновении с финансовыми потоками?

Вот что по этому поводу в далеком августе 1722 года написала в челобитной его вдова Анна Тимофеев-

---

[1] Омельченко О. А. Рец. на кн.: Павленко Н. И. Петр Великий. — М., 1990 // Вопросы истории. 1991. № 12. С. 228.

на: *«А у твоих императорского величества дел он, муж мой, был безкорыстен, толко служил Вашему величеству с одного жалованья... А по смерти, государь, ево денег осталось два рубли семь алтын. И мне, рабе Вашей, тело мужа моего погребсти было нечем»*[1]. Главу налоговой службы империи схоронили, в конце концов, на средства генерал-прокурора П. И. Ягужинского да генерал-майора А. И. Ушакова. Это — тоже грань той эпохи.

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 57. Л. 240.

Насильственное пострижение в монахи

Лоренц Эррен

Тема данной статьи — насильственное пострижение как часть политической культуры России.

В самодержавном государстве, в котором не существовали конституция и сословные учреждения, лишь христианские заповеди, а точнее, установки церковного права могли ограничивать свободу действия правителя. Неудивительно, что именно семейное право имело ключевое значение. Человеку, состоявшему в браке, дозволялось при желании уйти в монастырь, а оставшийся в мире партнер мог получить разрешение на новый брак. Таким образом, пострижение в монахи становилось средством для решения как династических, так и прочих политических конфликтов[1]. Поскольку пострижение было пожизненным и необратимым, оно считалось более надежным заключением, нежели тюремное. Сегодня мы бы назвали это «моральным пленом», современники же говорили о «светской смерти». Тем не менее в Византии отмечено несколько случаев, когда пострижения признавались недействительными[2].

---

[1] См.: Соколов И. И. Византологическая традиция в Санкт-Петербургской духовной академии. Печалование патриархов перед василевсами в Византии IX – XV вв. Патриарший суд над убийцами в Византии X – XV вв. О поводах к разводу в Византии IX – XV вв. — СПб., 2005. С. 111 – 309; Boškovska Nada. Die russische Frau im 17. Jahrhundert. Köln 1998. C. 77 – 97; Dombois Hans. Kirche und Eherecht. Stuttgart 1974. C. 197 – 213.

[2] См.: Соколов И. И. Указ. соч. С. 207 – 208.

Российская церковь регулярно пользовалась «расстрижением». Но такое «расстрижение» считалось карательным мероприятием и не давало расстриге возможность вернуться в мирскую жизнь. Церковный собор 1667 года, например, постановил всех монахов, которые оказались сбежавшими крепостными, расстригать и отправлять назад к их владельцам[1].

Хочу напомнить, что по византийскому церковному праву, которое и в России считалось действующим, вступление в монашество предполагало добровольное решение послушника. Для того чтобы исключить насильственное пострижение, устанавливался испытательный срок; во время обряда послушнику требовалось произнести обет и подтвердить, что он отказывается от мира по доброй воле. Наконец, священник должен был получить ножницы из рук послушника трижды — первые два раза он их отдавал обратно и только в третий раз совершал ими постриг.

Но все эти установки не могли препятствовать насильственному пострижению.

В начале XVI века насильственное пострижение воспринималось как одна из форм помилования в ходе судебного разбирательства. В XVI–XVII веках эта практика использовалась не только в политических, но и в уголовных делах. Насильственно постриженные — как и бродячее монашество вообще — не без основания ассоциировались с криминальным миром[2].

Современники считали пострижение льготным наказанием уже потому, что оно не мешало спасению души, особенно по сравнению с более распространенной практикой отлучения от святых таинств. Че-

---

[1] ПСЗ. Т. 1. № 412. С. 704.

[2] Разбойники иногда и добровольно принимали постриг. В других случаях насильно постриженные начали разбойную жизнь уже в монашестве. См.: Аристов Н. Я. Невольное и неохотное пострижение в монашество у наших предков (до начала XVII столетия) // Древняя и новая Россия. 1878. № 8. С. 297, 304.

ловек, ставший монахом не по своей воле, мог хотя бы рассчитывать на христианское погребение[1].

Но известны случаи насильственного пострижения, не связанные с судебным разбирательством. Самый знаменитый пример — Соломония Сабурова. Великий князь Василий Иванович развелся с бездетной супругой в 1525 году и отправил ее в монастырь, чтобы вторично вступить в брак. С трудом верится, что такое в Московии случилось впервые. Но современники восприняли этот случай как некий прецедент. В столичных хрониках пострижение Соломонии описывалось как добровольное, таким образом, подчеркивалась легитимность развода и второго брака Василия[2]. Сигизмунд фон Герберштейн пишет об обратном: *«В монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский кукуль, но она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами. Возмущенный этим недостойным поступком, Иоанн Шигон, один из первых советников, не только выразил ей резкое порицание, но и ударил ее плеткой, прибавив: «Неужели ты дерзаешь противиться воле государя? Неужели медлишь исполнить его веление?» Тогда Саломея спросила его, по чьему приказу он бьет ее. Тот ответил: «По приказу государя»*[3].

Совершенно очевидно: Соломонию насильственно постригают по приказу правителя. Описывается и процедура, которая в течение 200 лет, до середины XVIII века, почти не изменится: самодержец отдает

---

[1] Об особенном значении этого обстоятельства см.: Булычев А. А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. — М., 2005.

[2] Thyret, Isolde. Between God and Tsar. Religious Symbolism and the Royal Women of Muscovite Russia. DeKalb. 2001. С. 26—37.

[3] Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. — М., 1988. С. 87—88.

приказ духовному человеку постричь определенное лицо. Приказ в устном или письменном виде передается через уполномоченного чиновника (в данном случае — через Ивана Шигону), который должен присутствовать при пострижении, а потом доложить правителю об его исполнении. Чаще всего к насильственному пострижению прибегали Иван Грозный и Борис Годунов.

Порой подданные Московии сами били челом, чтобы великий князь постриг то или иное лицо насильственно. Важным примером этого служит челобитная 1585 года, в которой партия Шуйских просила царя Федора Ивановича развестись с Ириной Годуновой и отправить ее в монастырь. Ходатайство поддержал и московский митрополит Дионисий[1].

Царские приказы придавали насильственным пострижениям легитимность, как, впрочем, и всем другим карательным мероприятиям. В 1682 году мятежные стрельцы заставили боярина Кирилла Полуэктовича Нарышкина (деда царя Петра) принять постриг. При этом они предусмотрительно требовали приказа, подписанного юным царем[2].

Интересное исключение — пострижение свергнутого царя Василия Шуйского, которое произошло без приказа, под давлением агрессивно настроенной толпы. Когда Шуйский не захотел произносить слова обета, нужные ответы за него дали другие.

В общественном сознании, по крайней мере до середины XVIII века, сохранилось представление, что великий князь или царь в праве отдать приказ о насильственном пострижении именно в том и только в том случае, когда жертва в чем-то провинилась и заслуживала более сурового наказания. Тогда это мероприятие по-прежнему воспринимали как форму помилования, сокращенный вариант процедуры, ко-

[1] Скрынников Р. Г. Борис Годунов. — М., 1983. С. 33.

[2] Восстание в Москве 1682 года. Сборник документов / Буганов В.И. (отв. ред.). — М., 1976. С. 278.

торая раньше состояла из нескольких этапов — приговор, раскаяние, помилование при условии пострижения. Вопрос, был ли человек пострижен насильственно и за какую вину, часто становился предметом обсуждений, как, например, в случае с самозванцем Григорием Отрепьевым. Сначала правительство Бориса Годунова утверждало, что Отрепьев был пострижен насильственно за уголовное преступление, якобы совершенное им в доме Романовых[1]. Акцент делался на то, что насильственно постриженные были ворами и преступниками, а не жертвами противозаконной практики.

Похожие представления существовали и в начале XVIII века. Когда царь Петр отправил свою жену Евдокию в монастырь, он стремился создать видимость добровольного пострижения. Евдокия была отправлена в Суздаль осенью 1698 года, а пострижена — только следующим летом, как будто она сама решилась на это по истечении испытательного срока, «искуса». В конце июня 1699 года Петр послал архимандриту следующий приказ: *«Как к вам ся наша грамота придет, и окольничий наш Семен Языков для каких наших дел к вам в монастырь кого пришлет, и вы бы ему, окольничему нашему, во всем были послушны»*[2]. Любопытно, что в приказе отсутствует слово «пострижение». Н. Я. Аристов, опубликовавший 130 лет назад серьезное исследование о пострижении в монахи, заметил, что и в других петровских приказах о насильственных постриженях это слово не упоминается. Эту тенденцию приписывали влиянию «малороссов», которые таким образом «прикрывали грубые действия приказной ложью»[3].

---

[1] Ульяновский В. И. Смутное время. — М., 2005. С. 282; Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. — Новосибирск, 1987. С. 17 – 24.

[2] Семевский М. И. Авдотья Федоровна Лопухина // Русский вестник. Т. 9. 1859. С. 227.

[3] Аристов называл имя Феодосия Яновского. Указ. соч. № 9. С. 8.

То, что речь в этом указе шла именно о пострижении Евдокии, известно из материалов «Дела Алексея Петровича» и связанного с ним «Суздальского дела». Тогда, в 1718 году, в Москве стало известно, что Евдокия уже давно ходила в мирском платье и по-прежнему называла себя «царицей». Уполномоченный Петром капитан Преображенского полка Г. Г. Скорняков-Писарев начал расследование дела Евдокии с того, что с помощью допросов очевидцев-свидетелей установил факт пострижения в монахини.

Из письма Евдокии Петру, как и из других источников, явствовало, что она действительно была пострижена в присутствии упомянутого в приказе окольничего Языкова[1]. В манифесте 5 марта 1718 года, который обнародовал итоги следствия, написано: «Понеже всем известно, как духовным, так и мирским особам, как в 207 году бывшая Царица Евдокия в Суздаль, в Покровско-девичий монастырь *для некоторых своих противностей и подозрений* постриглась, и наречено имя ей Елена»[2].

Слова *«для некоторых своих противностей и подозрений»* Петр собственноручно вписал в черновик, но в печатном варианте они отсутствуют[3]. Похоже, что официальная пропаганда колебалась, стоит ли задним числом выдавать пострижение Евдокии за наказание. Очевидно, Петр не хотел упустить шанса морально дискредитировать Евдокию. С другой стороны, возможно, уже тогда возникли некоторые сомнения относительно того, может ли просвещенный монарх торжественно признаваться в том, что он насильственно постриг свою жену.

Аналогичная ситуация с планируемым пострижением царевича Алексея. Когда Петр поставил его

---

[1] Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 6. — М., 1859. С. 204 – 225.

[2] Семевский М. И. Указ. соч. С. 240.

[3] Там же.

перед выбором — изменить свое поведение либо принять постриг, — тот выбирал последнее. Товарищ царевича Никифор Вяземский советовал ему заранее осведомить своего духовника, а также митрополита Стефана Яворского обо всех обстоятельствах, «чтобы не думали, что ты за какую вину пострижен»[1]. В своих письмах к Сенату и киевскому митрополиту Алексей оправдывал свой побег прежде всего тем, что Петр хотел его насильственно постричь «без всякой вины»[2]. Ведь осуждалось только пострижение «невиновного».

Если в Московии насильственно постриженные ассоциировались чуть ли не с воровским миром, то к невинно постриженным часто относились с сочувствием. В «Новом летописце», выходившем под надзором патриарха Филарета, говорилось: «Он же, государь [Федор Никитич], неволей был пострижен, но волей и с радостью великой и чистым сердцем ангельский образ воспринял и жил в посте и в молитве»[3]. Такого поведения он ожидал и от других.

В исследованной литературе мне не встретился ни один случай до 1741 года, когда насильственное пострижение впоследствии было бы признано незаконным и, соответственно, аннулировано. Еще Аристов объяснял это тем, что в Древней Руси преобладало «языческое», или магическое, суеверное отношение к христианским таинствам, что выражалось, например, в посмертных крещениях, посмертных пострижениях или в представлении о том, что каждый, кто случайно или недобровольно надел на себя монашеское платье, был обязан постричься в монахи[4].

---

[1] Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 156.

[2] Там же. С. 380 – 381.

[3] Новый летописец / Хроники смутного времени. — М., 1998. С. 289 – 290.

[4] Аристов Н. Я. Указ. соч. № 5. С. 73; Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. — Л., 1984.

Андрей Курбский также не оспаривал многочисленные насильственные пострижения при Иване Грозном. Он интерпретировал их как кощунственное злоупотребление священными обрядами, святотатство[1].

Когда поляки разрешили плененному царю Василию Шуйскому (или монаху Варлааму) снять монашеское платье и надеть светское, митрополит Филарет активно протестовал. Польский гетман Станислав Жолкевский старался оправдаться следующим образом: «Слышит он его негодование, что бывшего царя Василия ... одел ... в светское платье; одел его по-светски потому, что Василий сам не хотел быть монахом, постригли его неволею, а невольное пострижение «противно и вашим, и нашим церковным уставам», это и патриарх утверждает». Но Филарет настаивал: «Надобно бояться Бога; расстригать Василия не пригоже, чтобы нашей Православной вере порухи не было»[2]. Жолкевский ссылался на патриарха Гермогена, который, как известно, не сразу согласился с пострижением Шуйского. «Новый летописец» сообщает, что Гермоген признавал монахом не Шуйского, а князя Василия Тюфякина, который произнес слова обета за Шуйского[3].

Если прав Борис Успенский, можно интерпретировать позицию Гермогена иначе, чем это делал Жолкевский. Решающим фактором для патриарха было не применение насилия, а вопрос о том, кто действительно произнес слова обета[4].

---

[1] Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский. Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. — СПб., 2007. С. 274–275.

[2] Цветаев Д. В. Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше 1610–1611 гг. Т. I. — М., 1910. С. 34.

[3] Новый летописец // Указ. соч. С. 345.

[4] Успенский Б. А. Царь и патриарх. Харизма и власть в России (византийская модель и ее переосмысление в России. — М., 1998.

Сами жертвы насильственного пострижения со спокойной совестью при первой же возможности снимали с себя монашеское платье. Так поступил и Шуйский, и дед Петра К. П. Нарышкин, который вскоре после этого возвратился в Москву и был там погребен в 1691 году под именем боярина Кирилла, а не монаха Киприана[1]. В 1718 году князь Александр Кикин советовал царевичу Алексею идти в монастырь, обосновывая это следующим образом: *«Клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять — теперь так хорошо, а впредь что будет — кто ведает?»*[2]

Те, кто в силу обстоятельств должны были оставаться в монастыре, вовсе не вели там монашескую жизнь. И это относится не только к Евдокие Лопухиной, которая ходила там в мирском платье, вступила в любовную связь с офицером и требовала обращаться с ней, как с царицей, но и к монаху Филарету — будущему патриарху.

Более вероятно, что Филарет своей жесткой позицией хотел прежде всего защитить монополию церкви, которая была настоящей политической властью на принятие решений в этих вопросах. Он исходил из того, что признание пострижения Шуйского недействительным может сильнее повредить престижу церкви, чем практика насильственного пострижения сама по себе. Я вижу в этом церковный аналог армейской «чести мундира».

Мои рассуждения можно резюмировать в следующих тезисах:

— Насильственное пострижение в первое время распространилось как форма помилования. Моральный протест возникал только тогда, когда постриженным оказывался невиновный — так продолжали считать до середины XVIII века.

---

[1] Аристов Н. Я. Указ. соч. № 9. С. 5 (MERSH sagt, er sei dort bis zum Tod geblieben; T. 24, S. 72).

[2] Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 349 – 350, 446 – 448.

— Насильственно постриженных в России часто окружали ореолом святости.

— Русская церковь, в отличие от западной, упорно отказывалась ставить под сомнение действенность насильственного пострижения.

— При насильственном пострижении светская власть и церковь действовали совместно.

Думается, исследование этой проблемы следует продолжить, чтобы лучше понимать политические события того времени. До сих пор остаются открытыми вопросы, почему в одних случаях насильственное пострижение применялось, а в других — нет (приведу некоторых персонажей истории, которые должны были быть пострижены, но этого с ними не произошло: братья Филарета, несчастная невеста Михаила Федоровича, скомпрометированная делом Алексея Петровича царевна Мария Алексеевна, так же как и невеста Петра II Екатерина Долгорукова). Каким образом и по каким причинам принимались такие решения? И, наконец, почему эта практика перестала существовать?

Монастырские тюрьмы — увещание и исправление

Дмитрий Фост

Монастырские тюрьмы... Не было на святой Руси наказания более тяжкого для православного человека, чем заточение в божьей обители. В Никоновской летописи упоминается, что еще в начале XI века еретики заключались в погреба архиерейских домов. В XVII – XVIII веках после реформ патриарха Никона монастырское заключение переживало пик своего развития. Немало людей, обвиненных в антицерковных и политических выступлениях, содержалось в монастырских казематах и в XIX веке.

По поручению Синода петербургский митрополит Гавриил представил в Уложенную комиссию 1767 года свои соображения о том, как бороться с церковными противниками. Он предложил виновных смирять прежде всего публично — одевать в позорную одежду и выставлять как преступников на всеобщее осмеяние. Затем им следовало дать 30 ударов струнными «кошками» о двенадцати хвостах, выжечь каленым железом клеймо — буквы ЗБХ (злобный богохульник) — и сослать навечно в каторгу, где использовать на самых тяжелых работах «вместо скотов». Жестокость этого наказания митрополит Гавриил объяснил тем, что отступление от православной церкви, безверие и богоотступничество являются заразой для государства. Предложения митрополита-изувера, предварительно одобренные Синодом, нашли широкое применение.

В монастырских тюрьмах режим был более суровый, чем в каторжных. Роль тюремщиков выполня-

ли сами монахи, а комендантом монастырской тюрьмы был архимандрит, обладавший неограниченной властью. Узники часто были закованы в ручные и ножные кандалы, прикованы к стене или к деревянной громадной колоде, подвергались «смирению по монастырскому обычаю».

Инквизиционное хозяйство монастырей было самое разнообразное: оковы большие и малые, ручные и ножные, рогатки, кнут, ременные плети, шелепы (расширявшиеся на конце лопатообразные дубинки), батоги. Все это приобреталось на церковные деньги и хранилось в консисторских и монастырских тюрьмах. Неотъемлемой принадлежностью всех судебных дел, которые вели духовные власти, были цепи. Выражения «посадить на большую цепь», «содержать в цепи» встречаются во многих источниках.

Беспокойным узникам, нарушавшим суровые монастырские правила, «жандармы во Христе» вкладывали в рот кляп, который вынимали только при принятии пищи. В 1728 году в Сретенский монастырь был послан иностранец Яков Иванов, незадолго до того принявший православие. Он обвинялся в том, что произносил «сумасбродные слова». «...А если оный колодник станет произносить важные и непристойные слова, то класть ему в рот кляп и вынимать, когда пища будет дана, а что произнесет в то время, то все записывать и, содержа секретно, писать о том в Тайную канцелярию».

В монастырских застенках «для познания истины» нередко пытали заключенных. Епископ Георгий Конисский так описывал практиковавшиеся в конце XVII века казни и пытки: «Казни сии были — колесовать, четвертовать и на кол сажать, а самая легчайшая — вешать и головы рубить. Вины их изыскивались от признания их самих, к тому надежным средством служило препохвальное тогда таинство — пытка, которой догмат и поныне известен из сей пословицы русской *«кнут не ангел, души не вынет, а правду*

скажет» и которая производилась со всей аккуратностью и по указанию Соборного уложения, сиречь степенями и по порядку, батожьем, кнутом и шиною, то есть разожженным железом, водимым с тихостью или медлительностью по телам человеческим, которые от того кипели, шкварились и вздымались. Прошедший одно испытание поступал во второе, а кто не выйдет живым, тот считался за верное виновным»[1].

Самыми страшными из монастырских застенков были земляные тюрьмы — глубокие ямы, в которые опускались деревянные срубы. Поверх земли делалась кровля с небольшим оконцем для передачи пищи. В этот темный, сырой погреб опускали узника, часто скованного по рукам и ногам. В такой земляной тюрьме томился протопоп Аввакум. «Еретики-собаки, — говорил он, — как-то их дьявол научил: жива человека закопать в землю». На него надели еще «цепь со стулом», которые он носил в течение всего заключения в монастырской тюрьме.

Узников помещали и в особые каменные мешки — узкие каменные шкафы, возведенные в несколько этажей внутри монастырских башен. В них не было ни окон, ни дверей, оставлялось лишь небольшое отверстие для передачи узнику пищи и воды.

Каменные мешки в монастырских башнях и стенах Вологодского Прилуцкого монастыря имели форму усеченного конуса длиной около 3 м, шириной и высотой по 2 м, в узком конце — 1 м. В верхних этажах Головленковской башни Соловецкого монастыря каменные мешки были еще теснее: 1,4 м в длину, метр в ширину и высоту. В таком мешке нельзя было лежать, узник спал в полусогнутом состоянии. Сюда заключали узников «безысходно», то есть на всю жизнь.

Помещая свои жертвы в эти страшные тюрьмы, синодальные инквизиторы обычно писали: «Посадить его (заключенного. — *Д. Ф.*) в Головленковскую тюрь-

[1] Русский архив. 1867. С. 1139—1155.

му вечно и пребывати ему в некоей келии молчательной во все дни живота и никого к нему не допускать, ниже его не выпускать никуда же, но точно затворену и зоточену быть, в молчании каяться о прелести живота своего и питаему быть хлебом слезным».

Тюрьма Соловецкого монастыря постоянно расширялась. В 1798 году под нее было приспособлено выстроенное ранее здание, а в 1842-м для узников построили специальное трехэтажное здание и казармы для тюремной охраны. В новой тюрьме в полуподземном нижнем этаже были небольшие чуланы, без лавок и окон, куда помещали особо важных преступников. Так что Соловецкий монастырь стал тюрьмой задолго до 1917 года.

В одиночных казематах-каютах, в «заклепных железах» несчастные узники часто сходили с ума. В 1770 году в такой «каюте» сибирского Селенгинского Троицкого монастыря был обнаружен подпоручик Сибирского пехотного полка Родион Колев. Он просидел в ней в кандалах 25 лет и сошел с ума.

Каменные каюты были также в Спасо-Каменском монастыре Вологодской губернии, в Николаевском Корельском, Якутском и других монастырях. В XVII веке в Якутский монастырь сослали Максима Малыгина по обвинению в «тайном богомерзком общении с нечистой силой». Его посадили навечно в темную каюту на цепь. Тюремщики не давали ему воды, так как боялись, что он, будучи чародеем, уйдет из тюрьмы через воду. В каменный мешок Макарьево-Унженского монастыря Костромской губернии был заточен в 1757 году основатель религиозной секты Тихон Смурыгин. По предписанию Синода его заковали и вели за ним «наикрепчайшее смотрение о неимении им прежнего злого действия».

Среди монастырских тюрем первое место занимала тюрьма при Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, основанном около 1350 года. Она существовала с 1766 года и все время расширялась. В 1824 го-

ду под тюрьму было переделано старое помещение духовной семинарии, находившееся за крепкими монастырскими стенами. В 1889-м к тюрьме присоединили каменный флигель на 22 одиночные камеры. Тюремные помещения имелись в Антониево-Сийском монастыре на Северной Двине, Новгород-Северском, Кирилло-Белозерском и других...

Кого же и за какие «вины» туда заключали? Ответ на этот вопрос дают секретные донесения монастырских тюремщиков. На первом месте были лица, выступавшие против господствующей православной церкви в вопросах веры, за свободу совести, старообрядцы и сектанты, отступившие от православной церкви.

Кирилло-Белозерский монастырь с момента своего основания в 1397 году известен как место ссылки и заключения опальных бояр и церковников. Здесь в XVI – XVII веках побывали князья Воротынские, Шереметевы, Черкасские, советник Ивана IV Сильвестр, князь Шуйский, митрополит Иосиф, патриарх Никон. В монастыре около Косой башни была и особая тюрьма, в которую помещали за «слова и дела против царя», за «сумасбродство», раскол и сектантство. В 1720 году за «непристойные слова» в нее попал Иван Губский (он назвал Святейшего Патриарха «козлищем трухлявым»). Его велели содержать в кандалах и использовать на монастырской работе «до скончания века». В 1856 году в этой тюрьме сидел лодзинский учитель Миневич, осужденный в 1839 году за «возмущение крестьян против правительства».

В петербургский Александро-Невский монастырь помещали особо важных раскольников, захваченных церковными следователями и доказчиками в разных местах. Следствие над ними вели синодальные инквизиторы. Отсюда узники часто попадали в Тайную канцелярию для «дознания истины», то есть для пыток.

Женщин держали в тюрьмах таких монастырей, как Суздальский Покровский, Далматовский, Кашинский, Иркутский, Рождественский... Особое здание для «колодников» было выстроено в 1768 году при Московском Сретенском монастыре. Специальные помещения для узников имели и архиерейские дома. Например, в Коломенском епископском доме, как рассказывает Павел Алепский, была большая тюрьма с железными колодками для преступников. По условиям заключения она не уступала Соловецкой. Узников держали также в подвалах московских Успенского и Преображенского соборов.

В монастырскую тюрьму попадали и такие лица, как новгородский архиепископ и первый вице-президент Синода Феодосий Яновский — соперник и враг всесильного архиепископа Феофана Прокоповича. Феодосий Яновский боролся против ограничения церковной власти и подчинения ее государству, против попыток отобрать у церкви ее имения. 12 мая 1725 года с него сняли архиепископский сан и вместо смертной казни сослали в Николаевский Корельский монастырь. Здесь его поместили в каменную тюрьму под церковью, в которой предварительно был снят деревянный пол и разрушена печь. Камеру запечатали особой печатью, узника стали называть «запечатанным старцем». Пищей ему служили хлеб и вода. Феодосий не выдержал тяжести заключения и вскоре умер.

Узников подвергали наказанию на особом лобном месте, существовавшем во многих монастырях. Характер наказания зависел от усмотрения архимандрита. Виды монастырского «смирения» перечислены в одной сатирической челобитной XVII века, имевшей широкое хождение в рукописных списках: «А в Калягине обитель не малая, казна большая, после мору старых лет в запасе осталось, в хлебне по подлавичью стулья да цепи валяются, в мукосейке по спицам шелепы да плети висят, в караульне по подлавичью сно-

пы батогов лежат, а у нас, богомольцев твоих, от того страху они не видят, а у малодушных за плечами кожа вертится, от того и ночью не спится»[1].

Пытки производились не только по усмотрению архимандрита, но и по настоянию епископов, которым подчинялись монастырские тюремщики. Чаще всего пытали поднятием на дыбу. Как описывал историк М. Снегирев, «поднятому на дыбу привязывали к ногам тяжелые колодки, на кои ставши палач подпрыгивал и тем самым увеличивал мучение: кости, выходя из суставов своих, хрустели, ломались, иногда кожа лопалась, жилы вытягивались, рвались и тем причинялись несносные мучения. В таком положении били кнутом по обнаженной спине так, что кожа лоскутьями летела»[2].

Впрочем, осуждать одних только монастырских тюремщиков за их жестокость нельзя — этого требовали от них и Синод, и правительство. Инструкции Синода, на основании которых заключались в монастырские тюрьмы узники, были очень суровы. В них указывалось, в каких тюремных помещениях следовало держать заключенных, какой должен быть для них режим, какие меры следовало применять к тем, кто начнет «сумасбродничать», — одиночное заключение, карцер, лишение пищи, телесное наказание.

В 1554 году в Соловецкую тюрьму были брошены участники антицерковного движения, возглавлявшегося Матвеем Башкиным. Церковный собор приговорил Башкина к сожжению, а его соучастников к заточению в «молчательные кельи» с «великой крепостью». С 1701 года в Головленковской башне того же монастыря томились единомышленники Григория Талицкого — тамбовский епископ Игнатий, священник Иванов и др. Сам Талицкий был «сожжен копчением». В 1744 году в Соловецкую тюрьму попал Афа-

[1] Русский архив. Кн. II. 1873. С. 1780.

[2] Там же. С. 1160.

насий Белокопытов, обвиненный в «непокорстве» православной церкви. Вначале его приговорили к смертной казни, которую заменили «неисходным до смерти содержанием» в «самом крепком каземате» с оковами на руках и ногах.

В 1786 году среди узников Соловецкой тюрьмы были Павел Федоров и Александр Михайлов. Вина их заключалась в том, что, поддавшись на уговоры священников, они приняли православие (первый был еврей, второй — мусульманин). Опасаясь, как бы новообращенные не вернулись к вере своих отцов, Синод распорядился заключить их до самой смерти в монастырскую тюрьму.

В 1825 году учителя Новоторжского училища Василия Воскресенского обвинили в богохульстве. Его подвергли жестокому наказанию кнутом, а затем заключили «навечно» в Соловецкую тюрьму. В 1851-м сюда же сослали придворного певчего Александра Орловского, обвиненного в атеизме. Среди узников Соловецкой тюрьмы было немало раскольников, отступивших от православной церкви, молившихся по старым книгам и придерживавшихся старых обрядов. Самодержавие и церковь видели в них государственных преступников и поэтому жестоко расправлялись. В 1821 году в Соловецкую тюрьму на 15 лет был заключен солдат Иван Кузнецов за пропаганду раскола среди солдат. В 1857-м за «противозаконные по расколу проступки» в тюрьму попал самарский мещанин Лазарь Шепелев. Он не выдержал сурового режима и вскоре умер. В 1860 году там оказался основатель секты прыгунов Максим Рудометкин. В одиночном суровом заключении он пробыл 17 лет, до смерти. В 1835 году правительство назначило ревизию этой тюрьмы, так как в обществе много говорили о бесчеловечных условиях содержания в ней узников. Проводивший ревизию жандармский полковник Озерецковский был вынужден признать, что узники несли наказание, «значительно превышавшее их вины».

В монастырских тюрьмах было много заключенных — участников народных восстаний. Дела о них рассматривались в Преображенском приказе и Тайной канцелярии, в монастырские тюрьмы они попадали по согласованию с Синодом.

В 1670 году в тюрьму Тихвинского женского монастыря попала активная участница разинского восстания Степанида, стоявшая во главе отряда слободских украинцев. Ближайшие соратники Емельяна Пугачева — Чика и Губанов — после разгрома крестьянского восстания были посажены в застенок при Казанском соборе в Уфе, а крепостной крестьянин Василий Журавлев, поддерживавший во время восстания связь с уральскими казаками, — в тюрьму Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.

После подавления восстания Пугачева появился новый самозванец Осип Журыгин, выдававший себя за сына Екатерины II. Его бросили в тюрьму Спасо-Евфимиева монастыря. В Соловецкой тюрьме закончил свою жизнь другой самозванец, Тимофей Курдинов, называвший себя принцем Иоанном и пытавшийся вызвать народное возмущение.

И в XIX веке в монастырские тюрьмы попадали участники антиправительственных восстаний и движений. В Соловецкую тюрьму из Красноярска был переведен декабрист Ф. П. Шаховской, после того как он заболел там психическим расстройством. Сюда же были посажены участники тайного общества, студенты московского университета Николай Попов и Михаил Критский, сочувствовавшие декабристам. В 1850 году здесь оказался студент Георгий Андрузкий «за вредный образ мыслей и злонамеренные сочинения».

Срок, на который помещали узников в монастырские тюрьмы, как правило, не уточнялся. В приговорах и указах обычно встречаются выражения «безысходно, навсегда». Фактическое заключение можно подсчитать по сохранившимся спискам узников. На-

пример, за период с 1772 по 1835 год в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре перебывало 102 человека. К моменту составления сведений (1836 год) умерло 29 человек, до 5 лет просидело 46 человек, от 5 до 25 лет — 32. Крестьянин Калужской губернии Степан Сергеев находился в монастырской тюрьме 25 лет, а крестьянин Вятской губернии Семен Шубин — 43 года. Вина этих узников заключалась в том, что они отступили от православия и перешли в раскол. Освобождение узников зависело от отзыва монастырского начальства. Но отзывы эти редко были положительными. Обычно монастырские тюремщики давали такие характеристики об узниках: «Не может быть освобожден без явной опасности для общественного порядка», «Заключение полезно, доколе не придет в чувство христианского самосознания в преступлениях». В тюрьме Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале в течение 35 лет содержался раскольник Семен Мошонов, мелкий чиновник из Павлова Нижегородской губернии. Когда его, наконец, решили освободить, архимандрит Пафнутий написал в своем заключении следующее: «В народе, не имеющем здравого смысла, этот человек может поселить совершенное отчаяние и уныние». И Мошонов остался в монастырской тюрьме[1].

С особой страстью церковь боролась с ведовством, чародейством и волхвованием. Еще в 1024 году в суздальской земле были схвачены волхвы и «лихие бабы» и преданы смерти через сожжение. Их обвинили в том, что они — виновники постигшего суздальскую землю неурожая. В 1071 году в Новгороде казнили волхвов за публичное порицание христианской веры. Так же поступили и ростовцы в 1091 году. В Новгороде после допросов и пыток в 1227 году сожгли четырех «волшебников». Казнь происходила на архиерейском дворе по настоянию новгородско-

[1] Древняя и новая Россия. Кн. 8. 1878. С. 313.

го архиепископа Антония. В поучении неизвестного автора «Како жити христианам» гражданские власти призывались выслеживать чародеев и колдунов и предавать их «всеконечным мукам», то есть смерти под опасением церковного проклятия. «Нельзя щадить тех, кто творил зло перед богом», — убеждал автор поучения, доказывая, что видевшие казнь «бога убоятся». В 1555 году власти Троице-Сергиевского монастыря специальным указом запрещали держать в монастырских вотчинах «волхвей» и «баб-ворожей». Обнаруженных волхвов и ворожей предписывалось «бив да ограбив да выбити из волости вон», то есть изгнать. С крестьян, допустивших общение с ворожеями, брали десятирублевый штраф.

На знахарей, лечивших народными средствами, церковь смотрела как на посредников дьявола, пособников сатаны. В «Повести о волхвовании», появившейся под влиянием церковного взгляда на ведьм и чародеев, их предлагалось «огнем жечи». Наряду с этим народ воспитывался в духе непримиримой вражды к медицине. Проповедуя, что болезни посылаются богом за грехи людей, церковь требовала, чтобы народ искал исцеления в молитвах, испрашивая «божьей милости» в «чудотворных» местах.

В 1647 году при царе Алексее Михайловиче в Шацке по навету церковных «доказчиков» чародеями объявили женку Агафьицу и крестьянина Терешку. По указу царя несчастных вывели на площадь, где сказали об их «богомерзком деле», затем посадили в сруб, обложили соломой и сожгли. В том же году за чародейство в Кирилло-Белозерский монастырь сослали крестьянина Михаила Иванова: он-де «наговорами» испортил невесту царя Евфимию Всеволжскую. В 1649 году в чародействе обвинили женку Анюту и «якого-то мордвина. Их трижды пытали и жгли огнем так, что поломали им ребра и сожгли ноги, потом бросили в тюрьму, где они умерли от голода».

Обвинения в чародействе обычно начинались по инициативе духовных властей и разбирались предварительно в церковном суде. Затем следственные материалы передавались светскому суду, который и приговаривал обвиняемых к тяжким наказаниям. В 1699 году в Москве велось следствие по обвинению в колдовстве аптекарского ученика Маркова. В 1720 году на Волыни в чародействе обвинили крестьянку Проську Каплунку. Ее посадили в яму, засыпали землей до плеч, сверху набросали хворосту и сожгли. Место казни после сожжения привалили большим камнем.

Для обвинения в сношениях с дьяволом возраст обвиняемых не имел значения — привлекали и очень старых, и очень молодых. В 1737 году 12-летнюю дворовую Ирину Иванову заподозрили в сношениях с дьяволом. Ее обвинили в том, что в «ее утробе было дьявольское наваждение, говорившее человеческим языком». Несчастную девочку заключили в Томский монастырь, били кнутом и, вырезав ноздри, сослали в далекий охотский острог под постоянный надзор местного духовенства. В темной «каюте» Якутского монастыря сидел на цепи 16-летний Максим Малыгин за «тайное и богомерзкое общение с нечистой силой». Монастырские тюремщики лишили заключенного воды, так как считали, что он, водясь с дьяволом, может легко уйти в воду, несмотря на цепи и строгую охрану. Он умер на пятый день заключения...

«Дело фискалов» (1722–1724 годы) — забытая страница уголовной юстиции России

Дмитрий Серов

21 марта 1722 года в генерал-прокурорскую «кантору» Сената поступило ординарное послание из императорского Кабинета. В отправленном накануне из подмосковного села Преображенского послании содержалось высочайшее поручение генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому осуществить разбирательство обвинений, выдвинутых против провинциал-фискала С. Ф. Попцова посадским человеком из города Ярославля[1]. Звали посадского человека очень характерно: Иван Сутягин.

Жизненные пути Ивана Ивановича Сутягина и Саввы Федоровича Попцова пересеклись на исходе 1716 года. Именно тогда преуспевавший ярославский предприниматель Сутягин столкнулся с негаданными затруднениями по коммерческой части: местные бурмистры никак не отдавали Ивану Ивановичу и его компаньону Матвею Меденкину на откуп два перевоза через Волгу.

Не желая отказываться от прибыльной затеи, Сутягин обратился к провинциал-фискалу Савве Попцову, чтобы тот походатайствовал перед бурмистрами о «безволокитном» решении вопроса. Обращение Ивана Ивановича к Савве Федоровичу было неслучайным. Возглавлявший ярославское территориальное подразделение фискальской службы (основанного в 1711 году органа надзора и уголовного пре-

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 2–2 об.

следования) Попцов располагал значительным, как сейчас говорят, «административным ресурсом».

К Попцову Сутягин пришел, разумеется, не с пустыми руками. За соответствующие хлопоты провинциал-фискалу предполагалось немалое вознаграждение. Но Иван Иванович и помыслить не мог, с каким алчным и беспринципным дельцом он столкнулся в лице Саввы Федоровича.

Провинциал-фискал взял с Ивана Ивановича за посредничество внушительную сумму в 100 рублей, 50-рублевые часы да еще на 15 рублей жемчуга, но ничего не предпринял в его пользу — перевозы Сутягину не достались. Вполне естественные попытки разочарованного Ивана Ивановича вернуть деньги к успеху не привели. Более того, в ответ на очередное напоминание о неотработанной «благодарности» Савва Федорович крепко поколотил докучливого посадского. Впрочем, этого провинциал-фискалу показалось мало.

Воспользовавшись служебным положением, он, выражаясь современным языком, организовал «наезд» на Сутягина. Посланные Саввой Федоровичем солдаты устроили в доме Ивана Ивановича настоящий погром, а его самого засадили в ратушскую тюрьму. Недрогнувший Иван Иванович, находясь под стражей, сумел составить исковую челобитную и передать ее на волю. Но, когда его приемный сын Дмитрий направился с челобитной в ландратскую канцелярию, был схвачен подручными Саввы Попцова и посажен на цепь в фискальской съезжей избе.

Однако запугать Ивана Ивановича не удалось. Едва освободившись из тюрьмы, он двинулся в Санкт-Петербург, где в конце июля 1718 года подал в Правительствующий Сенат обширную челобитную на Савву Попцова. Более того, сумев собрать внушительный «компромат» на своего обидчика, Сутягин обвинил провинциал-фискала не только в беззаконных действиях в отношении себя лично, но и во многих иных преступлениях, главным образом — по нынешней

классификации — против интересов службы. Ситуация для Ивана Ивановича сложилась тем благоприятнее, что месяцем ранее в Сенат поступило обличавшее Попцова доношение переславского подьячего Ивана Борисова.

В итоге громоздкий судебный механизм пришел в некоторое движение. 18 августа 1718 года Сенат распорядился выслать Савву Попцова для допроса в столицу. Однако последующие события с отчетливостью продемонстрировали, насколько могущественной фигурой оказался ярославский провинциал-фискал.

Первая нестыковка возникла с сенатской канцелярией. Кто-то из тамошних подьячих «отредактировал» сенатское распоряжение от 18 августа. Вместо изначального распоряжения доставить Попцова в Санкт-Петербург под арестом в текст указа подлогом были внесены слова «за поруками»[1]. Той порой в Переславле-Залесском служители Саввы Попцова совершили нападение на Ивана Борисова.

Ко всему прочему в следующем 1719 году состоялась передача инициированных фискалами уголовных дел из Сената в новоучрежденную Юстиц-коллегию. И хотя в случае с Попцовым имела место принципиально иная ситуация — обвинения выдвигались против должностного лица фискальской службы, — в коллегию было заодно переброшено и дело Саввы Федоровича. Впрочем, поначалу Юстиц-коллегия взялась за Попцова всерьез: на некоторое время провинциал-фискал попал в коллежскую тюрьму.

---

[1] В дошедшем до наших дней подлиннике сенатского распоряжения от 18 августа 1718 года сохранились вполне отчетливые следы подчистки. Во второй строке снизу слова «за поруками» написаны по неокончательно затертым «за арестом» (РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 262). На причастность к подлогу служащих именно канцелярии Сената указывает тот факт, что аналогичная переправка была произведена и в черновом отпуске распоряжения от 18 августа. А вот в копии распоряжения, снятой 20 августа 1718 года в Печатном приказе, оказалась зафиксирована исходная формулировка: «за арестом». См.: РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 265, 267 об.

Но тут из судебного процесса «выпал» подьячий Борисов. Опрометчиво попытавшийся в сентябре 1719 года подать доношение на Попцова лично Петру, он был арестован и отдан под следствие Тайной канцелярии. Три месяца спустя по необоснованному обвинению канцелярия приговорила обличителя Саввы Попцова к наказанию кнутом и году каторжных работ[1].

К Савве же Федоровичу тогдашняя Фемида отнеслась в итоге куда благосклоннее. 29 апреля 1720 года Юстиц-коллегия отпустила Попцова восвояси, а его дело перенаправила в нижестоящую инстанцию — Ярославский надворный суд (гофгерихт)[2]. Круг замкнулся: так и не возбужденное в Ярославле в 1718 году дело вернулось туда толком не расследованным в феврале 1721-го.

Как нетрудно догадаться, особенных усилий к разбирательству криминальных деяний Саввы Попцова Ярославский гофгерихт не предпринял. Казалось, делу Попцова, подобно тысячам других, суждено было остаться памятником российского кривосудия эпохи преобразований. Так бы и произошло, если бы характер Ивана Сутягина не «выражался в полной мере в его фамилии»[3].

Иван Иванович вступил в тяжбу с Саввой Федоровичем не на жизнь, а на смерть. Как бы ни перемещалось дело Саввы Федоровича по дебрям судебной системы, как бы ни саботировалось (вольно или невольно) чиновниками от юстиции, Сутягин продолжал не-

---

[1] РГАДА. Ф. 7. № 139. Л. 9 – 10.

[2] Там же. Ф. 248. Кн. 274. Л. 23 об., 444. Достойно внимания, что Юстиц-коллегия даже не рассматривала вопрос об отстранении подследственного провинциал-фискала от должности. Более того, в распоряжении коллегии от 29 апреля 1720 года Савву Федоровича предписывалось «отпустить в Ярославль для усмотрения фискалских дел». Вот уж, что называется, «бросили щуку в реку»...

[3] По замечательно емкому выражению С. М. Соловьева. См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 9. — М., 1993. С. 454.

отступно добиваться восстановления справедливости. «Упертый» ярославец буквально засыпал присутственные места челобитными, не давая забыть о процессе Попцова. Иван Иванович обращался в менявшиеся судебные инстанции в августе 1718 года, в январе, феврале и декабре 1719-го, в мае, августе и ноябре 1721-го[1]...

Впрочем, настойчивость Ивана Сутягина могла и не пробить окостенелую бюрократическую толщу, если бы в марте 1722 года в Ярославль не пожаловал Петр I. Обстоятельства подачи Сутягиным очередной челобитной непосредственно императору не вполне ясны. Учитывая, что личное обращение к монарху по такому поводу грозило в ту пору уголовным наказанием, Иван Сутягин, вероятно, передал челобитную (содержавшую заодно и обличения Ивана Борисова) кому-то из служащих императорского Кабинета, не исключено, что самому кабинет-секретарю А. В. Макарову.

Как бы там ни было, челобитная (с приложенными 15 пунктами обвинений против Попцова) достигла высочайшего адресата. И вот 21 марта 1722 года в генерал-прокурорскую канцелярию поступило письмо, в последних строках которого П. И. Ягужинскому предписывалось «изследовать» дело Саввы Попцова «в Сенате или особливо в Вашей канторе». Так началось грандиозное «дело фискалов»[2].

30 марта 1722 года Ягужинский и обер-прокурор Г. Г. Скорняков-Писарев отдали совместное распоряжение об истребовании из Ярославского суда дела Попцова и доставке в Москву фигуранта. Спохватив-

---

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 31 – 31 об., 144 – 144 об., 150 – 151, 152 – 152 об., 154 – 154 об., 243 – 244 об., 249 – 250.

[2] Как ни странно, «дело фискалов» не привлекало внимания исследователей. На этом сюжете весьма бегло остановились только С. М. Соловьев, С. А. Петровский и Н. И. Павленко. См.: Соловьев С. М. История России... Кн. 9. С. 454 – 455; Петровский С. А. О Сенате в царствование Петра Великого: Историко-юридическое исследование. — М., 1875. С. 142 – 143; Павленко Н. И. Петр Великий. — М., 1994. С. 461 – 462.

шись, три недели спустя в генерал-прокуратуру вызвали также Сутягина с Борисовым.

23 апреля в генерал-прокурорскую «кантору» поступили материалы дела Попцова. А вскоре состоялся первый допрос Саввы Федоровича, который решительно отверг все обвинения в свой адрес. Далее в следственных действиях наступил кратковременный перерыв.

Между тем Ягужинский решил перепоручить расследование кому-то из более искушенных в практической юриспруденции нижестоящих прокуроров. Поскольку с ветераном Тайной канцелярии Скорняковым-Писаревым отношения у Павла Ивановича складывались не лучшим образом, генерал-прокурор остановился на прокуроре Военной коллегии Егоре Ивановиче Пашкове[1]. При этом ключевая фраза генерал-прокурорского предписания от 22 июня 1722 года — «изволте те дела [С. Ф. Попцова] взять к себе и по них следовать», — похоже, означала попытку Павла Ивановича вообще передать дело Саввы Попцова из генерал-прокуратуры в прокуратуру Военной коллегии. Впрочем, такая попытка (если она действительно имела место) не встретила понимания у императора. С другой стороны, Петр не мог не одобрить идею привлечения к расследованию Егора Пашкова, своего вчерашнего адъютанта, три года состоявшего асессором в следственной канцелярии генерал-майора И. И. Дмитриева-Мамонова.

В итоге организация расследования дела Попцова оказалась перестроена, но не совсем так, как замышлял Ягужинский. С июля 1722 года в правительственном делопроизводстве замелькало наименование: «Канцелярия генерал-лейтенанта и генерал-прокурора Павла Ивановича Ягушинского да лейб-гвардии капитана Егора Ивановича Пашкова». Другими словами, в генерал-прокуратуре Сената образовалось новое структурное подразделение —

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 21.

особая следственная канцелярия под руководством непосредственно генерал-прокурора.

С появлением Пашкова расследование заметно активизировалось. В частности, канцелярия Ягужинского обратила пристальное внимание на упомянутых в доношении Ивана Борисова подручных Саввы Попцова из числа подьячих и фискалов. На протяжении двух недель, в конце июля — первой половине августа, были допрошены переславские подьячие И. Р. Лихарев, его сын Иван и младший брат Андрей, ярославские фискалы П. Н. Бакунин, А. И. Никитин и И. Т. Обухов.

В итоге накопленный материал позволил Ягужинскому и Пашкову перейти в наступление. К началу августа 1722 года вырисовалось 28 (!) эпизодов обвинений против Попцова — от укрывательства им беглых солдат до убийства посадского человека Афанасия Жилина. 17 августа следственная канцелярия вынесла постановление о конфискации недвижимого и об аресте движимого имущества Саввы Федоровича. Еще четыре дня спустя, рассмотрев специально подготовленную выписку, канцелярия приняла решение подвергнуть Попцова пытке[1]. 25 августа ярославский провинциал-фискал очутился в застенке.

Но ни дыба, ни 17 ударов кнутом не сломили Савву Федоровича. «Розыск» не дал абсолютно никаких результатов. Со своей стороны генерал-прокуратура не стала церемониться с упрямым подследственным. Следующий допрос с пристрастием был назначен на 30 августа.

И вот тут провинциал-фискал дрогнул. Согласно бесстрастной протокольной записи, «августа 30-го дня Сава Попцов вожен в застенок вторично, при чем лейб-гвардии капитану Егору Ивановичю Пашкову он, Попцов, сказал, что де по делам ево, что на него показано, с сверх того, что он какое преступление указом... чинил, и кем что знает, приносит он

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 666 – 669, 1614 – 1615.

пред его императорским величеством повинную...»[1]. Другими словами, Савва Федорович выразил готовность дать признательные показания.

Заявление Попцова не осталось пустым звуком. Уже 30 августа последовала череда признаний. Самым значительным из них явилось подтверждение Саввой Попцовым факта получения от ярославского бурмистра Сергея Титова колоссальной взятки в 900 рублей. Впрочем, это оказалось только прологом. Настоящие откровения провинциал-фискала ожидали прокуроров впереди.

Окончательный перелом в настроениях Попцова произошел 31 августа. В тот день Савва Федорович разразился огромной, в 70 пунктов, повинной. Убежденный Пашковым в необходимости, пользуясь современной терминологией, деятельного раскаяния, Савва Попцов начал рассказывать все, что знал. А знал он очень и очень многое.

Со страниц повинной Попцова перед Ягужинским и Пашковым открылась уникальная в своей полноте картина разложения местной администрации «преображенной России». Савва Федорович писал о казнокрадстве бурмистров Ивана Протопопова и Ивана Сергеева, Ермолая Еремина и Федора Воеводина, о взятках дьяков Федора Закарова и Кузьмы Жукова, фискала А. И. Никитина и камерира Ильи Мещеринова, о собственных бесконечных поборах с поднадзорных лиц[2]. Между тем бесповоротно вступивший на путь сотрудничества со следствием провинциал-фискал осветил злоупотребления не только региональных чиновников. В повинной от 31 августа (существенно пополненной затем 18 сентября, 12 и 18 октября) пошла речь и о более значительных персонах.

---

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 678.

[2] Там же. Л. 686–724 об. Текст повинной написан писцом и скреплен по листам и пунктам росписью С. Ф. Попцова.

Особенно подробно Попцов остановился на разоблачении «вышнего командира», в расчете на действенное покровительство которого он так стойко держался на первых допросах. Вконец деморализованный Савва Попцов дал развернутые показания на главу фискальской службы России обер-фискала Алексея Яковлевича Нестерова[1]. Завязавшееся благодаря упорству Ивана Сутягина расследование перешло в новую фазу.

Деятельно раскаявшийся Савва Федорович подробно рассказал о безудержном взяточничестве А. Я. Нестерова, о создании им целой системы поборов с подчиненных фискалов[2]. Брал Алексей Яковлевич, надо сказать, с размахом: деньгами, предметами домашнего обихода, продуктами питания, фуражом[3].

---

[1] О своей уверенности на вмешательство А. Я. Нестерова, являвшегося, как сейчас говорят, «крышей» ярославского провинциал-фискала, С. Ф. Попцов поведал в п. 34 повинной. Савва Федорович прямо заявил, что «как ево, Попцова... в канцелярии генерала-прокурора, в чем надлежит допрашивали, а потом и разыскивали [пытали], и он, Попцов, во всем запирался в... надеянии на него, обер-фискала Нестерова, о заступлении и о свободности...» См.: РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 708 об. – 709.

[2] А. Я. Нестерову оказалась посвящена почти четвертая часть — 18 пунктов — повинной С. Ф. Попцова от 31 августа. Многообразные преступные деяния обер-фискала Савва Федорович осветил в пп. 18, 20 – 30, 40, 52 – 55 и 57. См.: Там же. Л. 700 об. – 701, 702 – 707, 711, 716 – 718.

[3] К примеру, за определение в фискалы самого Саввы Попцова А. Я. Нестеров получил с него 500 четвертей ржи. В другой раз, будучи у Саввы Попцова в гостях, Алексей Яковлевич прихватил с собой приглянувшееся ему стенное зеркало («позаимствованное» самим Саввой Федоровичем, кстати, у И. И. Сутягина). А вот с фискалов Г. Я. Терского, Г. Зиминского, Ф. Утрюмова и С. Я. Турчанинова, согласно п. 55 повинной С. Ф. Попцова, Алексей Нестеров «брал... взятки денгами, лошедми и рыбою, белугами и протчими...» См.: Там же. Л. 702 об., 717 об.

Для полноты картины стоит отметить, что в поборах Алексея Яковлевича отразились и его духовные запросы. Помимо иного, обер-фискал «вытянул» из Саввы Попцова печатное Евангелие XVII века, а также книгу, «в которой изображены всякие звери и рыбы... с подписью латинскою». См.: Там же. Л. 736.

Уже в самый день подачи повинной, 31 августа, генерал-прокурор проинформировал о приведенных в ней эпизодах, касавшихся Нестерова, Сенат, запросив санкцию на арест обер-фискала. Таковая была получена. 3 сентября 1722 года специальным письмом Ягужинский предписал Нестерову явиться в следственную канцелярию. Два дня спустя посланный генерал-прокуратурой подьячий опечатал бумаги в доме Алексея Яковлевича. Тогда же, в первых числах сентября, обер-фискала взяли под стражу.

«Дело фискалов» стремительно набирало обороты. Оставив в стороне показания Саввы Попцова о финансовых махинациях должностных лиц местного самоуправления (реальная проверка которых требовала колоссальной работы с приходно-расходной документацией), Ягужинский и Пашков сосредоточили внимание на разбирательстве криминальных деяний нескольких фигурантов. В итоге упомянутые в повинной Попцова лица допрашивались почти исключительно по эпизодам, затрагивавшим его самого, ярославского фискала Никитина и Алексея Нестерова.

Осенью 1722 года следственная активность генерал-прокуратуры достигла апогея. Только по эпизодам, касавшимся Саввы Попцова, в течение двух месяцев, с конца сентября по конец ноября, в канцелярии были допрошены 28 (!) человек — главным образом посадские люди из Ярославля, Бежецкого Верха и Ростова. Свидетели подтвердили факты поборов со стороны Саввы Федоровича, хотя и оговорились по большей части, что давали ему подношения «из воли своей, в почесть».

Но центр тяжести расследования чем дальше, тем отчетливее смещался к фигуре Нестерова. Как ни упирался Алексей Яковлевич, как ни пытался всеми мерами воспрепятствовать расследованию, все больше и больше эпизодов его преступной деятельности находило подтверждение. Особенно ценные показания, изобличавшие обер-фискала, дал посадский человек Авдей Брыскин. Это он поведал о крупной взят-

ке, полученной Алексеем Нестеровым от дворянина Л. Г. Воронцова за содействие в назначении его воеводой в один из сибирских городов.

5 октября 1722 года Ягужинский направил особое письмо с докладом о ходе следствия к находившемуся в Астрахани Петру I. Император откликнулся незамедлительно. Уже 15 октября в Москву ушло высочайшее послание с указанием Егору Пашкову замещать при необходимости генерал-прокурора в делах следственной канцелярии, а также с разрешением применять к Нестерову пытки[1].

Генерал-прокуратура не отложила в долгий ящик санкционированное верховной властью самое радикальное следственное действие того времени. 8 ноября, обобщив добытые к тому времени уличавшие обер-фискала материалы, Е. И. Пашков вынес постановление о пытке Алексея Нестерова[2]. Еще вчера могущественный сановник не стал дожидаться привода в застенок. 9 ноября 1722 года Алексей Яковлевич Нестеров принес повинную[3]. Расследование «дела фискалов» вышло на следующий виток.

Еще недоразобравшейся с признаниями Попцова следственной канцелярии предстояло теперь проверять не менее содержательные откровения Нестерова. Подобно Савве Федоровичу, он не ограничился признанием собственных вин, а рассказал много интересного про других лиц. Алексей Яковлевич поведал о взятках и казнокрадстве бывшего московского вице-губернатора, а ныне главы Монастырского приказа Василия Ершова, о подлоге завещания бывшим

---

[1] РГИА. Ф. 1329. Оп. 4. Кн. 28. Л. 3.

[2] РГАДА. Ф. 248. Кн. 273. Л. 226 – 230.

[3] Там же. Л. 232 – 246 об. (неавторизованная запись). Повинная дополнялась А. Я. Нестеровым также на допросах 13 и 20 ноября 1722 года. См.: Там же. Л. 247 – 255 об., 257 – 263 об. Ее итоговый объем составил 54 пункта. Текст повинной, скрепленный подписью Алексея Нестерова, см.: Там же. Л. 322 – 330 об.

обер-фискалом, а ныне судьей Московского гофгерихта Михаилом Желябужским, о многообразных злоупотреблениях должностными полномочиями комиссара Александра Сергеева и дьяка Андреяна Ратманова...

Тем не менее, заподозрив Нестерова в недостаточной искренности, Пашков 25 ноября вновь распорядился подвергнуть его пытке. Допрос в застенке не состоялся, однако, и на этот раз. Согласно пометы в деле, «обер-фискалом не розыскивано за полученным имянным его императорского величества указом»[1]. Иными словами, в ноябре 1722 года Петр I пытать Алексея Яковлевича воспретил.

Не вполне ясно, что за соображения побудили императора отменить собственную недавнюю санкцию о «розыске» Нестерова. Судя по всему, он рассудил, что глава фискальской службы мог владеть такой разоблачительной информацией, которую небезопасно было доверить даже генерал-прокуратуре. По этой причине Петр решил допросить Нестерова лично. Такой допрос состоялся 30 января 1723 года. Сенсационных откровений Алексея Яковлевича на нем, впрочем, не последовало.

Что бы там ни было, независимо от высочайших колебаний в решении вопроса о телесной неприкосновенности Нестерова, конец ноября и весь декабрь 1722 года следственная канцелярия генерал-прокуратуры работала с прежней интенсивностью. Так, в декабре наступил решающий перелом в разбирательстве дела Никитина. Подвергнутый 3 декабря пытке, Алексей Иванович сознался в четырех эпизодах получения взяток с жителей Ярославля и Борисоглебской слободы[2].

---

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 273. Л. 265 об. (запись по верхнему полю листа). О каком именном указе шла речь, неясно. В материалах дела он не отложился.

[2] Там же. Кн. 274. Л. 1391 – 1391 об. А. И. Никитин сознался в получении в качестве взяток в общей сложности 111 рублей и бочонка вина.

Между тем по мере разбухания «дела фискалов» перед генерал-прокуратурой всерьез замаячила перспектива сосредоточиться преимущественно на следственной деятельности, трансформироваться из надзорного в следственный орган. С одной стороны, подобная трансформация явно не входила в планы Петра I. С другой — столь разветвившееся к исходу 1722 года «дело фискалов» требовало основательного досудебного разбирательства. Передача находившегося в такой стадии расследования уголовного дела в иной правоохранительный или судебный орган грозила это расследование дезорганизовать.

В итоге первый российский император принял воистину соломоново решение. В конце января 1723 года следственная канцелярия генерал-прокуратуры была реорганизована в Розыскную контору только что основанного Вышнего суда. Возглавил же контору не кто иной, как Егор Иванович Пашков.

Именно прокурору Пашкову — правда, уже в качестве руководителя структурного подразделения Вышнего суда — довелось завершать предварительное следствие по «делу фискалов» и готовить обвинительные заключения по эпизодам, касавшимся Попцова, Нестерова и Никитина.

Согласно обвинительному заключению Пашкова по делу Попцова от 19 октября 1723 года, обвиняемому были инкриминированы 11 эпизодов получения взяток и злоупотребления должностными полномочиями[1]. Достойно внимания, что Пашков предпринял решительную попытку не допустить вынесения раскаявшемуся Попцову смертного приговора. По всей видимости, обещавший Савве Федоровичу сохранение жизни в обмен на сотрудничество со следствием, Пашков в обвини-

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 1026—1028. Длительно проверявшийся следствием эпизод по обвинению С. Ф. Попцова в убийстве Абилина был в итоге снят из-за недоказанности.

тельном заключении предложил назначить бывшему провинциал-фискалу наказание в виде двух лет каторжных работ с последующей пожизненной ссылкой. Свое весьма либеральное (с учетом характера предъявленных обвинений) предложение Егор Иванович обосновал тем, что иные подследственные «взирая на милостивое исполнение [помилование С. Ф. Попцова]... могли к показанию вин признатца существом».

В январе 1724 года «дело фискалов» было направлено на рассмотрение Вышнего суда. Судебное производство по делу не затянулось. Уже 22 января подсудимым вынесли приговоры, поступившие затем на утверждение Петра.

Эпилогом завязавшегося в марте 1722 года расследования явилась публичная «эксекуция», состоявшаяся на Троицкой площади Санкт-Петербурга 24 января 1724 года. В тот день Нестерова колесовали, Никитину вырезали ноздри и наказали кнутом. 24 января на эшафот взошел и бывший провинциал-фискал Савва Попцов. Обида, когда-то походя нанесенная Саввой Федоровичем посадскому человеку Ивану Сутягину, отлилась в итоге в лаконичную запись в следственном деле: «Попцов казнен, а имянно отсечена голова генваря 24 дня...»[1] Последние минуты жизни Попцова детально описал наблюдавший за казнью 24 января 1724 года Ф. В. Берхгольц. Согласно дневнику голштинского камер-юнкера, «первый, которому отрубили голову, был один фискал, клеврет обер-фискала Нестерова, служивший последнему орудием для многих обманов. Когда ему прочли его приговор, он обратился лицом к церкви в Петропавловской крепости и несколько раз перекрестился, потом повернулся к окнам Ревизион-кол-

[1] РГАДА. Ф. 248. Кн. 274. Л. 1023 (запись по нижнему полю листа). См.: Берхгольц Ф. В. Дневник. 1721 – 1725 / Пер. с нем. — М., 1903. Ч. 4. С. 10.

легии, откуда император со многими вельможами смотрел на казни, и несколько раз поклонился. Наконец, один... взошел на эшафот, снял с себя верхнюю одежду, поцеловал палача, поклонился стоявшему вокруг народу, стал на колени и бодро положил на плаху голову...»

«Привесть в полную известность»

Пытки, доносы и допросы в XVIII – XIX веках

Федор Севастьянов

Процессы по политическим делам во все времена находились в поле общественного внимания. Иногда общественное мнение сочувствовало обвиняемым, иногда осуждало их или способы, которыми следствие вымогало признания. Принято считать, что к концу XX столетия в законодательствах демократических стран проработаны все механизмы, призванные защитить личность обвиняемого от произвола следователей. А как обстояло дело тогда, когда гражданское общество находилось в процессе формирования? Для России этим временем, вне всякого сомнения, было начало XIX века.

В соответствии с юридической доктриной того времени следствие разделялось на две стадии: «предварительное» и «формальное». И если на первом этапе «преступление доводилось до вероятности», то целью формального следствия являлось «привесть его в полную известность»[1]. Однако подобное деление в системе тогдашней юстиции было в значительной мере условным.

Обычно расследование дела о преступлении против государя и государства начиналось с доноса. Поскольку доносительство вменялось в обязанность русским подданным еще Соборным уложением царя Алексея Михайловича, а недонесение каралось как

[1] Линовский В. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. — Одесса, 1849. С. 166.

соучастие в преступлении, то недостатка в добровольных информаторах власти не испытывали. Интересно, что на практике донос совсем не обязательно бывал письменным, хотя это и противоречило букве действовавшего законодательства. Так, первое дело, рассматривавшееся в учрежденном 13 января 1807 года высшем полицейском Комитете охранения общей безопасности, инициировал полуустный донос. В сохранившемся следственном деле обвинявшегося в «шпионстве» иностранца А.-Ф. Стадлера находится анонимное обвинение. В этой бумаге, адресованной министру юстиции, Стадлеру не вменялось никаких криминальных поступков. Однако последняя фраза документа впечатляет: «Что было лично между мною и им, о том имел честь донести подробно вчерашнего числа словесно»[1]. Очевидно, в беседе с министром юстиции князем П. В. Лопухиным неизвестный доносчик и сообщил о Стадлере что-то такое, что заставило членов Комитета 13 января приказать полиции взять того под стражу и в течение нескольких недель расследовать его дело. Что это было за обвинение, установить невозможно: в материалах дела оно не зафиксировано. Впрочем, в большинстве случаев доносили по вполне традиционной форме: письменно давая конкретные обличающие показания.

Вот типичный пример доноса о типичном для того времени «страшном» государственном преступлении — произнесении «предерзостных слов» в адрес императора. Сразу оговоримся, что по действовавшему тогда российскому законодательству такое деяние каралось жесточайшим образом. Некая немка Ангельн обвинила жену генерал-поручика Турчининова в распространении разного рода политических нелепых слухов: будто «революция последует не далее как в крещение», а царствование Александра I

[1] РГИА. Ф. 1163. Оп. Т. XVI. 1807. Д. 3. Л. 1.

близится к концу и «это также известно, как в конце царствования императора Павла». Правда, как явствует из материалов следствия, «привесть в полную известность» ничего не удалось, и даже очные ставки между двумя женщинами, «кроме взаимной ненависти, которая простиралась до явной брани, ничего существенного к их делу принадлежащего не открыли»[1].

Часто в полицию поступали и ложные доносы. Так, незадолго до начала Отечественной войны 1812 года в написании таковых был уличен некий генерал-майор Д. А. Миницкий, вышедший в отставку после тяжелого ранения под Аустерлицем. Он обвинил двух своих знакомых — В. П. Кочубея и Н. Н. Новосильцева — в произнесении разного рода хулы на императора Александра I, цесаревича Константина Павловича. Свой поступок он объяснил приступом помешательства вследствие ранения. «А особливо воображалось ему, — говорится в следственных документах, — что он, будучи повсюду преследуем несправедливыми оклеветаниями, лишился монаршей милости в награждении полным пансионом». Несмотря на формальное наличие состава преступления — ложный донос такого рода по установившейся практике карался, как совершение описанного в нем преступления, — Миницкий не только был прощен императором, но и получил искомую пенсию[2]. Прощать осужденных по делам о произнесении «предерзостных слов» Александр I любил.

Неизбежность ареста после доноса была практически стопроцентной. Желая выслужиться перед начальством и боясь получить нагоняй за попустительство разного рода «супостатам», гражданские губернаторы и городничие обычно отдавали приказ

---

[1] РГИА. Ф. 1163. Оп. Т. XVI. 1808. Д. 4. Л. 9 – 10.

[2] Там же. 1807. Д. 28. Л. 16 – 16 об., 35.

хватать любого, на кого имелись соответствующие показания. При этом, если потенциальным преступником являлся не базарный торговец, в пьяном угаре помянувший крепким словом государя императора, а представитель «общества», одной из главных забот полиции при его аресте становилась «выемка» всех его бумаг. Обычно обыск и изъятие бумаг производились незамедлительно, ведь именно таким образом следователи всегда надеялись обнаружить неопровержимые доказательства вины подозреваемого.

Интересно, что еще Соборное уложение 1649 года весьма подробно описывало процедуру обыска и изъятия улик — «поличного». Вообще «поличному» в той или иной степени посвящены двадцать статей этого кодекса русского права XVII века. Наиболее же подробно процедуру «выемки» описывает статья 87 главы XXI. В ней говорится: «А будет кто у кого в дому сведает поличное и похочет то поличное выняти, и ему на то поличное взять ис приказу пристава, а приставу взяти с собой понятых, сторонних людей, добрых, кому мочно верити и поличное выняти с теми людьми, куды он послан будет искати, и то поличное выняв отвезти в приказ с теми же людьми, при ком то поличное вымет. А будет в том дому, где поличное будет, никого не застанут, и то поличное по тому же отнести в приказ с понятыми, а в приказе про то поличное сыскивати и росправа чинити по указу до чего доведется, а бес понятых приставу поличное не вымати. А будет кто в дому своем поличного искати и клети и иных хором отомкнути не даст или поличное и татя у пристава и понятых отоймет, а сыщется про то допряма, и на том, кто так учинит, истцу доправити убытки по сыску все сполна». Как видим, описанная процедура вполне соответствует всем современным требованиям. В статье не только предусмотрены всевозможные случайности (например, отсутствие хозяина дома), но и весьма подробно описана роль понятых, гарантировавших обвиняемого от подлога и злоупотреблений

следствия. Весьма справедливо сопротивление проведению обыска истолковывалось как доказательство вины.

В последующем развитии русского права нормы Соборного уложения получили некоторое развитие. Так, статья 258 Учреждения для управления губерний 1775 года относила принятие решений о «выемке» к компетенции городничего, а статья 85 изданного в 1781 году Устава о соли делала следующую оговорку: «Выемку чинить, как ныне, так и впредь, как законами предписано есть или будет»[1]. Вполне вероятно, что здесь подразумевались и процитированные выше указания Соборного уложения.

Так или иначе, но в архивных следственных делах «высшей полиции» всегда имеется упоминание о том, опечатывала ли полиция бумаги обвиняемого в государственном преступлении, производился ли их разбор и обнаружено ли что-либо подозрительное как в самих бумагах, так и на дому у арестанта. При этом полицейские рапорты никогда не упоминают о присутствии понятых, участие которых в процедуре по закону было обязательным. Нам удалось обнаружить единственное предусмотренное правом изъятие из этого правила. В 1812 году последовал сенатский указ «О чинении обыска в домах священно- и церковнослужителей, оговариеваемых в пристанодержательстве беглых, и без депутата с духовной стороны»[2]. Из документа явствует, что в полицейской практике того времени было принято обязательно совершать обыски в домах клириков в присутствии не только светских, но и духовных лиц. Однако в условиях войны, повлекшей увеличение числа беглых, которых священники, видимо, из человеколюбивых соображений укрывали у себя дома, было признано целесообразным не

[1] ПСЗ. Т. XX. 1175. № 14392. Ст. 258; Т. XXI. 1781. № 15174. Ст. 85.

[2] ПСЗ. Т. XXXII. 1812. № 25240.

следовать этому правилу, поскольку, говоря словами указа, «пока он (понятой духовного звания. — *Ф. С.*) может явиться по призыву, то беглецы между тем находят время скрываться в другие места; полиция же подвергается ответственности, что имела на тех священнослужителей напрасное будто бы подозрение». Важно отметить, что эта инициатива министра полиции нашла понимание и получила поддержку в Синоде.

Однако повторимся, в архивных материалах высших полицейских органов первой четверти XIX века никогда не упоминается о присутствии при обысках понятых. Не упоминается о подобном порядке «выемок» и в мемуарной литературе.

Так, в «Записках» правителя Особенной канцелярии министра полиции Я. И. де Санглена довольно подробно описаны две процедуры опечатывания кабинетов попавшего в опалу М. М. Сперанского[1]. Отправку в Сибирь своего бывшего главного советника Александр I поручил самому де Санглену и его шефу — министру А. Д. Балашову, надеясь, что их ревностное наблюдение за действиями друг друга станет лучшей гарантией эффективности следственных мероприятий, чем нежелательное присутствие посторонних лиц — понятых.

Сначала Балашов и де Санглен приехали на квартиру Магницкого, также отправлявшегося в ссылку. «Он встретил нас в передней, — вспоминал де Санглен, — ввел во вторую комнату и, указав на дверь, сказал: «Не угодно ли? Тут кабинет». Мы вошли. Здесь все прибрано было как для торжества. «Не нужно ли вам чего-нибудь взять с собою?» — спросил министр. «Право, не знаю, — ответил Магницкий, — разве этот пакет с некоторыми письмами». «Возьмите», — сказал министр... Мы вышли. Балашов, обра-

[1] Записки Якова Ивановича де Санглена // Русская старина. 1883. № 2. С. 381 – 387.

тясь ко мне, сказал: «Сделайте одолжение эту дверь запечатать», — и подал мне сургуч и печать. Принесли свечку, и я исполнил приказание министра. У меня тряслись руки; вся кровь кипела во мне». Вот так негодовал, если верить воспоминаниям, старый судейский чиновник на позволение подследственному вынести из опечатываемого кабинета пакет с бумагами неизвестного содержания. Да и ироническое замечание о прибранном «как для торжества» кабинете в устах следователя звучит вполне понятно: вряд ли какие-либо серьезные улики находились в такой комнате.

Похожая ситуация произошла и на квартире Сперанского. Балашов примерно на полчаса уединился с опальным реформатором в его кабинете, а через приоткрывавшуюся время от времени дверь, по словам де Санглена, «видно было, что жгли в камине бумаги». «Предположим, — негодовал он на страницах своих мемуаров, — что все сожженные и отложенные бумаги были невинны; но этим поступком они обращались по крайней мере в подозрительные». Позиция вполне понятна, объяснима и логична: сжигал бумаги, значит, было что скрывать.

Затем Сперанский и Балашов вышли из кабинета. Предоставим вновь слово де Санглену: «Балашов: «Яков Иванович! Запечатайте кабинет; вот вам и печать». Я подозвал частного пристава Шипулинского; он принес свечку и веревочку завязать замок, а я приложил печать. Сперанский и Балашов молча ходили по комнате. Вдруг Сперанский остановился, и сказав: «Мы забыли, Александр Дмитриевич, взять из кабинета другой портфель?» Балашов: «Распечатайте, Яков Иванович!» Я стоял неподвижно. Балашов: «Что же? Я вас просил распечатать». Я: «Два раза распечатать и запечатать я права не имею». Этот спор Балашова с де Санглеиом о процессуальных тонкостях при расследовании государственных преступлений закончился их ссорой и отставкой правителя Особенной канцелярии.

Приведенные описания опечатывания кабинетов перед выемкой бумаг дополним еще и рассказом декабриста Н. И. Лорера об обыске в доме арестованного П. И. Пестеля. «Я застал обоих генералов (А. И. Чернышева и П. Д. Киселева. — *Ф. С.*) в мундирах при саблях, расхаживающих по зале. Мне показалось, что они приехали на веселый пир какой-нибудь, так праздничны были их физиономии... Генералы не теряли своего времени: перешарили все комоды, шкатулки, ящики в доме Пестеля, поднимали полы, побывали и в бане, перерыли даже огород с помощью прислуги... Три дня жили генерал-адъютанты в доме Пестеля и, не раздеваясь, усердно работали...»[1] Как видим, ни слова о понятых. Впрочем, ревностная слежка друг за другом двух сановников могла с точки зрения верховной власти не менее эффективно служить гарантией от подлога и прочих злоупотреблений следствия.

Таким образом, очевидно, что норма, обязательная при производстве следствия по обычным уголовным делам, не применялась при расследованиях преступлений против государя и государства.

Вскоре после ареста следовал и первый допрос взятого под стражу. Интересно, что еще при Екатерине II русское законодательство предусматривало предельные сроки содержания под арестом без допроса обвинявшихся в совершении уголовного преступления. Статья 401 Учреждения о губерниях требовала проводить первый допрос обвиняемого и сообщать ему причину ареста не позднее трех дней. Но в ней же делалось исключение для лиц, обвиняемых в разбоях, воровстве, убийствах, а также «по первым двум пунктам», то есть в «оскорблении величества» и измене. Хотя на практике этим правом александровская «высшая полиция» пользовалась не так уж часто. Обвинение в преступлении против государя и государства в кратчайшие сроки должно было быть либо подтверж-

[1] Мемуары декабристов. — М., 1988. С. 356.

лено, либо снято, а значит, тянуть с допросом смысла не было.

Согласно юридической теории первой половины XIX века, допрос должен был производиться, «чтобы получить от обвиняемого объяснения, необходимые для устранения всякой односторонности». Однако сами же правоведы тех лет с горечью замечали: «У нас допрос подсудимых был давно известен, но целью его было более обвинение, чем оправдание обвиняемого»[1]. А. М. Муравьев негодовал на своих следователей: «Все эти царедворцы (члены Следственной комиссии по делу декабристов. — *Ф. С.*), не имея другой цели для своего существования, кроме снискания благоволения своего господина, не допускали возможностей политических убеждений иных, чем у них — и это были наши судьи!.. Все средства казались для них хороши. Они предъявляли ложные показания, прибегали к угрозам очных ставок, которых затем не производили. Чаще всего они уверяли пленника, что его преданный друг во всем признался. Обвиняемый, затравленный, терзаемый без пощады и милосердия, в смятении давал свою подпись. Когда же его друга вводили в зал заседаний, то не мог ни в чем признаться, так как ничего не было. Обвиняемые бросались друг другу в объятия к великому веселию членов Комитета... Случалось, что эти господа из Комитета говорили наивно-весело: «Признавайтесь скорее, вы заставляете нас ждать, наш обед простынет»[2].

Конечно, Муравьев как подследственный имел все основания негодовать на действия членов Следственной комиссии и выгораживать себя. Но если отбросить обличительный пафос мемуаров, то нельзя не признать, что в них дан почти исчерпывающий перечень всех средств и приемов, которыми пользова-

---

[1] Линовский В. Указ. соч. С. 168.

[2] Муравьев А.М. Мой журнал // Мемуары декабристов. Северное общество. — М., 1981. С. 133.

лись тогда, да и теперь еще пользуются при допросах. В этом отношении первая четверть XIX века — время совершенно исключительное. Дело в том, что у следователей александровского времени было выбито из рук их самое привычное и действенное оружие — пытка, что заставляло их искать новые способы склонять обвиняемого к признанию или даче правдивых показаний.

О применении пытки в практике тайного сыска XVIII века написано довольно много. Однако уже к концу столетия власть стала все настойчивее демонстрировать неодобрение «пристрастных» допросов. Пытка, в частности, осуждалась в знаменитом «Наказе» Екатерины II Уложенной комиссии. В сенатском указе от 9 декабря 1774 года, изданном по случаю вполне конкретного судебного казуса, особо отмечалось, что «Ея Императорского Величества указы повелевают кровопролитие (при допросе. — *Ф. С.*) сколько можно уменьшать»[1].

Очевидно, что в некоторых случаях деятели тайного сыска XVIII века прислушивались к этим увещаниям. Вот как описал свой допрос в Тайной экспедиции времен Павла I лифляндский пастор Ф. Зейдер, уличенный в хранении запрещенных книг: «Макаров (обер-секретарь Тайной экспедиции. — *Ф. С.*) — человек весьма добрый и приветливый, с первого взгляда я почувствовал к нему большое доверие. Он сел возле меня и ласково сообщил причину моего ареста». Дальше допрос продолжался такой речью Макарова: «Будьте совершенно спокойны на счет исхода этого дела... Самое большое наказание... будет состоять в том, что книги эти (запрещенные. — *Ф. С.*) будут у вас отобраны и их предадут огню». На протяжении всего пребывания пастора под следствием в Тайной экспедиции А. С. Макаров вел себя столь же предупредительно и вежливо, и Зейдер не припоминает не только угроз

[1] ПСЗ. Т. XIX. 1774. № 14227.

пыткой, но даже простого психологического давления. Такое поведение следователя дало результат: ничто не могло поколебать веру Зейдера в добрые намерения тюремщика. Макаров говорит, что переведет пастора «на другую квартиру, где будет покойнее и удобнее», сам же отправляет его в Петропавловскую крепость. Зейдер в ужасе: обещали квартиру, а посадили в известную на всю Россию тюрьму. Но и здесь Макаров указывает пастору на положительные стороны его печального положения: «Эти стены... не смогут ухудшить вашего положения, они дадут вам собраться с духом, чтобы с твердостью и терпением ожидать решения вашего дела». Нужно сказать, что дело решилось не в пользу Зейдера: он был сослан в Сибирь, избежав жестокого телесного наказания лишь по милости палачей. И все же даже через сибирскую ссылку пронес пастор чувство признательности к своему тюремщику[1]. К сожалению, обратных примеров история тайного сыска XVIII века знает гораздо больше...

Окончательная отмена пытки в России связана с царствованием Александра I. В сентябре 1801 года особым именным указом было возвещено об уничтожении этой следственной процедуры[2]. К этому шагу Александра побудил один дошедший до него случай из судебной практики. «С крайним огорчением дошло до сведения Моего, что по случаю частых пожаров в Казани взят был по подозрению в зажигательстве один тамошний гражданин под стражу, был допрошен и не признался; но пытками и мучениями исторгнуто у него признание и он предан суду». Сомнительные основания для вынесения обвинительного приговора и стойкость подсудимого в отрицании своей вины вызвали сочувствие: «В середине казни (битья кнутом. — *Ф. С.*) и даже по совершении оной, тогда, как

---

[1] Страдания пастора Ф. Зейдера // Русская старина. 1878. № 5. С. 126 – 129.

[2] ПСЗ. Т. XXVI. 1801. № 20022.

не имел уже он причин искать во лжи спасения, он призывал всенародно Бога в свидетели своей невиновности и в сем призывании умер». Это происшествие характеризовалось как «жестокость толико вопиющая, злоупотребление власти столь притеснительное и нарушение законов в предмете толико существенном и важном». В заключение говорилось, что Правительствующий Сенат «не оставит при сем случае сделать повсеместно по всей Империи наистрожайшие подтверждения, чтоб нигде ни под каким видом ни в вышних, ни в нижних Правительствах и Судах, никто не дерзал ни делать, ни допускать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания... и чтобы наконец самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной».

При этом молодой император проявил себя на редкость последовательным борцом с практикой получения признания на дыбе. 14 августа 1802 года по результатам сенаторской ревизии Калужской губернии Г. Р. Державиным Александр дал Сенату именной указ, в котором требовал обратить внимание всех губернаторов на могущие встретиться в их губерниях нарушения. В пункте 10 от местных начальников прямо требовалось: «Чтобы нигде никаких бесчеловечных истязаний и жестокостей не происходило. При расспросах же к усмотрению и открытию истины употреблялось бы более тщательности и расторопности по соображению обстоятельств, связи слов и действий подозреваемых»[1]. А 13 ноября 1804 года в новом именном указе Сенату на его 4-й департамент возлагался специальный надзор за тем, «чтобы признание подсудимых было не вынужденное»[2].

Нет ни малейших оснований сомневаться, что желание императора Александра I было исполнено,

[1] ПСЗ. Т. XXVII. 1802. № 20372.

[2] Там же. Т. XXVIII. 1804. № 21516.

и пытка в России начала XIX века ушла в историю. Даже находившиеся под судом в 1826 году декабристы не боялись, что их станут допрашивать с пристрастием. Напротив, в первые дни следствия они опасались расстрела без суда. Иными словами, скорую «армейскую», в 24 часа, казнь считали более реальной угрозой, чем пытку. Правда, с исчезновением из следственной практики дыбы, тисков для пальцев и разных замысловатых щипцов понятие пытки тут же стало, если можно так выразиться, девальвироваться. Характерный пример: декабрист А. В. Поджио абсолютно серьезно называл пыткой одиночное заключение. С его точки зрения, «пытки заключались в наручных цепях... Других во время следствия сажали на хлеб и на воду и в особенные темные сырые казематы»[1]. А ведь всего-навсего три десятка лет назад такие условия заключения «государева преступника» не показались бы излишне строгими!

Таким образом, факт остается фактом: в Российской империи первой четверти XIX века восторжествовали обычаи «образованных стран» — допросы с пристрастием канули в Лету. При этом необходимо отметить, что, иногда грозя обвиняемым отмененной пыткой, высшие полицейские следователи того времени не смели применять многие из обычных сегодня на допросе приемов. Характерен случай, приводимый в воспоминаниях С. П. Трубецким. Раздраженный поведением членов Следственной комиссии по делу декабристов, каждый из которых наперебой спрашивал его о своем, он сказал: «Господа, я не могу отвечать всем вместе: каждый спрашивает разное, извольте спрашивать меня по порядку, и тогда я буду отвечать». Генерал-адъютант Голенищев-Кутузов (с громким хохотом): «Нет, этак лучше — скорей собьется». Я: «Надеюсь, что ваше-

[1] Поджио А. В. Записки // Мемуары декабристов. Южное общество. — М., 1982. С. 251 – 252.

му превосходительству не доставлю этого удовольствия... Если вам угодно иметь все от меня ответы, задайте мне писаные вопросы, и тогда я буду отвечать...» Великий князь (Михаил Павлович. — *Ф. С.*): «Требование князя Трубецкого справедливо. Задайте ему письменные вопросы и пошлите их к нему, чтоб он письменно ответил»[1].

Здесь мы подходим к одной из самых интересных следственных процедур того времени: ответу обвиняемого на «вопросные пункты». Несмотря на то что устный допрос записывался и приобщался к материалам дела, пожалуй, основной формой общения следственных органов с предполагаемым преступником была как раз та, на которой настаивал князь Трубецкой. Следователи составляли список вопросов, на которые хотели получить ответы от обвиняемого.

Часто вопросы словесного и письменного допроса были тесно связаны. Декабрист А. Е. Розен вспоминал: «Наконец генерал-адъютант А. И. Чернышев объявил, что я завтра получу письменные вопросы от комиссии и чтобы на каждый вопрос был написан ответ по пунктам. Весь этот допрос был словесный... На третий день доставили мне запечатанный пакет. Вопросы были почти те же, только в них заключались новые обвинения с поименованием разных лиц и с прибавлением различных показаний. Плац-майор, отдав мне пакет, сказал: «Не спешите, обдумайте все»[2]. Однако не всегда следователи были так тактичны и терпеливы. Н. И. Лорер вспоминал: «Вошел ко мне плац-адъютант и вручил пакет с черною печатью и надписью «От тайного комитета господину майору Лореру» и прибавил: «Через час чтобы было готово, писать начерно не позволяется, вот чернила и перо»...

---

[1] Трубецкой С. П. Записки // Мемуары декабристов. Северное общество. — М., 1981. С. 49.

[2] Розен А. Е. Записки декабриста // Мемуары декабристов. — М., 1988. С. 115.

Скоро пришел плац-адъютант, запечатал мои показания и скоро исчез»[1].

Пожалуй, самым действенным орудием следователей того времени была очная ставка. Еще Соборное уложение царя Алексея Михайловича в статье 16 главы II предписывало: «А кто на кого начнет извещати государево великое дело или измену, а того, на кого он то дело извещает... сыскати и поставить с ызветчиком с очей на очи, и против извету про государево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко». Любопытно, что на страницах многих воспоминаний декабристов читается просто-таки какой-то ужас перед этой процедурой, смысл которой заключался в том, чтобы, сведя вместе двух обвиняемых, добиться единообразия в их следственных показаниях. Возможно, здесь все дело в утонченности натуры «первых русских революционеров».

Типичное описание очной ставки находим на страницах мемуаров А. Е. Розена. Он так повествует об очной ставке, данной П. Х. Граббе с неизвестным, которого Розен называет «обличителем»: «При очных ставках обыкновенно вызываемы были обвиненные сперва поодиночке, и когда показания их разнствовали, то сводили их вместе для улики. Когда Чернышев прочел показания Граббе, то спросил его: не упустил ли он чего, или не забыл ли какого важного обстоятельства? На отрицательный ответ его повели в другую комнату и призвали обличителя, который также оставался при высказанном своем мнении. Тогда снова призвали Граббе, и Чернышев, известный красавчик и щеголь, качаясь в креслах, крутя то ус, то жгут аксельбанта, с улыбкою спросил: «Что вы теперь, полковник, на это скажете?» Граббе с негодованием ответил ему: «Ваше превосходительство, вы не имеете права так мне говорить: я под судом, но я не осужден, и вам повторяю, что я показал правду, и не переменю

[1] Мемуары декабристов. С. 369.

ни единого слова из моих показаний». Обличитель опомнился и сознался в своей ошибке»[1]. Таким образом, при дефиците доказательств и голословности обвинений очная ставка превращалась в своего рода психологический поединок. Из описанного Граббе вышел с честью и победителем.

Как видим, уже в первой трети XIX века верховная власть в России признавала необходимость определенных гарантий для личности обвиняемого в процессе следствия и суда. Некоторые из них нам вполне знакомы, другие кажутся абсурдными. Однако нельзя не заметить, что чем опаснее было совершенное преступление, тем меньше заботились о соблюдении прав подследственного.

В заключение приведем еще один эпизод из «Записок» Санглена. Случай этот произошел, когда автор был принят М. Б. Барклаем-де-Толли на должность директора военной полиции вверенной ему 1-й армии, дислоцированной тогда в районе Вильно. Находившийся там Александр I, получив от берлинского обер-полицмейстера информацию о том, что в данной местности действует группа французских шпионов, поручил их поиск А. Д. Балашову (как министру полиции) и Я. И. де Санглену (как директору военной полиции) сепаратно. Санглен взялся за дело с присущей ему основательностью. «Я поручил трем моим чиновникам, — вспоминал он, — ходить каждый день по разным трактирам, там обедать, все рассматривать, выглядывать, и мне о том докладывать; виленскому же полицмейстеру Вейсу поручил строгое должное наблюдение за приезжими из Польши». В результате агенты де Санглена обнаружили «развязного поляка, со всею наружностью фронтовика, который не жалел шампанского и бранил Наполеона напропалую», представляясь, однако, сугубо штатским человеком. Сделав обыск на квартире не в меру разговорчивого

[1] Мемуары декабристов. С. 117.

кутилы, сотрудники военной полиции обнаружили в тайнике данные ему французским командованием инструкции, патент на чин поручика за подписью Наполеона, довольно большую сумму денег и статистические записки о стоящих в Вильне русских войсках. В этот момент де Санглену сообщили, что Балашов тоже нашел шпионов и уже представил их государю. Немало этим озадаченный Александр I провел проверку, в результате которой выяснилось, что желавший опередить соперника Балашов под видом шпионов представил императору нескольких обедневших польских шляхтичей-бродяг. «Это обыкновенная полицейская штука, — констатировал де Санглен, — схватить первых бродяг, выдать их за шпионов и отправить подалее, чтобы молчали»[1].

Как видим, несмотря на все предпринятые законодательные мероприятия — отмена пытки, осуждение вынужденных признаний и прочее, — во времена Александра I в России не удалось найти баланс между действительным «приведением преступления в полную известность» и описанной «обыкновенной полицейской штукой». Но и теперь, когда история формирования гражданского общества в России уже насчитывает около двух столетий, можем ли мы сказать, что рассказанная Я. И. де Сангленом история звучит несовременно?

[1]. Русская старина. 1883. № 3. С. 541 – 545.

«Дражал знатно от страху»

Маленький человек в Тайной канцелярии

Евгений Анисимов

В январе 1724 года в Тайную канцелярию, находившуюся в Петропавловской крепости, был приведен доносчик Михаил Козмин, о котором в протокольном журнале канцелярии было записано, что на вопросы генерала Ушакова он ничего не отвечал, «а дражал знатно от страху и как вывели его в другую светлицу и оной Козмин упал, и лежал без памяти, и дражал же, и для того отдан по-прежнему под арест». Пожалуй, это один из самых выразительных документов, свидетельствующих о реакции простого, обыкновенного человека с улицы, попавшего в политический сыск.

«Дражал знатно от страху» — именно в этом суть. В России XVIII века действовала довольно жесткая и жестокая система Великого Государственного страха, которая образовывала вокруг каждого человека множество реальных и фантомных опасностей, среди которых и протекала его обыкновенная жизнь. Естественно, система Государственного страха возникла не при Петре (он ее лишь усовершенствовал). Она была порождена всей предшествующей историей Московского царства и обусловлена множеством причин и обстоятельств, непосредственного отношения к политическому сыску порой не имевших. Речь идет о системе самодержавной власти, отрицающей договорные отношения подданства, об отсутствии в стране частной собственности, об «осадной психологии» православной самоизоляции, да и просто об особенностях системы управления огромной страной.

Рассматривая, например, законодательство о службе, землевладении, торговле XVII века, замечаешь, что почти каждый издаваемый указ или наказ содержит норму материального поощрения доносительства в отношении нарушителей этого конкретного закона. И в этом смысле донос входил непременным элементом в систему контроля за исполнением законодательства. Возможно, в России иной, лучшей формы государственного контроля и не было: управлять в ней можно было только при помощи страха и доноса — вероятный нарушитель закона должен бояться доноса, а вероятный доносчик должен знать, что его поощрят за «правильный» донос в виде части поместья нарушителя или его денег.

При этом нужно помнить, что все это происходило в обществе, жившем в атмосфере тотального насилия над личностью. Современные юристы справедливо пишут о функционировании в XVII – XVIII веках практики «раздачи боли», при которой телесные наказания были обыденной нормой и касались буквально всех сфер личных, семейных и общественных отношений. От кнута не был избавлен ни простолюдин, ни боярин, ни (как выяснилось при Павле I) полковник гвардии. Несомненно, Россия, по крайней мере до екатерининской эпохи, представляла страну сплошь поротых людей.

Система Государственного страха влияла на особенности менталитета русского народа, его характер. Одновременно сам национальный характер народа благоприятствовал системе страха и насилия, навязанной деспотической властью русских царей. Эта система насилия и доносов не встречала в народной толще сопротивления или хотя бы скрытого саботажа. В этом смысле Екатерина II, в глубоком патриотизме которой нельзя сомневаться, справедливо писала, что русский народ «неблагодарный, наполненный доносчиками». Действительно, материалы политического сыска раскрывают бездну общественного порока. Ка-

жется, что доносчиками были все без исключения, а случаи жертвенного, христианского поведения встречаются крайне редко, да и то они относятся, как правило, к старообрядцам.

Теперь об упомянутой Екатериной «неблагодарности». При отсутствии элементарных гражданских начал русское общество того времени не было и сугубо патриархальным. Поразительно устойчивой и дружной недоброжелательностью или равнодушием встречал народ почти все действия своих государей. В сознании народа почти все они были лишены харизмы, являлись «подмененными», «шпионами», «выблядками», «гулящими девками» и т.д. Ни один государь, кроме, пожалуй, явных мучеников — убитого собственной женой Петра III да сидевшего всю жизнь в тюрьме Ивана Антоновича, — не вызывал «харизматического чувства» русского народа. Материалы политического сыска позволяют прийти к выводу, что, несмотря на характерное для народа царистское мировоззрение, династия Романовых с самого начала ее власти не имела харизмы, не пользовалась доверием народа. Я думаю, истоки этого, во-первых, в том, что Михаил Романов был выбран на царство Землей, и, во-вторых, в автохтонности династии Романовых. Мы знаем, какую огромную роль играло происхождение от иностранных предков в системе ценностей дворян того времени — уж если у тебя нет предков из выезжих прусов, или ты не из Лукки, то скажи, что предки твои хотя бы из знатных татарских мурз! То, что на престол сел один из многих своих кандидатов, резко понижало авторитет его власти. Добавим к этому, что 75 лет XVIII века на престоле сидели вдовы и девки, и, как свидетельствуют материалы Тайной канцелярии, русского простого человека раздирало противоречие: с одной стороны, государыня — земное божество, а с другой — она же баба, да еще без мужа. Поэтому после праздников в сыск, бывало, приводили людей, провозглашавших тост: «Виват государыня, хотя она и баба!»

Все эти и другие условия и обстоятельства благоприятствовали возникновению и эффективному функционированию системы Государственного страха, которая и пригнала Михаила Козмина в Тайную канцелярию, или, как тогда говорили, «Стукалов приказ», но долго не давала ему разжать сведенные страхом зубы. Из опасностей и фантомов, окружавших простого, нормального, а значит, пьющего человека из народа, можно выделить несколько важных элементов, которые определяли стереотипы его поведения. Во-первых, это было отчетливое сознание висевшей над всеми неотвратимости, неизбежности участия в политическом процессе. Если люди присутствовали при совершении государственного преступления, которое обычно выражалось в «непристойных словах» о государе или о власти вообще, то все они (независимо от их количества — бывали дела, по которым арестовывали несколько десятков людей, известны истории об аресте целых монастырей или крестьянского схода) подпадали под юрисдикцию сыска. Почти сразу же все оказывались в одной из трех предложенных властью ролей: либо в роли изветчика (доносчика), либо в роли преступника (ответчика), либо, наконец, в роли свидетеля. Трудно здесь даже сказать, кому было хуже, ведь свидетель того времени — это тот, кто присутствовал при преступлении, но первым не донес (не стал доносителем). Причина недонесения рассматривалась особо с целью установить, не виноват ли свидетель в преступлении, называемом «недонесение о государственном преступлении». Неслучайно свидетели сидели в тюрьме в течение всего процесса. Поэтому часто бывало, что произнесение «непристойных слов» вызывало в толпе или за праздничным столом панику, люди, бросая все, стремились скрыться, чтобы спастись от участия в процессе. Это происходило в том случае, когда произнесение табуированных «непристойных» слов происходило неожиданно и сидевшие рядом товарищи не успевали зажать пре-

ступнику рот или прервать его начавшиеся излияния насчет государя резким выкриком (в документах сыска для обозначения этого эпизода обычно употребляли эвфемизм «Полно, дурак, врать!»).

Страх стать участником сыскного процесса в любом качестве сочетался с огромным, всепоглощающем страхом маленького человека стать жертвой ложного, умышленного, порой неспровоцированного доноса. Материалы политического сыска позволяют утверждать, что доносы с корыстными целями, из желания навредить людям, порой близким, были весьма распространены, охватывали все группы населения, включая детей. Дворовые подслушивали ночные разговоры супругов-помещиков в постели. Солдаты доносили на офицеров, офицеры — на солдат. Доносы из мести и зависти в семьях, среди соседей, сослуживцев были так же распространены, как и доносы приговоренных к казни преступников во время исполнения экзекуций. Можно с полной уверенностью сказать, что доносчики, преимущественно добровольные, были везде. Многие следственные дела позволяют точно установить обстоятельства доноса, представить себе, как доносчики сидят со своими жертвами на печи, на завалинке, в туалете, как они, перегнувшись через перила крыльца или через стол, прислушивались к тому, что тихо рассказывает один человек другому. Кажется, что опасность стать жертвой доноса подстерегала каждого человека повсюду, особенно если начиналось застолье. При этом из дел Тайной канцелярии следует, что люди прекрасно знали о потенциальной опасности доноса, о том, что доносы поощряются властью, но тем не менее отважно и безрассудно произносили роковые «непристойные» слова, за которые их потом пытали, казнили, безвозвратно ломали их жизни. По-видимому, так устроена природа человека. Чем страшнее была угроза перед лицом сыска, чем сильнее накапливалось, нагнеталось внутреннее психологическое давление в человеке разных видов страха, тем сильнее происходи-

ло неизбежная разрядка, психологический взрыв, тем безобразнее было ругательство в адрес государя, тем непристойней был жест при упоминании его имени. И тогда, как говорится, человек «срывался с катушек» и черными словами поносил окружающих, государя, Бога и весь свет. Большинство «непристойных слов» произносились в состоянии аффекта, ссоры, спора, истерики. Кроме того, как человек ни опасался, как он ни боялся стать жертвой доноса, слишком сильно было искушение позлословить о властях предержащих, посплетничать о нравах своих правителей в узком кругу приятелей, собутыльников, за общей трапезой, за выставленным штофом водки.

Однако произнесение непристойных слов тотчас меняло положение людей, ставило перед каждым из участников происшедшего дилемму, подчас мучительную, запускало механизм новых страхов. В 1735 году некто Михалков донес на нескольких своих товарищей о непристойных разговорах в кабаке о близости императрицы Анны и Бирона. На допросе в Тайной канцелярии он сказал, что долго (два месяца) колебался, но потом, «собрав мужества», решил донести. И он объяснил причины доноса: во-первых, боялся, чтобы кто-то другой не опередил его и не сделал его соучастником преступления (т.е. недоносчиком), и, во-вторых, ему предстояло исповедоваться у приходского священника, и на исповеди он как православный не смог бы скрыть от духовного отца происшедшее. А, согласно закону 1721 года, священник был обязан под страхом смерти раскрывать перед сыском тайну исповеди своего духовного сына, если в исповедальном признании содержался состав политического преступления. Таким образом, Михалков оказался перед типичной дилеммой русских людей многих столетий: либо повторить иудино преступление, либо нарушить закон... Впрочем, Михалков и так уже нарушил закон, который предписывал доносить о преступлении не позднее чем через три дня.

Далее здесь можно очертить целый круг страхов и опасений доносчика, то есть человека, который решился (из чувства патриотизма, но чаще со страха или со зла) донести. С началом следствия он понимал всю сложность своего положения. Во-первых, он должен был в точности воспроизвести сказанные преступником «непристойные слова», которые вначале записывали в документах «слово в слово», а затем переводили в эвфемизмы. Отход от первоначальных показаний, всякая попытка их уточнить рассматривались сыском как злостное преступление. Во-вторых, он должен был предоставить свидетелей, которые должны были подтвердить обвинение в той редакции непристойных слов, какую дал доносчик. Если девять из десяти свидетелей эти слова подтверждали, а один — нет, то вся работа доносчика шла насмарку. Он становился равнозначным участником процесса наряду с обвиненным им. Их начинали поочередно «перепытывать», и тогда все решали воля, здоровье и терпение человека, который ни в коем случае не должен был сойти с первоначальных показаний. В этом состояла суть правильного поведения подследственного или свидетелей. Однако простые люди, попав в застенок, при виде орудий пыток (а им устраивали своеобразную «экскурсию» по застенку) часто впадали в панику, начинали менять показания и тем самым губили себя. Часто бывало, что они, идя на донос, совершали элементарные ошибки, попадались в ловушки, которые им расставляли следователи, широко использовавшие шантаж, обман, провокацию, угрозы, ложные свидетельства, принцип злого и доброго следователя. В роли последнего часто выступал священник-исповедник. Вообще, в сыске работали опытные, знающие психологию простого человека люди. Недаром Екатерина II прислала для допросов Пугачева Степана Шешковского, который, по ее мнению, «умеет с простыми людьми говорить». Следователи XVIII века широко использовали внезапность, они могли ввести

скрывающего свой раскол старообрядца в комнату с иконой, чтобы посмотреть, не перекрестится он машинально двоеперстием. Они внимательно наблюдали за подследственными, как они «в лице меняются», особенно поощряли они взаимные ссоры и обвинения подследственных, выискивали их человеческие слабости, пристрастия. Одних напаивали вином, других держали неделю в полной темноте. Из одного дела видно, что доносчик сразу же отказался от своего доноса, как только увидел из окна, что в застенок провели его беременную невестку. При этом несомненно, что сыскной процесс в XVIII веке сохранял элемент состязательности, полностью утраченный позже. Поэтому, в принципе, если за следствием не стояло целенаправленной верховной воли уничтожить человека, он мог еще выпутаться. Но обычно простолюдину это было не по силам. Особенно плохи были его дела, если он пытался сослаться на высшие, потусторонние силы, дававшие ему некие знаки. Сыск XVIII века отличался особым цинизмом, неверием, прагматизмом. Если в XVII веке обвиненному в колдовстве человеку не давали напиться из ковша, чтобы он, не дай Бог, не нырнул в воду, то рационалистический XVIII век смеялся над всяким упоминанием видений и чудес. Такого медиума сразу же подвешивали на дыбу и задавали четыре главных вопроса, которые обращали ко всем подследственным простолюдинам: с какого подлинного умысла и намерения ты это говорил? Кто тебя подучил это говорить? Не имел ли ты с кем в том согласия? Кому ты об этом еще говорил?

Выше сказано о дрожавшем от ужаса доносчике Михаиле Козмине. Его приказали посадить под арест, в тюрьму Тайной канцелярии. Ушаков знал свое дело, человеку нужно было пообвыкнуться, обнюхаться, обтерпеться. Неслучайно тюрьма в Преображенском в конце XVII века называлась «беда» или «бедность». «Попасть в беду» означало быть арестованным. (Непонятно, какая связь между привычкой и «бедой».)

Переступив порог «беды», будучи «вкинут» в тюрьму, человек менялся: мир представлялся теперь иначе. Оказывалось, что сыск выглядел особенно пугающим снаружи. Многие страхи, которые мучали простого человека за пределами «беды», внутри тюрьмы притуплялись и даже исчезали. Он ощущал, что попал в некую машину, длящийся процесс, на него распространяется общая для всех колодников процедура. С томящей душу неизвестностью внутри тюрьмы было покончено. Машина сыска, раз захватив человека своими зубцами, втаскивала его в свое нутро и медленно волокла по всем кругам ада, который совсем не напоминал библейский ад, а был формой привычной, будничной, бюрократической процедуры, где участники ее (следователи, подследственные, охранники) как бы делали некое общее дело. В этом смысле аналогии с художественными образами Кафки напрашиваются сами собой. Из журнала Тайной канцелярии от 24 января 1724 года следует, что в 10 утра Петр I прибыл в Петропавловскую крепость, где во дворе уже стояла партия приговоренных к смертной казни по делу обер-фискала Алексея Нестерова. Их должны были вести к эшафоту на Троицкой площади, чтобы казнить. Среди приговоренных к лютой казни колесованием был и фискал Ефим Санин. «И Е.и.в. изволили ево, Санина, спрашивать о делах артиллерийских и потом указал ево, Санина, с протчими колодники вести ко экзекуции на площадь». Но у эшафота царь передумал и решил разговор с Санином о делах артиллерии продолжить, и велено «с Троицкой площади по указу Е.и.в. оного Санина послать под караул в прежнее место понеже ему, Санину, того числа экзекуции не будет». Санина казнили через пару дней, после нового разговора с царем.

В сущности, для простолюдина жизнь в тюрьме и за ее пределами мало чем различалась — те же грязь, вши, насилие. В общих камерах сидели люди, прошедшие разные степени процесса, поэтому между ними

шел активный обмен опытом. К тому же непреодолимого барьера между тюрьмой и свободой не было. Доступ посторонних в камеры был почти открытым, охрана продажна, за деньги можно было получить все — от чернил и бумаги до женщины включительно, перед пыткой можно было выпить наркотический притупляющий боль настой, после пытки же получить от опытных товарищей первую медицинскую помощь, да еще пошутить, когда спросят, хватит ли в застенке горящих веников, чтобы «спину попарить». В колодничьей палате возникало тюремное сообщество, был свой голова, «общак» — касса, известно, что с новых узников брали вступительный взнос — «влазные деньги». Охрана в колодничей палате не менялась месяцами. Узники и охранники — простые солдаты — были людьми одного социального и культурного уровня, общего круга интересов. Круглосуточное пребывание вместе, общая трапеза, походы на цепи в нужник — все это способствовало завязыванию между охраной и заключенными мирных и даже дружеских отношений. Известны случаи, когда охранник и «хозяин» (так называли политических заключенных) в нарушение инструкций вместе ходили в баню или в гости за пределы крепости. Кажется, что солдаты охраны смотрели не столько за узниками, сколько за тем, чтобы внезапно не нагрянул дежурный офицер, — в колодничьих палатах по ночам шли большая карточная игра, тараканьи бега, игра в кости. При этом охранники получали свой процент с кона. Словом, все это способствовало адаптации узников-простолюдинов к новым, а в сущности, знакомым и за пределами тюрьмы условиям жизни.

При ближайшем рассмотрении и сам страшный со стороны сыскной процесс представлял собой рутину (если, конечно, в него не вмешивалась самодержавная воля). Скрипучая его машина месяцами стояла (пока заживали у подследственного раны от пыток), потом вновь приходила в движение. Бюрократиче-

ские начала оформления следственных документов отливались с годами в делопроизводственные сыскные штампы, формулы и эвфемизмы. Несмотря на то что подлинные записки с составом преступления (то есть с произнесенными матерными словами) уничтожались, исследователь может понять, что применный к государыне эвфемизм «греб» ведет к порке кнутом и ссылке в Сибирь, а эвфемизм «греб-перегреб» пахнет эшафотом. Практика расследования выработала процедуры допросов, стереотипы ответов на задаваемые вопросы. Я выделил шесть-семь таких стандартных ответов на вопрос, почему человек произносил «непристойные слова». Лучшими признавались ответы: «говорил то спьяну, а не с умыслу», «сказал от косности языка, не выговоря то молвил», «затеял сам собой со злобы», «сказал сглупа, спроста, не подумав», «говорил в забытьи», «говорил то, не стерпя побои». Во всем этом следовало занять ожидаемую позу смирения, покаяния, придурковатости. Выйти из застенка с высоко поднятой головой было нельзя. Вот почему так свирепо пытали старообрядцев, а самых стойких государство, как разбойник, убивало в камере и спускало ночью под лед Невы...

...Но вот наступал день, когда из присутствия канцелярии в колодничью палату приходил подьячий, читал приговор и вчерашний приятель-охранник вел своего «хозяина» на грязный рынок Обжорку на казнь. Многие иностранцы со времен Горсея до Кюстина отмечали будничность русских казней, спокойствие, с которым шли на казнь приговоренные, равнодушие, с которым встречали смерть. Наиболее проницательные из путешественников видели причину подобного равнодушия в особенностях русского православия, устремленного не на жизнь, а на страдания и смерть (Христос терпел, и нам терпеть велел!), а также в том, что мучительная жизнь в этом мире рабов не делает смерть уж такой страшной и нежеланной. Мир тюрьмы, застенка и мир свободы были

во многом схожи. Да и что это была за свобода на той стороне Иоанновского моста? В документах первой половины XVIII века мне встретились три, как кажется, весьма выразительные формулы русской свободы: «Жить ему в деревнях своих свободно без выезда», «Человек вольный с указным пашпортом» и, наконец, «Жить ему под вольным караулом». В общем, все, не сидевшие в тюрьме, не состоявшие на службе, не записанные в тягло, не принадлежащие помещику, так и жили. Довел ли свой донос доносчик Козмин, мы не знаем, возможно, это ему удалось, и он получил за достоверный донос положенные по закону пять рублей. Выйдя из крепости, он наверняка их пропил в «Аустерии четырех фрегатов»...

«Надзор за правильным течением жизни»,

или Охрана общественного порядка в провинции

Галина Плещева

Охранять обывательский покой и вести борьбу с криминальными наклонностями отдельных горожан властям приходилось на самых начальных этапах возникновения промышленных поселений. Уральские города-заводы строились быстро, методами жесткими. В краткий, отведенный природой срок, пока не окаменела от мороза земля, надо было «затворить» плотиной реку, возвести заводские фабрики, казармы. Екатеринбург не был исключением. На его строительстве работали солдаты Тобольского полка, крестьяне приписных слобод, вольнонаемные. Работали по 12—14 часов. От нечеловеческих тягот часто бежали. Глава горной администрации, европеец В. И. Геннин писал в Петербург: «Солдат много бежало на воровство на Волгу. Которые пойманы — приказал перевесить».

На первых порах побеги с работ — достаточно серьезный сегмент правонарушений в городе. Среди других видов преступлений — незаконное винное курение, продажа «воровской» соли, драки и «смертные убийства», случавшиеся, как правило, в состоянии опьянения. Хотя уже тогда в допросных листах зафиксировано, что «пьянство никого не извиняет». В городе и его окрестностях случались кражи лошадей, личного имущества, заводского железа. В июльских 1728 года протоколах Сибирского обер-бергамта, обосновавшегося в самом центре Екатеринбурга, имеются сведения о деле рекрута Бориса Кузнецова

и барабанщика Агафона Сунгурова, обвинявшихся в «просеке палашом головы» у лудильного подмастерья Ильи Углева. С обвиняемых было взыскано «за увечье и бесчестье 18 рублев». Однако некоторое время спустя лудильщик подал «прошение», что «де с оным Кузнецовым он помирился», и после уплаты пошлин дело было закрыто. Школьник Феоктист Балакин, как явствует из протоколов, провинился в «держании письма о присушке девок и баб». В «блудном воровстве» с гулящим Семеном Носковым обвинялась крестьянская вдова Ирина Силина. Рассматривалась на заседании обер-бергамта и челобитная крестьянина Корнила Бородулина «о порче икотною болезнию», в чем заподозрили «сноху Кадникова Степаниду и подворницу его Ографену». Баб посадили в тюрьму, после чего и сами они два дня икали, но солдат Киргинцов «пристращал их палкою, и от того они перестали».

Формы наказания в те времена были достаточно простые и действенные: битье батожьем, кнутом, плетьми, кошками, посылка на заводы, что, по сути, можно было приравнять к каторге: во время руководства горной частью В. Н. Татищев просил Петербург приговоренных к галерам присылать на Урал «в заводскую работу». Уличенных «в блудном воровстве» могли приговорить к публичному церковному покаянию. Высшая мера наказания — повешение. Лица благородного происхождения «живота лишались аркибузированием», то есть подлежали расстрелу. Но смертные приговоры необходимо было согласовать с высшим руководством. По делам «учинялись экстракты» и отсылались в Государственную берг-коллегию, из которой потом долго ожидались указы — дороги в России дальние.

Следственные мероприятия были также достаточно незамысловаты. Многие протоколы дознаний начинаются с фразы: «А в роспросе и с пытки говорил...» И далее — кто и сколько украл лошадей, железа, продал «воровской» соли, в каких грабежах и

смертоубийствах участвовал. Были на допросах особо отчаянные — тогда в протоколах появлялась запись: «И с пытки оный Парначев не винился».

Это позже начнутся очные ставки, поиск улик, анализ свидетельских показаний. На начальных этапах городской истории устанавливался факт преступления, далее следовали привод в земскую контору и допрос. Для работы полиции тех времен очень характерен следующий эпизод: в субботу, 10 января 1736 года, к екатеринбургскому полицмейстеру Зубову явились разгневанные дочь мастерового Фекла Морозова с мамашей, которая, «приступив к судейскому столу, где он, поручик, присутствовал, стала кричать и невежничать, и он, поручик, не стерпел того ее крика и нахальства, толкнул ее от себя в плечо, чтоб от него отступила дале и просила искусно, как водится в судах, только в сердцах молвил, что она неискусно просит, отойди-де от меня, курва, прочь, перестань кричать и нахалить». После расспроса потерпевших и свидетелей выяснилось, что Фекле, «сидевшей на базаре за калачами», сын крестьянина Ивана Белого Стефан бросил в санки головешку. Работница торговли обидела мальчугана словесно, сказав, что он «курвич и мать и сестра его курвы». Вообще эта Фекла была очень невоздержанна на язык: бабы говорили, что она «на базаре матерны бранится и уже смрадной ея брани слышать невозможно». Заступиться за сынка явился сам И. Белой и оттаскал обидчицу за нос, притом «скверно всячески бранил» ее и мать ее Овдотью, после чего вся компания и встретилась у полицмейстера. Разобрав дело, Зубов сказал виновникам происшествия: «Лутче вам помиритца», — и вышел из полиции. Овдотья с Феклой подумали, «поклонились ему, Белому, в ноги и просили в вине своей прощения при дневальном капрале Савелье Каблукове, и он, Белой, с ними помирился и поцеловался и разошлись по делам». Конфликт был исчерпан, и дело об административном правонарушении закончилось, не начавшись.

На первых порах полицейские функции в Екатеринбурге исполняли солдаты драгунской и пехотной рот. Помимо охраны правопорядка драгуны привлекались к расчистке дорог, отправке донесений, поиску раскольничьих скитов, конвоированию арестантов, ссыльных, которые «употреблялись в чрезвычайные заводские работы». Была и забавная функция: надзирать, не бродит ли чей скот по заводу, поскольку горным начальством предписано «здешним жителям лошадей, коров, овец, коз и свиней держать во дворах своих за запором. Ежели же чей скот будет по заводу ходить, тому учинено будет жестокое наказание» — штраф, причем одна половина поступала в богадельню, а другая — драгуну. В то время уже одно появление представителя власти в синем, с красными обшлагами мундире, сшитом из купленного на Макарьевской ярмарке сукна, безусловно дисциплинировало население и заставляло оперативно определяться с местонахождением своих домашних животных.

К 1740-м годам полиция Екатеринбурга была уже обособлена, действовали земская и судная конторы. Офицерам помимо полицейских дел вменялось в обязанность «охранение» всех заводских строений от огня.

Вообще, в стародавние времена екатеринбургский обыватель боялся двух вещей: воров да пожаров. Чтобы уберечься от тех и других, екатеринбуржцы выставляли от дворов караульщиков, «дабы когда драка учинится или какой вор побежит, тогда б караульщики оного поймать могли», ну, а если огонь полыхнет — «скоряя сбежаться и потушить» посредством «водоливных труб, войлочных щитов, парусов, топоров, ведер и иных приспособлений».

По распоряжению Пермского губернского правления от 27 апреля 1792 года положено было иметь «в здешнем городе Екатеринбурге ночных сторожей в каждой части по двенадцати, во обоих — двадцать четыре» и по одному «огнегасительному мастеру» в ка-

ждой части города. При полиции хранились «пожарные орудия», сама же «градская полиция» состояла из двух квартальных (жалованье — 150 рублей в год), старшего и двух младших приказных. В штат полиции в те времена входили и два трубочиста с жалованьем 36 рублей в год. Содержалась полиция «на щет обывателей, с коих, на сие по добровольному их согласию, собирались поземельные деньги». В 1803 году эта статья городского расхода составила 1790 рублей, включая закупку канцелярских принадлежностей, дров, свечей и наем двенадцати десятских. Нелишне напомнить, что в Екатеринбурге в это время проживало 3892 души мужского пола, пуд говядины стоил 80 копеек, а пуд ржаной муки — 46 копеек, так что должность пристава или квартального была заметной и прибыльной.

Именно они занимались расследованием наиболее сложных дел. Так, 25 января 1802 года частный пристав Чехонин был откомандирован от полиции «сделать обыск в Шарташской деревне у крестьянина Михаила Баглаева — не найдется ли у него к деланию фальшивых ассигнациев каких-либо приуготовлениев». И «приуготовления» были найдены: «сумнительная бумага, кисти, тертые чернила и лощильной зуб», в связи с чем ратман Калашников препроводил фальшивомонетчика под караулом в острог, и судьба его после недолгого расследования была решена, о чем донесли «екатеринбургскому городничему седьмого класса» Андрею Лисовскому.

В случаях экстраординарных, таких как убийство берггауптмана О. Меджера или ограбление чиновника Моторнова, создавались особые следственные комиссии и возглавляли их чиновники достаточно высокого уровня: происшествием с поступившим на российскую службу Меджером, активно скупавшем, по показаниям свидетелей, золото, занимался главный лесничий уральских заводов И. И. Шульц.

Однако столь значительные уголовные дела были в те времена не часты. Черновая работа по «со-

хранению между жителями города мира, тишины и доброго согласия» падала на десятских (один на десять дворов) со строгим предписанием от Думы, «дабы каждый за своим десятком накрепко смотрел», да на караульщиков, обходивших с трещотками темные ночные улицы. Фонарей тогда не водилось, правда, в «высокоторжественные дни вместо сказанных фонарей содержали обыватели особый свет в окнах на улицу, посредством поставления свечей».

В ночные сторожа «употреблялись по очереди» — в каждой полицейской части была заведена книга, которая «содержалась открытой, дабы всякий хозяин, если захочет, мог видеть свою очередь». Когда подходил срок, домохозяин или нанятый им человек в 11 часов вечера заступал на охрану общественного порядка, которая продолжалась до «пробития зори» — именно в это время «на концах улиц» поднимались «шлагбоумы», сооруженные «для лутчего способа к пойманию и пресечению проходов воровских и протчих непотребных людей». При этих «шлагбоумах» стояли и караулы — три человека с дубинами, окованными железом. В некоторых местах проходы были загорожены рогатинами. Нельзя сказать, что по ночам не спали только «непотребные люди». Городские власти предписывали «отворять рогатки и чинить пропуск» знатным людям, докторам, священникам, повивальным бабкам и посыльным от командиров или господ. Пропускались за шлагбаумы и крестьяне близлежащих деревень, приезжающие на городской рынок с возами продуктов.

Чтобы караульные имели «от дождя и снега некоторую защиту», были «учреждены будки» — рубленные из дерева шестиугольные сооружения — 4 аршина в высоту, каждая стена в два аршина, с дверью и «одной окончиной». «В осенних и зимних месяцах» в кирпичных камельках разводился огонь, заходили караульные, садились на лавки, отогревались. «В рассуждении обширности здешнего города» было

построено семнадцать будок с двадцатью четырьмя рогатками: у дома купца Мокрушина, у огорода священника Александра, у Ольховской батареи, пониже разгуляйского питейного дома и у мельковского кабака, то есть в местах, где вероятней всего было появление «озорников и безчинников» и других «черного класса людей, подверженных буйству».

Оборудованием полицейских сооружений занимался впоследствии известный екатеринбургский архитектор М. П. Малахов. В 1828 году он составил планы и сметы «на построение в городе двух каменных караулен» при соляных и хлебных «магазейнах», тридцати деревянных будок, четырех деревянных кордегардий и трех съезжих домов стоимостью 38 109 рублей 15 копеек. К этому времени ежегодное содержание полиции дошло до 13 700 рублей. Случались и значительные дополнительные расходы: покупка лошадей, пожарного инструмента, ремонт и строительство новых «караулен и платформ при остроге», в котором содержались «под войсковой стражей свои и пересыльные колодники». Местных «озорников и безчинников», как правило, свозили на съезжую — особое помещение при полицейской части города.

Помимо своза на съезжую была еще одна форма борьбы с криминальными наклонностями горожан, которые жизнь свою «вели в распутстве, обращаясь в пьянстве и других невоздержанностях». Несколько екатеринбуржцев, особенно допекавших добропорядочных граждан, были однажды «выбраны в зачет за общество в военную службу». Решение это екатеринбургские посадские и цеховые вынесли «будучи в собрании со общего своего согласия», отметив, что с некоторыми непутевыми даже жены «вместе не жительствуют», а Силина Анна от своего мужа вообще «находится в бегах». Собрание нашло, что новые рекруты «корпусом все здоровы и к военной службе никаких препятствующих причин не имеют». Правда, пришлось заплатить «за покраденную Николаем

Заняловым шубу — 1 рубль 40 копеек» и вернуть рубль сержанту Бабушкину, который неосторожно дал в долг Сергею Бронникову. На радостях обществом было также куплено вина «на подчивание родственников» на 2 рубля. На этом траты кончились, новобранцы были отправлены в Пермскую комендантскую канцелярию, и город вздохнул облегченно.

Помимо уголовных дел полиция занималась злостными неплательщиками и должниками. Занял, к примеру, непременный работник Соколов у шихтмейстерши Настасьи Пивоваровой 116 рублей государственными ассигнациями и не отдает. Та пишет заявление по всей форме, и к непременному работнику являются представитель полиции и оценщик. Описывается все имущество — от коровы с отпиленными рогами до «нанкового халата и желтых бараньих шеровар», и «вещи сии на означенную сумму» передаются Пивоваровой.

При знакомстве с рапортами частных приставов в Городскую думу бросается в глаза отсутствие сколько-нибудь значительных уголовных преступлений в Екатеринбурге в середине XIX века. Наиболее типичными были такие происшествия: «удавился брат Никанора Коробкова — Василий, пятидесяти лет», или «между Бульварной и Луговой улицей найден замерзший от опьянения мастеровой Екатеринбургского монетного двора Сильверст Плотников, тридцати девяти лет». Вот, пожалуй, самое страшное: рядовой третьей роты Оренбургского полка Михаил Башмаков, явившись в часть, сознался в убийстве мастерской девки Уктусского селения, в лесу по Сибирскому тракту, близ солдатской мишени. Но с девкой этой у Башмакова была «любодейная связь», и жизни он ее лишил наверняка из ревности.

Практически отсутствуют в рапортах факты незаконной продажи золота, драгоценных и полудрагоценных камней, хотя то, что они имели место и иногда, как в случае с убийством Меджера, в довольно круп-

ных размерах, не подлежит сомнению. По воспоминаниям современников и путешественников нередки были случаи обмана и фальсификаций на этой почве. В Екатеринбурге нечистые на руку обыватели не считали зазорным продать позарившемуся на дешевизну заезжему покупателю медную стружку вместо золота или обычный поделочный камень вместо геологического раритета. Бытует легенда, что даже великому А. Гумбольдту шустрый екатеринбуржец всучил стекло вместо топаза. Обман вскрылся, городская полиция сработала оперативно, но ученый, которого случай этот позабавил, не дал хода делу.

Особое местоположение Екатеринбурга, его роль как горного центра Урала, безусловно, повышали показатели правонарушений. Современники называли его «проходным двором, соединяющим Европу и Азию», через который следовали значительные обозы с товарами, транспорты с преступниками, где сосредотачивались массы рабочих в поисках заработка.

И в то же время нельзя сказать, что преступность захлестывала город. Не чувствуя реальной угрозы, власти не особо тратились на стражей порядка. Когда в 1884 году было проведено обследование материальной части полиции, оказалось, что ни у одного из сорока нижних чинов и четырех околоточных надзирателей, содержащихся на средства города, не было револьвера, а шашки имели «такой безобразный и плачевный вид, что едва ли могли считаться оружием». Городской голова И.И. Симанов распорядился заказать в Златоусте шашки драгунского образца по 5 рублей 25 копеек, сорок четыре револьвера по 8 рублей, приобрести сорок поясов с бляшками и оранжевые шнуры. Кроме того, решили «завести летние шапки (кепи), так как зимние летом тяжелы, а кивера, заготовленные ранее, никуда не годятся и изъяты из употребления законодательной властью, вероятно, по чрезмерной тяжести». Городские расходы на полицию в этом году увеличились на 928 рублей.

Не отличались особым комфортом и сами полицейские учреждения. По описи имущества, сделанной в 1906 году, в первой части г. Екатеринбурга оказалось восемь столов, десять стульев, пять шкафов, два дивана, кресло (видимо, для начальника), пять икон, двое стенных часов и два портрета государя императора. В арестантском отделении для отрезвления буйного народа имелось два ушата, три ведра да ковш для питья. На описи сделана отметка: «Вся мебель требует ремонта». Еще в части хранились двадцать девять шинелей для нижних чинов, мундиров, шаровар, фуражек, барашковых шапок, кушаков для мундиров и боевых ремней. Столько же было револьверов, а вот «боевых шашек» — только двадцать четыре. Шинели полицейским чинам выдавались на два года, а «другие вещи» носили год. На обмундирование выдавалось 25 рублей. Жалованье старшего городового составляло 275 рублей, младшего — 215 рублей в год, да еще за выслугу семи лет — 44 рубля. И хотя вместе с «квартирными» это было больше, чем у мастеровых, тем не менее «многие лучшие городовые, — как отмечал полицмейстер Г. И. Рупинский, — уходят на службу в уездную полицейскую или особую железнодорожную стражу». В обращении к городскому голове И. К. Анфиногенову он вынужден был признать, что «надзор полиции за правильным течением жизни оказался недостаточным в связи с большой площадью и народонаселением Екатеринбурга».

Перед Первой мировой войной в городе проживало более восьмидесяти тысяч жителей (без пригородов), с миром он был «связан семью железнодорожными путями», и путями этими пользовались не только благонадежные подданные империи. Особо неблагополучными в криминогенном отношении оказались памятные годы первой русской революции, когда у всех на слуху были ограбление Рязановской церкви, экспроприация денежных средств у кассира Верхисетского завода и еще череда убийств и покушений, вызванных революционным брожением умов.

Особо популярным в это время сделалось приобретение личных средств обороны. В прессе рекламировался «идеальный пистолет «Браунинг» с автоматическим самозарядчиком». В редком доме высокого и даже среднего достатка не хранились охотничьи ружья и револьверы «английских, американских, немецких и бельгийских фабрик», завозившиеся из Москвы с оружейных складов А. Биткова, А. Тарнопольского и вдовы Я. Зимина. И тем не менее основную ношу по обеспечению «правильного течения жизни» несли 21 старший и 87 младших городовых, ежедневно появлявшихся на улицах города, чтобы установить факт кражи 20 полотняных штор у дворянки Мицкевич, или пригласить в часть мещанина Илью Левикина, пристававшего к девице у Городского театра, или задержать едущего на извозчике по Северной и горланящего песни под гармонь Илью Жданова.

Чтобы облегчить работу «чинов наружной полиции», в Екатеринбурге летом 1916 года было сформировано временное сыскное отделение из чинов, эвакуированных по случаю войны с западных окраин империи. Начальником городского сыска стал Сушинский, ему подчинялись надзиратели И. Эрет и А. Житков. Любопытно, что в сводках Министерства внутренних дел столица Урала в это время не фигурировала даже в первой десятке, хотя криминогенную ситуацию нельзя было сравнить с той, о которой сообщал Городской думе екатеринбургский пристав в мае 1861 года: «Вторая часть имеет донести, что происшествий в течение первой половины сего месяца не было». Можно с уверенностью сказать, что после 1861 года такой рапорт не написал ни один полицейский города.

Кровавая барыня

Уголовное дело

Любовь Манькова

Можно ли погибнуть из-за небрежно вымытого пола или плохо постиранных вещей? «Что за глупость!» — воскликнет читатель. Действительно, звучит дико. Но тем не менее 138 женщин распрощались с жизнью за такую, казалось бы, мелочь.

Кто из нас не слышал о Дарье Николаевне Салтыковой — Салтычихе, кровавой барыне и «людоедке», как прозвали ее современники?! Но одно дело знать о ее существовании, и совсем другое — читать тома следственной комиссии.

Мучительница и душегубица

Медленно перелистываю пожелтевшие листы томов, исписанные убористым почерком, и каждый из них вопиет о невиданном злодеянии. Шутка ли: из 600 крестьян, принадлежавших Салтычихе, за 6 лет она собственноручно убила почти третью часть. Передо мной несколько страниц пронумерованных фамилий. В нем в основном женские имена. Вот лишь несколько примеров из траурного списка.

Аграфену Агафонову (№ 63) Салтыкова била катальною скалкою, а «конюхи били смертно палками и батожьем, отчего руки и ноги у нее были переломаны». Акулине Максимовой (№ 34) после битья «без всякого милосердия скалкою и вальком по голове» барыня жгла волосы. Прасковью Ларионову (№ 35) садистка после собственноручного избиения палкой и поленом заставила конюхов бить батожьем, крича

при этом в окно: «Бейте до смерти! Я сама в ответе и никого не боюсь, хотя от вотчин своих отстать готова. Никто ничего сделать мне не может». Несчастную забили до смерти. Конюх Роман Иванов и девка Аксинья Степанова повезли труп в Троицкое. На тело положили ее грудного ребенка, который по дороге замерз на трупе матери.

Девку Агафью Нефедьеву (№ 43) после скалки помещица била в спальне головой об стенку. Конюх Давид Иванов, отвозя тело Катерины Ивановой (№ 46), «видел от бою ноги опухлые и из седалища текла кровь». Жен конюха Артамона Шавкунова — Екатерину и Наталью (№ 66 и 67) — Салтыкова била железным утюгом, а потом «по приказанию ея бил муж батожьем и плетью». Одиннадцатилетнюю дочь дворового Антонова, Елену Васильеву (№ 73), она учила катальною скалкою по голове, затем столкнула с каменного крыльца.

Поводом к убийству служили плохое (с ее точки зрения) мытье пола или же некачественная стирка. Достаточно традиционными были и орудия убийства. «Наказывать» начинала она собственноручно скалкой, поленьями, палкой и вальком. Затем подключались конюхи и гайдуки, которые секли провинившихся розгами, батогами, кнутом и плетьми. Чаще всего Салтычиха заставляла это делать мужей да близких родственников. Но было и нечто новое для России, «некоторый род мучения, христианам неизвестнаго, как отметила следственная комиссия, употребила: разженными щипцами припекательными тянувше за уши и обливая голову горячею из чайника водою».

Марью Петрову (№ 13) Салтычиха начала избивать скалкой за нечистое мытье полов. Натешившись, она приказала Богомолову продолжить воспитание езжалым кнутом, а затем загнать ее (тем же кнутом) в пруд, где несчастную четверть часа продержали по горло в ледяной воде. После этого Марью снова заставили мыть полы, «но от таких побои и мученья мыть

уже не могла; и тогда ж она, помощница, била ту девку палкою, а оной гайдук бил с нею, по переменам, за то, будто б она ругается и пол мыть не хочет; и от тех побои та девка Марья в тех же хоромах, того ж дня, в вечеру, умерла, и из хором тот гайдук мертвое оной девки тело вытащил в сени». Поздним вечером Богомолов и Аксинья Степанова отвезли труп в Троицкое. По приказанию Салтыковой Богомолов сообщил священнику Степану Петрову, что смерть наступила от болезни. Но священник потребовал удостоверение в ее исповеди и причащении от духовного отца умершей. Салтыкова, приехав в Троицкое, приказала Богомолову зарыть тело в лесу, а «сама же во всю ночь ходила по хоромам со свечою смотреть: не ушел ли кто подглядеть, где похоронят в лесу». На следующий день она послала Зотову в Москву письмо с приказом подать челобитную о побеге Петровой, что тот и сделал.

Показания Салтыковой: *«В 1759 году, в октябре месяце, я оную девку, которая из Ветлужской вотчины, а которой деревни — не упомню, Марью Петрову, сама не бивала и никому бить ничем не приказывала; и в бытность мою в селе Вокшине, оная девка, по приказу моему, послана была в село Троицкое с гайдуком Федотом Михайловым (Богомолов) и с крестьянами, а с кем — не знаю; а по приезде моем в то село Троицкое, того ж дня, оной гайдук объявил мне, что та девка с дороги от него бежала, за что тот гайдук от меня и наказан был того ж числа, и о побеге той девки приказала словесно, а чрез кого — не помню, чтоб человек мой, Мартьян Зотов, записал явочное челобитье; и где та девка — я неизвестна, а о убийстве ее показано на меня напрасно».*

Заключение коллегии: *«...и сей девке Марье Петровой смерть действительно ей, Салтыковой, по ея явившимся в других случаях свирепостям, причитается, потому что: 1) явилась взята в дом ея из Унженской деревни; 2) все люди, а наипаче сообщница ея в таких худых делах, девка Аксинья, сходственно*

с доносом показала; 3) по многим вышепрописанным ея, Салтыковой, поступкам, явилось, что она бесчеловечные наказания употреблять обычай имела; как по сему делу битую жесточайше вогнать, почти и зимнее время, то есть в октябре месяце, приказала и воду, а потом заставляла опять мыть пол и называет ея изнеможение в том нехотением, и за то опять бить велела, а сия жестокость не инако, как смерть приключить и могла, к которому беззаконию и то приложила, что без исповеди и причастия в лесу зарыть велела. По ея прочим поступкам, Коллегия и по сему делу далее следовать за ненужное почитает, особливо, чтоб продолжения большого произойти не могло, но как наискорее правосудием дело было окончено».

Зимой 1760 года Салтыкова посчитала, что жена конюха Степанида дурно вымыла полы. В неистовстве она схватилась за полено... вскоре женщина повалилась на пол. Вид потерявшей сознание жертвы не насытил злость садистки. Она призвала мужа Степаниды и велела ему бить полумертвую жену розговыми комлями по рукам и по ногам. Бедняга не посмел ослушаться. Продолжение было традиционно: умирающую сносили в «заднюю палату», где пытались отпоить вином, чтобы хватило сил во время исповеди хоть что-то промычать. Если не удавалось привести в сознание, то следовала «глухая» исповедь и захоронение в селе Троицком. Степаниду исповедали по-глухому. При погребении присутствовал и муж, правда, под караулом, чтоб не мог уйти и объявить о преступлении.

Порой кровавой барыне недостаточно было одной жертвы. В ноябре 1762 года, когда Салтыкова находилась уже под надзором, Марина Федорова рассказала караульным, что помещица их бьет и мучит, морит голодом, заставляет в зимнее время в холодном покое мыть полы и отряхивать из оконниц голыми руками из платья пыль. Дворовый Мелентий Некрасов показывал, «что тех девок иных, в разные времена, ставливали на дворе босых». За месяц до признания

Федоровой Салтычиха в очередной раз оказалась недовольной трудом рабынь и произвела массовую казнь. Она приказала конюхам сечь розгами девок Марью (№ 37), Феклу Герасимову (№ 11), Авдотью Артамонову (№ 39), Авдотью Осипову (№ 40) и двенадцатилетнюю Прасковью Никитину (№ 38). Затем заставила их снова мыть полы, хотя они «и ходить на ногах не могли». Фекла Герасимова была едва жива: «волосы у ней были выдраны, и голова проломлена, и спина от побои гнила». Авдотью Артамонову после сечения «угостили» еще скалкою, а когда она упала, то Салтыкова приказала вынести ее в одной рубахе в сад. Но, видно, слишком долго не замерзала несчастная, и Салтыкова продолжила работу скалкой на свежем воздухе.

Когда священники отказывались хоронить, Зотов подавал челобитные: бежали и, где находятся, неизвестно. Сообщения властям о смерти, правда, могли иметь вариации: «в доме-де его помещицы такая-то женка или девка без покаяния умре, которая имелась больна и лежала в той болезни (горячке, колотьи, роже и проч.) столько-то времени и умерла» или: «такая-то женка или девка тогда-то занемогла и для исповеди ея звал приходский поп, но приходом своим умедлил; а у означенной женки или девки язык притупе, и он-де, священник, исповедывать и причащать не стал, и она без исповеди умерла». О девочке Елене Васильевой (№ 73) Зотов объявил, «что она шла из палат в передния сени, и невем каким случаем с крыльца упала и расшибла лоб до крови и в скорости умре».

Бывало, что убивала Салтычиха и мужчин. В 1761 году в Великий пост гайдук Федор Иванов, отданный под надзор старосты села Вокшина Григорьева, ушел из-под караула. Григорьева привезли в Троицкое, где тогда жила госпожа. Сначала неисправного караульщика попеременно драли кнутами и батожьем четыре конюха. Когда несчастный едва дышал, Салтычиха приказала отложить экзекуцию. Спустя три

дня, когда силы старосты восстановились, его привели к хозяйке, которая приказала конюху Артамонову бить Григорьева кулаками по скулам и щекам. К утру староста умер в сарае.

Кровавая барыня находила особое удовольствие привлекать к убийствам родственников. Особенно не повезло конюху Ермолаю Ильину, трижды ставшему вдовцом. Во время следствия он показал, что «по приказу помещицы, многих, взятых из разных деревень во двор, девок и женок бивал, во время чего и сама она, помещица, сверх их побои, тех же бивала, которые от тех побоев вскоре и умирали, но всех по имянно, которая тогда бита, и после того, в какое время умерла и где каждая похоронена — того точно показать не может. А что она, помещица, ему, Ильину, так часто приказывала многих девок и женок бить и при том и сама их смертно бивала, и те девки и женки от таких ея смертных побои помирали, — о том он, Ильин, нигде не объявлял и не доносил, убоясь оной помещицы своей, а более того, что и прежние доносители: женка Василиса Нефедьева, Федор Иванов Сомин и Федот Михайлов Богомолов наказаны кнутом; то ежили б и он, Ильин, стал доносить, также ж был истязан или еще и в ссылку послан, чего опасаясь и не доносил».

Последнюю его жену, Федосью Артамонову, помещица убила традиционно: скалкой и поленом. Когда стало ясно, что жертва скоро умрет, ее снесли сверху в «заднюю палату», но «отливание» вином не помогло, и приходской священник Иван Иванов застал Федосью мертвой. Он отказался ее хоронить. Салтычихе пришлось отправить труп ночью в Троицкое, которое отдали старосте Ивану Михайлову. Мужу она приказала похоронить жену, предупредив: «Ты хотя и в донос пойдешь, только ничего не сыщешь, разве хочешь, как и прежние доносители, кнутом (быть) высечен».

Показания Салтыковой: *«Оных женок до смерти не убивала и их них к Аксинье Яковлевой приходского попа исповедывать не приказывала, и ту женку*

хотя за вины и приказывала людям, а кому — не упомню, в разные времена наказывать розгами, точию умеренно, а смертных побои ей чинимо не было и сама ее ничем никогда не бивала. А в 1761 году, летом, а в котором месяце и числе — не упомню, в бытность мою в селе Троицком, оная женка Аксинья, с прочими бабами, пришла пешком в то село и жила при мне с мужем своим; а как я в осень из того села поехала в Москву, то оная женка осталась здоровая. А муж ея Ермолай Ильин приехал со мной в Москву; и в том же году, зимою, а которого месяца и числа — не упомню, оный муж ея просил меня, чтоб отпустить его в село Троицкое к ней, жене, объявляя, что она больна при смерти, и исповедывана, и причащена. Для чего он и был отпущен; а приехав оттуда, объявил, что она умерла и погребена в том селе попом Петровым при нем, Ильине, при чем была и мать его, Ильина, женка Дарья Абрамова». В ноябре 1766 года Салтыкова к этому показанию прибавила: *«Женка Катерина Семенова взята мною была и при мне имелась; но во время произнождения обо мне следствия в юстиц-коллегии, будучи больна долгое время, умре и погребена в Москве; а Федосья Артамонова взята ль и замужем за оным Ильиным была ль — за моею болезнию и великим беспамятством не упомню, но я тех его жен никогда ничем не бивала и бить никому не приказывала, и померли не от моих побои».*

Убийства совершались чаще всего в Москве, в доме кровавой барыни, что находился на углу Кузнецкого моста и Лубянки, но для погребения трупы отвозились в подмосковное село Троицкое, где поп Степан Петров вместе со старостой хоронил их. Некоторые трупы зарывали (или просто оставляли) в лесу. Изуродованные тела, заваленные сеном или ветошью, отправляли преимущественно по ночам. Если сельский священник Степан Петров не соглашался хоронить, то Салтыкова приглашала его к себе, и тогда дело чаще всего улаживалось.

Но есть в деле Салтычихи и совершенно дикий случай — настоящая охота за трупом.

Охота за трупом

Показания дворового Сергея Леонтьева: *«Зимою, в Филипов пост, вечером, помещица била Андреева сама езжалым кнутом, якобы за несмотрение его за бабами и девками в мытье полов, а потом, призвав дядю его гайдука Федота Михайлова Богомолова, приказала того Хрисанфа бить тем же кнутом нагова, и он, гайдук, его бил, и от тех побои тот человек и на ногах стоять не мог и, подняв его, оный гайдук отдал под караул, а кому крестьянам — тому не упомнит затем, что они были из разных вотчин для караулу. И тот Хрисанф во всю ночь стоял на морозе, а после того введен он был в палаты, и она, Салтыкова, втайне у себя сама еще била его палкою и при том велела ему (Леонтьеву) принесть разженные припекательные щипцы, кои он, Леонтьев, и принес, и она, Салтыкова, теми разженными щипцами сама брала Хрисанфа за уши и лила горячую воду ему на голову и на лицо из чайника и еще полкою била, и как упал, то и пинками била, от которого бою он чуть жив. Из палаты его вынес тот гайдук, и того ж дня она, Салтыкова, того битого человека, едва только живого, в санях на двух лошадях, со оным гайдуком Богомоловым, послала, а куда — не знает, а потом известился он, Леонтьев, что тот Хрисанф умре».*

Покойника отвезли в Троицкое. Салтыкова приказала Богомолову в случае отказа священника хоронить бросить тело в лесу или утопить. Но Богомолов ослушался. Приехав в Троицкое, он тело с санями поставил в хлев, после чего сообщил старосте об убийстве Андреева и передал приказ барыни похоронить тело в лесу или в другом месте. Богомолов даже предложил старосте зарыть племянника во дворе, но Михайлов «на то хоронение» не согласился, ибо «на тот двор приходят к нему, старосте, многие сторонние

люди и как то тело усмотрят, то ему, старосте, может быть последовать истязание, и он в том имеет опасность. А когда-де помещица приказала ему то мертвое тело в том селе схоронить, то, чтоб он, гайдук, где усмотрит, там бы и схоронил».

Тогда Богомолов при старосте перенес тело племянника из хлева в поварню и спрятал в подполье, «под очаг», после чего отправился в Москву доносить о преступлении. Труп ему нужен был как «вещественное доказательство», чтобы лишить убийцу возможности объявить о побеге крепостного.

«По случаю задарения ею (Салтыковой) в Сыскном Приказе», Богомолова высекли кнутом и возвратили помещице, которая отослала его в Троицкое и «там держала в железах под крепким караулом». Сама же барыня тем временем потребовала к себе Михайлова и учинила допрос: «Где оное тело оный гайдук девал?» Но староста на все вопросы отвечал одно: ведать, мол, не ведаю, знать не знаю. Насколько Михайлову невыгодно было отдавать труп, настолько он нужен был Салтычихе. Она отправила старосту вместе с Романом Ивановым в Троицкое с категоричным приказом — найти тело и зарыть его!

Как ни заверял Михайлов, что не знает о месте нахождения тела Хрисанфа Андреева, Салтыкова опять послала его (на этот раз с крестьянином Давидом Ивановым) искать тело, а найдя, вывезти и бросить где-нибудь на дороге. На этот раз староста показал Иванову труп, но предупредил, что если тело потребует полиция, то он, Иванов, обязан будет представить его. Михайлов разъяснил крестьянину всю щекотливость ситуации и посоветовал не брать покойника из поварни и никуда не бросать.

Охота за трупом продолжалась с невиданным упорством. Чтобы Михайлов не помешал этому или, не дай бог, не выдал тело властям, Салтыкова отправила его в Вокшино. В отсутствие старосты в Троицкое нагрянул подпоручик Суков, посланный губернской

канцелярией, «но мертвого тела и старосты в том селе, по объявлению крестьян, не явилось», причем трое из них «объявили Сукову, что такова мертвого в привозе оным доносителем (Богомоловым) не было и о том мертвом теле они не слыхали».

Салтычиха свирепствовала, она поставила всех и вся на ноги, но безрезультатно — труп словно сквозь землю провалился. Не найдя в очередной раз тело, она приказывает привезти из Вокшина в Москву Михайлова. Хоть и были у нее среди московских чиновников благодетели, но с законом шутки плохи. На этот раз она в присутствии чиновника Ивана Никитина Ярова учила старосту, как отвечать по доносу Богомолова. Чтобы Михайлов верно оценил наставления, его привезли в дом Ярова, который жил в Преображенской слободе. Здесь троицкого старосту продержали трое суток. По истечении этого времени хозяин призвал его в горницу и снова стал расспрашивать об Андрееве. Но видно Бог не дал ума Михайлову, и он рассказал все чистосердечно об убийстве и приказе барыни, но место не выдал. Яров «учил» его «не показывать о привозе тела в Троицкое и не бояться Богомолова». Как только чиновник решил, что урок и наставления усвоены, он повез Михайлова в Кремль в губернскую канцелярию. Яров оставил старосту на паперти церкви Николая-чудотворца Галстунского, а сам пошел в канцелярию. Через полчаса он вышел на крыльцо с повытчиком Иваном Толстым, который и повел Михайлова в канцелярию, где показал донос Богомолова. Согласно наставлениям Салтыковой и Ярова, Михайлов показал: никакого мертвого тела Богомолов в Троицкое не привозил, ни от кого он такого не принимал, где оно находится — не знает, да и вовсе не знает, что такой человек убит и что он был даже в доме его помещицы. «Правда, — продолжал Михайлов, — приезжал в Троицкое какой-то Богомолов, но только затем, чтобы объявить ему, что из Салтыковского дома бежал дворовый Николай, которого староста, по приказу

помещицы, обязан был доставить в Москву, в случае, если он покажется в Троицком». Через две недели староста повторил свои показания и на допросе секретаря Федора Готовцова. Вследствие этих показаний Михайлова и челобитной Салтыковой о побеге Андреева Богомолов за неосновательный донос (труп так и не был найден!) получил 25 ударов кнутом и возвращен помещице.

А кровавая барыня продолжала охотиться за трупом. Пока Михайлов жил в Вокшине, затем у нее в Москве и у Ярова, а потом содержался при губернаторской канцелярии, Салтыкова «развязала язык» Давиду Иванову. Крестьянин не выдержал и сообщил ей о месте нахождения тела Андреева. Она призвала к себе актуариуса Пафнутьева и Ярова. На совете было решено: изъять тело Андреева из подполья и бросить его в поле. Иванов на это не согласился. Тогда они убедили его привезти труп в Москву на загородный помещичий двор и сообщить в Сыскной приказ. Иванов вместе с Иваном Артамоновым сделал это. Из загородного помещичьего двора тело по приказанию Пафнутьева доставили к Сыскному приказу, где во дворе «в самые сумерки» состоялся осмотр. Пафнутьев явился с незнакомым Иванову и Артамонову человеком, «по-видимому секретарем». Крепостные указали, «что на висках волосы выщипаны и голова вся проломлена», Пафнутьев «отослал их за то прочь». После осмотра последний приказал крестьянину Салтыковой, Ивану Абрамову, расписаться в приемке тела, но само тело передал не ему, а Иванову и Артамонову, которым поручил везти обратно на загородный двор, куда на другой день прислал с гробом солдата.

Тело Андреева отвезли в Троицкое, где оно было наконец похоронено священником Петровым. Тем временем Салтыкова в челобитной уверяла, что Андреев, сосланный в то село на скотный двор «за продерзости», бежал, «и хотя тело его потом нашли, занесенное снегом, близ Троицкого, но, по осмотру,

на нем боевых знаков не оказалось, окромя того, что видно только у правой руки персты и повыше коленов оклевано птицами».

Мнение коллегии по делу Андреева весьма интересно — оно ярко рисует порядки делопроизводства в 1759 – 1762 годах в московских присутственных местах.

Все дела об оном Хрисанфе Андрееве производством непорядочны и к подозрению в том, что ей, Салтыковой, помогали производители оных к прикрытию сего поступка, сумнение довольное подают, а именно: из губернской Московской канцелярии в Сыскной приказ дело и колодники почему посланы февраля 12-го (1760 года), как в доношении значит, а в Сыскной приказ получено и помечено апрелем 3-м и тем числом в том Пафнутьев канцелярист за протоколиста и росписался; а по тому делу рапорт от поручика Сукова, посланного от московской губернской канцелярии для осмотру в село Троицкое, помечен 2-м ноябрем; рапорт писан ноября 29-го, а он и послан был 26-го, что совсем невозможно быть кажется. В Судной приказ запрос о Богомолове послан, а от онаго ответствовано о Андрееве, с чего видно: запрос к протоколу Сыскного приказу послан от дела об осмотре мертваго тела онаго Андреева за рукою Пафнутьева; (им же) ответствовано и сообщена челобитная Салтыковой; а об осмотре, с чего запрос послан и в нем именно и месяц упомянут, по делу ни следов нет, да и определению ж на то нет. Мертвое тело отдано тем, кто оное привез, а росписался другой крестьянин, и другие, в экстракте изъясненные, неисправности оказались Пафнутьева и других, по которым всем резонам Коллегии: 1) Причиною смерти признает Салтыкову; 2) причиною того, что доноситель, яко бы за ложный донос высечен кнутом, между прочим признает первейшаго тогдашнего в лжесвидетельстве старосту Ивана Михайлова, который ныне во всем против показания доносителя признался, чем он жестокое и за-

служил наказание; 3) Пафнутьев за непорядочное делопроизводство не меньше заслуживает наказания, о чем о сем во мнении прописано ниже сего; 4) Яров от подозрения на него, без точнаго в показуемом на него доказательстве, присягою очистился; 5) хотя по напрасному претерпению наказания Федот Михайлов (Богомолов) и мог, по рассуждению коллегии, в награждение свободу получить, но по вине, которая на третий пункт в рассуждении изъяснена, сам себя лишил того награждения».

Преступление и наказание

Как ни чревато было доносить на барыню, все же ее бесчинства переполнили чашу терпения, и несколько крестьян рискнули подать челобитную. В марте 1762 года дворовые Мелентий Некрасов, Владимир и Иван Шавкуновы, Артемий Тарнахин, Игнатий Угрюмов и Семен Алексеев отправились доносить на «невыносимые тиранства» Салтыковой в Московскую сенатскую контору. Узнав об этом, кровавая барыня послала погоню — «крестьян с десять». Смельчаки, заметив ее, с криком «Караул!» бросились к караульной будке.

Это бегство доставило Салтыковой много хлопот. Она зачастила к начальнику полицеймейстерской канцелярии Молчанову, навещая его рано утром и поздно вечером. В одну из поездок Салтыкова отвезла Молчанову 120 рублей, а потом 20 возов сена.

Не прошло и месяца, как сбежали другие смельчаки — Савелий Мартынов и Ермолай Ильин. Не доверяя московским властям, они отправились в столицу. На их счастье, к власти пришла Екатерина II. Они поведали ей о зверствах барыни и просили, «чтоб от таковых смертных губительств и немилосердных бесчеловечных мучительств защитить; не отдавая помещице их, доносителей, и прочих во владение и не допущая до такого губительства и смертного убивства, обо всем том исследовать; при чем-де сверх того

и еще многие смертоубийственные и весьма не маловажные кремнальные дела, учиненные ею, помещицею, яснее оказатца могут, яко от 1756 году душ со ста таковым же образом ею, помещицею, погублено, и по исследовании за те бесчеловечные мучительства и смертные убийства учинить с нею как законы повелевают».

В октябре 1762 года Правительствующий Сенат предписал Юстиц-коллегии «дело это, в силу Указов, наикрепчайше исследовать, и в непродолжительном времени сделать по оному рассмотрение и решение; а если по чему либо сего последнего Коллегия учинить не почтет себя в праве, то в таком случае представила бы самое подробное извлечение из дела Сената, с присовокуплением собственного своего мнения; доносителей же до окончания дела предписывалось Коллегии держать под своим присмотром, но не скованных и не подвергая их никаким притеснениям».

Юстиц-коллегия в точности все исполнила и 6 ноября 1763 года сообщила Сенату, что Салтыкова в «смертоубийствах весьма подозрительна, поэтому для установления истины ее необходимо пытать». 6 января 1764 года Коллегия получила высочайший указ, которым повелевалось объявить Салтыковой, что по обстоятельствам дела, раскрытым при исследовании, ее следует пытать и что она непременно будет этому подвергнута, если не принесет чистосердечного раскаяния, а между тем определить к ней благоразумного и сведущего священника на месяц с тем, чтобы он увещаниями привел ее к сознанию или в противном случае приготовил бы к неизбежной пытке. Священник Дмитрий Васильев по истечении времени, назначенного для увещевания, донес, что «при всей ревности своей» он не достиг смягчения огрубелого сердца Салтыковой.

Следствие тянулось шесть лет. Представляя в Сенат донесение о деле, коллегия писала: «...а сколько человек убитыми или умершими за сумнительство

почтено, о том значит в сем экстракте, под каждым именем точно; а по последним, взятым в деревнях ея, Салтыковой, сказкам, в доме ея женска пола явилось 138 душ...»

По распоряжению коллегии «повальный обыск» в Москве («около ея жительства, где дом ея состоит») производил член коллегии Степан Волков, а в московском уезде, около подмосковного Салтыковой села Троицкого — надворный советник князь Дмитрий Цицианов.

Волков опросил более 100 человек, из них 94 сообщили, «что означенная-де вдова Дарья Салтыкова во время жительства своего в московском доме своем в каком состоянии жизнь свою продолжала — в добром-ли или в худом, о том они никто не знают; о мучительствах и смертных убийствах ею людей ея мужеска и женска полу, они подлинно не ведают и от домашних ея ни от кого известия им не было, и сами очевидно того не видали и ни от кого не слыхали».

Наученные горьким опытом крестьяне не верили в правосудие и запирались. Но некоторые все-таки помогли следствию. Так, Волкову какой-то священник сообщил, что одна из дворовых Салтыковой приходила к нему летом и передала, что помещица взяла к себе в дом ее дочь 12 лет, которую бьет и мучит, и будет ли жива — неизвестно; другие две женщины в то же время рассказывали, что Салтыкова заперла всех своих в пустую избу и морит голодом двое суток. Солдат Коломенского полка Минай Болотов говорил, что барыня эта убила до смерти жену дядьки детей своих. Другой священник поведал следователю, что летом 1762 года ему довелось быть, по призыву дьякона Введенской церкви и священника церкви Ивана, на съезжем дворе 1-й полицейской команды, где он видел в телеге мертвое тело женщины, на спине которой «были великие раны».

Из восемнадцати боярских людей четверо показали, что в разное время видели на дворе дома Салты-

ковой ее людей, бритых и в колодках, работавших в таком виде. Сквозь забор господских дворов они часто слышали о происходивших у Салтыковой побоях, причем помещица кричала: «Бей больше!» Но кого били, не знают. Девять человек заявили, что они видели зимой на дворе у Салтыковой стоявших перед окнами палат на морозе избитых босых мужчин и женщин, «отчего на рубахах и на лицах их видна была кровь».

Цицианов опрашивал окрестных жителей подмосковного села Троицкого. Из них 114 человек сообщили, что ничего не знают; 43 показали, что слышали от крестьян Салтычихи жалобы на побои и мучения. Священник и дьякон сообщили Цицианову, что Салтыкова «жизнь свою продолжала в худом состоянии и к людям своим строгость употребляла, наказывая их жестоко...» 22 крестьянина показали, что «три года назад летом из села Троицкого везли чрез их деревни мертвое тело девки, при чем провожавшие рассказывали, что девка та убита помещицею, и они видели на теле ея с рук и с ног кожа и с головы волосы сошли». Следствие установило, что убитая была Фекла Герасимова.

Только 25 апреля 1765 года Коллегия представила Сенату сведения, собранные Волковым и Цициановым.

А в конце года началось производство настоящего следствия о преступлениях Салтыковой. Обнаружилось, что доносов на Салтыкову было много, а в некоторых обвинялись и чиновники (в получении от Салтыковой подарков) Полицеймейстерской канцелярии (действительный статский советник Андрей Иванович Молчанов), Сыскного приказа (надворный советник Петр Михайловский, умерший в начале 1765 года, надворный советник Лев Вельяминов-Зернов, прокурор Федор Хвощинский, актуариус Иван Пафнутьев) и Тайной конторы — секретарь Иван Яров. Следствие доказало, что вследствие этих взяток дела о преступлениях кровавой барыни оканчивались

всегда в пользу помещицы, а доносители отсылались в ссылку или отдавались в распоряжение помещицы по ее просьбе.

На все допросы Юстиц-коллегии Салтыкова отвечала одно и то же: не била, не убивала и другим не приказывала. Ее «радельцы» — Молчанов, Пафнутьев, Яров и другие, спасая свои шкуры и заметая следы, научили ее стоять на своем: «знать не знаю, ведать не ведаю».

Кроме жестокости в обращении с крепостными людьми Салтыкова обвинялась в блудной жизни. Дарья Николаевна Иванова вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии конного полка Глеба Алексеевича Салтыкова и имела от него двоих сыновей — Федора и Николая. Овдовев около 1756 года, двадцатипятилетняя вдова стала полноправной хозяйкой своих крестьян. Она жила с детьми в Москве, а лето проводила в подмосковном селе Троицком. Здесь Салтыкова и познакомилась с капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым. Перед Великим постом 1762 года любовники разошлись. Салтычиха узнала о сватовстве Тютчева к девице Панютиной, жившей за Пречистенскими воротами, у Земляного города, близ бывших Левшинских бань. Салтыкова решила отомстить неверному и его невесте. По ее приказу конюх Савельев купил в главной конторе артиллерии и фортификации 5 фунтов пороху. Из него и серы приготовили состав, который завернули в пеньку, и нажгли из тряпки труту, «чтоб подоткнуть под застреху». С этим составом помещица послала конюха Романа Иванова поджечь дом так, «чтоб оной капитан Тютчев и с тою невестою в том доме сгорели». Иванов испугался ответственности и не выполнил приказ, за что был бит. На другую ночь она опять послала его с Леонтьевым, «наказывая непременно сожечь дом, и чтоб Тютчев с Панютиной сгорели». «Ежели же вы того не сделаете, то убью до смерти, а ее на вас не променяю».

Иванов с Леонтьевым отправились. Когда первый собирался уже поджечь состав, его остановил Леонтьев. Салтыковой же «поджигатели» сообщили: «Сделать того никак невозможно», — за что были наказаны батожьем, после чего Ильин и Артамонов били Иванова в две палки.

Неудача не утихомирила Салтыкову. Узнав, что Панютина с Тютчевым отправляются в Брянский уезд и что им придется ехать по тракту, где находится ее имение, она послала Ильина, братьев Ивановых и других дворовых в свою деревню Теплые-Стани. «...и как он проедет из деревни в поле, — приказала барыня, — нагнать с мужиками, разбить и убить до смерти». Прибыв на место, посланные с мужиками других деревень вооружились дубьем и поджидали Тютчева с его невестой. О готовящемся покушении узнал Тютчев. Бывший любовник подал в Судный приказ объявление «о выезде за ним, нарядным делом, на четырех санях, с дубьем».

Урод рода человеческого

Несмотря на запирательства кровавой барыни, вина ее была слишком очевидна. Кровь многочисленных ее жертв взывала к возмездию. Императрица Екатерина II оказалась в сложном положении: с одной стороны, необходимо было суровым наказанием обуздать животные инстинкты некоторых других душевладельцев, а с другой — преступница являлась представительницей самого родовитого дворянства, а многочисленные ее родственники занимали высшие ступени в государственном управлении.

Наконец, 2 октября 1768 года Сенату последовал высочайший указ: «Рассмотрев поданный нам от сената доклад о уголовных делах известной *бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери*, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и такого великого числа душегубства над своими собственными слугами

обоего пола, одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она, особливо пред многими другими убийцами в свете, имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему сенату: 1) лишить ее дворянского названия и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам вперед, так как и ныне в сем нашем указе, именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. 2) приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день, вывести ее на первую площадь и, поставя эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию, с исключением из оной, как выше сказано, родов ея мужа и отца, с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую, с надписью большими словами: *Мучительница и душегубица.* 3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить злую ея душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ея тело предать Промыслу Творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там, подле которой ни есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерть ея содержать таким образом, чтобы она ни откуда в ней света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь.

Для исполнения сего нашего указа, сенат имеет учинить от себя все надлежащие к тому распоряжения. Имения оставить за ея несчастными детьми, а с

людьми ея, приличившимися в сем деле, и в прочем во всем поступить и исполнить так, как в вышепомянутом, возвращаемом при сем, сенатском докладе нам представлено. Екатерина».

17 октября 1768 года, в субботу, посреди Красной площади выстроили высокий эшафот, на который вело множество ступеней; посреди него установили столб с тремя вбитыми цепями. Приготовления эти подняли всю Москву на ноги. Слухи о жестокостях Салтыковой ходили уже несколько лет, и все желали посмотреть на «людоедку». Екатерина, желая устрашить душегубцев и злодеев, приказала оповестить всю Москву о предстоящей казни, в связи с чем 17 октября по всему городу была сделана «особая публикация» о предстоящем на следующий день «позорище», а по домам знатных полиция разнесла повестки.

18 октября 1768 года в Белокаменной установилась зима: снег валил крупными хлопьями. С раннего утра несметные толпы народа стекались на Красную площадь. В начале 12-го часа началось «позорище». «Прежде шла гусар команда, — писал очевидец, — потом везена была на роспусках (в саване) Дарья Николаевна Салтыкова, во вдовстве, людей мучительница, по сторонам которой сидели с обнаженными шпагами гренадеры. И как привезена была к эшафоту, то, сняв с роспусков, взвели и привязали цепями ее к столбу, где стояла она около часу; потом, посадя паки на роспуски, отвезли в Ивановский девичий монастырь, в сделанную для нее, глубиною в земли аршина слишком в три, покаянную, коя вся в земле, и ни откуда света нет. Оная в железах, и никого к ней, кроме одной монахини и караульного, допускать не велено; да и им тогда только ходить к ней, когда есть принесть должно будет, и то при свече, а как отъест, то опять огонь погасить и во тьме оставить; а когда будет церковное пение, то допускать ее к церковному окну, к коему по обыкновенным у ходов ступеням всходить должна; и быть ей велено до смерти.

А во время ея у столба привязи надет был на шеи лист с напечатанными большими литерами: Мучительница и душегубица. А как ее повезли, то после ея биты были кнутом и клеймены люди ея и поп: поп — за то, для чего он мученных ею хоронил, а людей — дворецкого, который в особливой милости был, и кучера, что убитых валил, и других, — чем и кончилось сие позорище. Что ж принадлежит до народу, то не можно поверить, сколько было онаго: почти ни одного места не осталось на всех лавочках, на площади, крышах, где бы людей не было, а карет и других возков — несказанное множество, так что многих передавили, и карет переломали довольно. Пищу ж ей велено давать обыкновенную монашескую, и лишена имени, дворянства и отцовской и мужеской фамилии»[1].

Салтычиху заточили в склеп под соборную церковь Ивановского монастыря. В этой подземной темнице она провела 11 лет. В 1779 году ее перевели в каменный застенок, пристроенный к горней стороне храма. Насущную скудную пищу подавал ей солдат, от которого она родила.

Любопытные часто толпились у железной решетки ее окошка. Салтычиха ругалась, плевалась и пыталась достать их палкой.

27 ноября 1801 года Дарья Николаевна Салтыкова скончалась, ее похоронили в Донском монастыре. Злая память о ней сохранилась в народе. Указ Екатерины II от 2 октября 1768 года ходил по рукам в напечатанных экземплярах и во множестве рукописных списках, а имя кровавой барыни «Салтычиха» стало у нас на Руси ругательством.

[1] Русский архив. XVIII век. Кн. IV. С. 94—95.

Мзда не лихва

Безгрешные доходы как феномен русской истории

Семен Экштут

Человек он был новой породы,
Исключительно честь понимал
И безгрешные даже доходы
Называл воровством, либерал!

Н. А. Некрасов. Маша (1851)

Мы никогда не сможем адекватно представить себе реалии прежней русской жизни былых веков, если не истолкуем феномен *безгрешных доходов*. Энциклопедии, словари и справочники безоговорочно трактуют безгрешные доходы как ироническое обозначение взятки, что огрубляет суть проблемы. Лишь самые отъявленные либералы могли неправомерно отождествлять безгрешные доходы со взятками. Общественное мнение было более терпимо. Репутацию чиновника могло безнадежно испортить только неприкрытое лихоимство, мздоимство же считалось в порядке вещей. Иными словами, общество делало различие между *лихоимцем* и *мздоимцем*. «Разница в поступках. Иные требуют у просителей и портят справедливые дела, если им не заплатят, другие исполняют долг свой, но если кто дает за дело — не отказываются»[1], — говаривал Фаддей Булгарин.

Лихоимец вымогал взятки за то, что он обязан был и так делать по своей должности. Если ему не

[1] Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. — М., 1998. С. 146.

давали чаемого, то он не только не помогал просителю, но и вредил ему. Мздоимец не отказывался от добровольных приношений просителя, благодарного чиновнику за быстрое и справедливое решение своего дела, готов был исполнять свою должность и без дополнительного вознаграждения. Однако опытный проситель всегда считал нужным дать. «Сухая ложка рот дерет». «Не подмажешь — не поедешь». Лихоимец получал *лихву* — избыток, излишек. Лихва отличалась от *мзды*, которая трактовалась как справедливое вознаграждение за труды. Пословицы донесли до нас это тонкое различие: «Не ради мзды, а ради правды», «Мзда не лихва», «Всяк труд мзды своей достоин».

Стихийное правосознание военных и гражданских чиновников дореформенной России было весьма снисходительно к тем, кто заботился о пополнении собственного кармана больше, чем о сохранении целостности кармана государственного. Причины этого феномена очевидны и не требуют особых пояснений. Государево жалованье всегда было небольшим. Герой Отечественной войны 1812 года генерал Николай Николаевич Раевский в передаче Пушкина «говорил об одном бедном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, отставленный за отличия с мундиром без штанов»[1]. Даже жалованье тех чиновников, через руки которых проходили миллионные суммы, было ничтожным: его едва хватало на скудное дневное пропитание.

По точному замечанию Карамзина, «Россия никогда не славилась богатством — у нас служили по должности, из чести, из куска хлеба, не более!..» Но это не мешало властям предержащим требовать от своих подчиненных выполнения того, на что от казны не отпускалось никаких средств. Деятельность полковых командиров служит тому подтверждением. Командиры полков, чтобы содержать свою часть

[1] Пушкин А. С. Дневники, записки. — СПб., 1995. С. 113.

в надлежащем порядке, были вынуждены постоянно прибегать к различным негласным оборотам и изворотам, которые не поддавались ни официальной отчетности, ни гласному контролю. Дмитрий Милютин отмечал: «Весь порядок военного хозяйства был построен на таких основаниях, что действительная практика расходилась с законом... Высшие начальники должны были потворствовать хозяйничанию полковых командиров, требуя иногда от них того, на что отпусков от казны не полагалось. Многие такие неправильности в хозяйстве вызывались непомерным требованием внешней щеголеватости на смотрах. Само [Военное] министерство, так сказать, узаконяло негласные обороты в полковом хозяйстве, предоставляя командирам покрывать из «экономии» расходы, не предусмотренные Положениями и табелями»[1].

Должность полкового командира была сопряжена с обширной хозяйственной деятельностью. Командиры пехотных и особенно кавалерийских полков оперировали большими суммами наличных денег, получаемых из казны. Им приходилось оплачивать сукно, из которого, как тогда говорили, строили солдатские шинели и мундиры, полотно, из которого шили нижним чинам рубахи и панталоны, и кожу, которая шла на сапоги и краги. Согласно Козьме Пруткову: «Строя солдатам новые шинели, // Не забывай, чтоб они пили и ели»[2].

Командир кавалерийского полка должен был заботиться о регулярном обновлении конского состава вверенной его попечению части. Заготовка лошадей и пополнение ими полков по мере нужды назывались *ремонтом*, а откомандированный из полка офицер для закупки лошадей — *ремонтером*. Ремонтерами

---

[1] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860 – 1862. — М., 1999. С. 273, 274. Ср.: Там же. С. 244, 477.

[2] Сочинения Козьмы Пруткова. — М., 1987. С. 101.

назначали опытных офицеров, прекрасно разбиравшихся в лошадях и располагавших сведениями о конских заводах и конъюнктуре в той губернии, куда они отправлялись за ремонтом. «Фуражировка и ремонтерство // Требуют сноровки и прозорства». «Для ремонтерства и фуражировки // Трудно обойтись без сноровки»[1].

Вспомним «Войну и мир». Граф Николай Ростов, после Островненского дела награжденный Георгиевским крестом и получивший под свое командование батальон гусаров Павлоградского гусарского полка, накануне Бородинской битвы был отправлен в Воронеж за ремонтом. По долгу службы он представился губернатору. «Губернатор был маленький живой человек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие. ...Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист-холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей. Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта». Так несколькими мазками Толстой нарисовал картину, по которой можно судить о механизме извлечения безгрешных доходов. Каждый из этих отборных жеребцов обошелся графу Ростову в среднем чуть более 350 рублей. Именно эти жеребцы предназначались для показа начальству, остальные лошади ремонта были много проще, а потому дешевле. Но деньги на приобретение ремонта выдавались ремонтеру исходя из средних справочных цен, которые были выше цен фактических. Разница, учитывая размер всего ремонта, была весьма значительной и почти целиком шла в карман полковому командиру.

---

[1] Сочинения Козьмы Пруткова. С. 101, 106.

Полковые командиры наживались ремонтерством, а ремонтеру не доставалось ничего. Его прибыток заключался в ином. Офицер, продолжая числиться на воинской службе и пользуясь всеми преимуществами воинского звания, на весьма продолжительный срок покидал свою часть, оказывался свободен от всех стеснений воинской дисциплины, тягот и лишений службы и получал возможность с удвоенной энергией насладиться всеми доступными радостями мирной жизни. В любое время, а особенно во время войны подобная командировка воспринималась как самая настоящая удача. Толстой пишет, что Николай Ростов принял это назначение «с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи». В губернском городе Воронеже и во всей губернии Николай Ростов мгновенно занял положение всеобщего любимца. «Дам было много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым».

Хорошая кавалерийская лошадь стоила дорого, но ремонтер покупал оптом и платил наличными, поэтому ему всегда делали большую скидку и охотно подписывали квитанции, из которых следовало, что лошади куплены им за бо́льшую цену, чем та, что реально была уплачена. Весь ремонт поступал в распоряжение полкового командира, а тот, в свою очередь, нескольких лучших лошадей оставлял у себя в надежде выгодно сбыть их офицерам полка. Ни сам командир, ни офицеры не видели в этом ничего зазорного. Купить хорошую лошадь, годную для службы в кавалерии, всегда было большой проблемой. Во время войны, когда потери конского состава значительно превосходили как его пополнение, так и падеж лошадей в мирное время, решить такую проблему было

очень сложно. Уважающий себя кавалерийский офицер не мог обойтись одной лошадью и старался обязательно купить запасную.

Вспомним, что еще в бытность юнкером Николай Ростов, не успевший своевременно обзавестись всем необходимым и догонявший свой полк во время похода против неприятеля, после прибытия к месту службы был вынужден купить верховую лошадь у офицера своего эскадрона поручика Телянина. Толстой вскользь упоминает, что эта лошадь по кличке Грачик была подъездок. Нам это мало о чем говорит, а так называли молодую или запасную лошадь, которая иногда, на перемену, ходила под седлом. Злополучный Грачик вскоре после покупки стал припадать на левую переднюю ногу: «Лошадь эта, купленная им за семьсот рублей, не стоила и половины этой цены». За лошадь со скрытым изъяном неискушенный юнкер Ростов заплатил не только ровно в 2 раза дороже ее фактической стоимости, но и в 2 раза дороже той суммы, в которую впоследствии тому же Ростову, уже видавшему виды ремонтеру, в среднем обошлись лучшие жеребцы его ремонта.

Кавалерийские офицеры покупали строевых лошадей за свои деньги, вот почему службу даже в армейской кавалерии, не говоря уже о гвардейской, могли позволить себе только очень богатые люди. Служба Николая Ростова в армейских гусарах обходилась его семье в десять тысяч рублей ежегодно. И даже после злополучного проигрыша в карты, который в корне подорвал благосостояние семьи Ростовых, Николай не смог продолжить службу в гусарах, живя одним только жалованьем, и вместо ежегодных десяти тысяч решил впредь брать из дома всего-навсего две. И это воспринималось им как искупление своего проигрыша. Николай Ростов, проигравший Долохову 42 тысячи, которые были безотлагательно уплачены старым графом Ростовым, решил за счет этой разницы в восемь тысяч погасить свой долг семье в течение

пяти лет. Анатоль Курагин, служивший в гвардейской кавалерии, где цена одной верховой лошади нередко превышала тысячу рублей, стоил князю Василию сорок тысяч. Хотя Анатоль был сыном вельможи, который занимал министерский пост, сам князь Василий приходил в непритворное отчаяние, думая о том, что останется от его состояния после пяти лет таких непомерных трат.

Офицеры были вынуждены покупать не просто верховых лошадей, а строевых лошадей определенной масти и, дабы избежать нареканий начальства, предпочитали делать это в своей части. Покупка лошади из конюшни полкового командира не только страховала офицера от подобных неприятностей, но и обращала на него лестное внимание начальства. Разумеется, покупали такую лошадь много дороже той суммы, что была заплачена за нее ремонтером. Барыш, извлеченный командиром, не только он сам, но и офицеры полка не считали грехом, и потому доходы полкового командира именовались безгрешными. Так продолжалось десятилетиями. Прутков заключал: «Будь расторопен — и от году до году // Полк принесет тебе боле доходу». (К этому военному афоризму рукою полкового командира сделано примечание: «Да, когда справочные цены высоки»[1].) Самую крупную статью дохода командира кавалерийского полка составлял фураж: лошади нуждались в ежедневном сухом корме, а справочные цены на овес всегда были высокими.

Лошади были не только в кавалерии. Долгое время вся полевая артиллерия была на конной тяге, что позволяло и батарейным командирам иметь немалые доходы. Известный кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов вспоминал о службе своего отца, который в конце 1850 года был выпущен прапорщиком в артиллерию: «Батарейным командиром был

[1] Сочинения Козьмы Пруткова. С. 106.

старый кавказский воин, георгиевский кавалер, полковник Прокопович. Службой он офицеров весною и летом не утруждал, а заботился больше о безгрешных доходах от своей батареи. Снимал у Фальц-Фейна громадный участок степи, на котором табуном паслись батарейные лошади и, начиная с середины июня, заготовляли сено для корма зимою лошадей, овес же заготовлялся только по книгам по справочным ценам — это и составляло «безгрешный доход» батарейного»[1]. Различные, хотя и более скромные возможности получения безгрешных доходов были у командиров пехотных рот и командиров кавалерийских эскадронов, но их доходы не шли ни в какое сравнение с доходами полкового командира.

Общественное мнение дореформенной России до чрезвычайности терпимо взирало на сам казус безгрешных доходов, разнообразные способы их извлечения и на тех военных и гражданских чиновников, которые такие доходы выуживали. Однако уже в конце николаевского царствования стали раздаваться протестующие голоса, впрочем, пока что довольно редкие.

В пореформенной России ситуация изменилась. Безгрешные доходы утратили моральную санкцию общественного мнения, стали ассоциироваться с отошедшей в прошлое эпохой крепостничества и начали отождествляться с взятками и воровством. Генерал-лейтенант Дмитрий Милютин, через три месяца после отмены крепостного права в России назначенный управляющим Военным министерством, решил покончить с безгрешными доходами. На закате жизни граф вспоминал, что с первых же шагов своей деятельности на этом посту он старался «добиться того, чтобы казенные отпуски по табелям и положениям соответствовали действительным нуждам войска, так чтобы можно было прекратить произвольное хозяй-

[1] Крылов А. Н. Мои воспоминания. — Л., 1984. С. 48.

ничанье полковых командиров и так называемые законные их доходы от полка. Это и было первою задачей, за которую я принялся с жаром»[1].

Итак, военная реформа, одна из самых важных среди всех преобразований эпохи Великих реформ, началась с искоренения безгрешных доходов. Негласные доходы командиров составляли «вреднейшую нравственную язву нашей армии»[2]. Энергичный военный министр взялся за решение этой задачи со столь сильным жаром, что должность полкового командира на некоторое время потеряла свою былую привлекательность, хотя командирам в возмещение их былых доходов и было назначено добавочное содержание. Гвардейские офицеры, отягощенные долгами, нажитыми в столице, для поправления своих дел уже не столь охотно стремились к получению должности армейского полкового командира.

В дореформенной России командир армейского пехотного полка всегда мог рассчитывать на получение неплохих безгрешных доходов, а командир кавалерийского полка, как правило, оставлял детям порядочное состояние. В пореформенной России ситуация изменилась, однако промотавшиеся гвардейцы и из этой ситуации нашли выход. Отныне они стали стремиться к получению должности командира не армейского полка, а губернского гарнизонного батальона. Эти команды внутренней стражи вообще не числились в полевых войсках, и служба в них никогда не была престижной. С одной стороны, в гарнизонные батальоны направлялись служить солдаты и офицеры, из-за ран или болезней непригодные к службе в действующей армии. С другой стороны, перевод в гарнизонный батальон нередко был весьма распро-

[1] Воспоминания генерал-фельдмаршала... С. 244.

[2] Там же. С. 477.

страненной формой дисциплинарного взыскания. Таким образом, в одной части вместе служили инвалиды войны и проштрафившиеся воины, калеки и буяны, увечные и задиры.

Боеготовность таких частей значительно уступала боеготовности полевых войск, а внешний вид гарнизонных служителей нередко вызывал либо жалость, либо усмешку. Недаром гоголевский городничий, узнав о том, что к нему в город едет ревизор, среди прочих распоряжений отдал и такое: «Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза́ наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет». Тех, кто служил в гарнизонных батальонах, укоризненно называли гарниза́, или гарнизонщина: «Гарниза́ пузатая!», «Гарнизонный пуп!» Почему же щеголеватые гвардейцы не только не гнушались служить вместе с этим сбродом, но и всячески интриговали, чтобы принять под свое командование губернский гарнизонный батальон? И все это происходило в самом начале эпохи Великих реформ?!

Василий Дементьевич Новицкий, с 1867 по 1871 год служивший в штабах местных войск Харьковского военного округа, оставил колоритное воспоминание о следственном деле командира Курского гарнизонного батальона полковника Лаппы. Злоупотребления, допущенные батальонным командиром, были вопиющими. Полковник за деньги отпускал нижних чинов батальона в длительные домашние отпуска, по-прежнему получая от казны на их содержание приварочные деньги, денежное и имущественное довольствие. Довольствие получалось полковником даже на умерших солдат, и эти мертвые души в течение нескольких лет подряд приносили батальонному командиру неплохой доход. У батальона были большие казармы, на ремонт которых казна ежегодно ассигновала значительные суммы, исправно поступавшие в карман командира. Так поступали почти все батальонные командиры почти во всех гу-

бернских городах. Вот почему лучший частный дом в столице губернии принадлежал командиру гарнизонного батальона, а роскошные приемы, которые устраивались в этом доме, вызывали всеобщее удивление, восхищение и зависть.

Внешнее великолепие образа жизни батальонного командира и его неизвестно откуда взявшееся богатство, заставлявшее вспомнить графа Монте-Кристо, — все это будоражило воображение обывателей и долгое время не интересовало начальство. Полковник Лаппа, ранее служивший в гвардии, за счет различных махинаций незаконно получил несколько сот тысяч рублей, нажил громадное состояние, которое укрыл от следствия, и благополучно скончался до суда. «Это дело, по ознакомлении с ним, ввело меня в область таких познаний по части злоупотреблений того времени, каковые не могли прийти даже в голову моих соображений и мечтаний. ...Полковник Лаппа в этом деле представлял из себя действительно лапу, но только железную, которою награбливались деньги и русское золото из государственного казначейства и из рук рекрут и их родственников...»[1] Однако дошла очередь и до гарнизонных батальонов. В 1864 году Отдельный корпус внутренней стражи, состоявший из этих батальонов, был расформирован.

Итак, в течение десятилетий законы отставали от жизни, и умение ловких военных и гражданских чиновников использовать в своих интересах несовершенства в государственном устройстве Российской империи не осуждалось ни обществом, ни властью. Доходы, которые извлекались за счет различных оборотов и изворотов, считались *безгреш-*

---

[1] Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма // За кулисами политики. 1848–1914. — М.: Фонд Сергея Дубова. 2001. С. 263 (История России и дома Романовых в мемуарах современников).

ными. И в наши дни законы отстают от жизни. В существующем законодательстве немало прорех. Это признается и государством, и обществом. Однако стремление использовать эти прорехи для извлечения мзды, лихвы или безгрешных доходов безоговорочно осуждается не только властью, но и обществом. И в этом состоит принципиальное различие между современной Россией и Россией, которую мы потеряли...

Тюремный замок

Надежда Загороднюк

13 октября 1934 года на заседании комиссии по истории тюрьмы, каторги и ссылки Всесоюзного общества политкаторжан рассматривался вопрос о необходимости изучения тобольской каторги и тюрьмы. Эта мысль звучала и ранее, в начале XX века, когда тобольская общественность приняла решение об открытии музея тюрьмы и ссылки в действующем тюремном замке, но и она была не нова: в семидесятые годы XIX века витала идея создать музей истории ссылки, где основными экспонатами должны были стать личные вещи декабристов, отбывавших ссылку в Тобольске и губернии... Так в чем же секрет такого повышенного интереса к Тобольскому тюремному замку, какие секреты хранят его стены?

Скорей, скорей в тюрьму!

Справедливости ради надо отметить, что в Тобольске не один, а два тюремных замка, сохранившихся до настоящего времени: «старый» — постройки эпохи Екатерины II, «переправленный из казенного госпиталя» у Казачьего взвоза, и «новый», на высоком берегу Иртыша, о котором и пойдет речь.

Появление тюремного замка в центре города, на Красной площади, на месте первого острога, — явление типичное для любого губернского центра. Место для строительства было выбрано не случайно. С самого основания городу предназначалась особая миссия в государстве — стать административным центром,

поэтому острог был возведен рядом с воеводским и посольским дворами на месте разрушенной Троицкой церкви. А когда острог пришел в ветхость, встал вопрос о строительстве новой тюрьмы.

Считают, что толчком к строительству нового тюремного замка послужил приезд в Тобольск цесаревича Александра (будущего Александра II) 1 июня 1837 года. Уже 30 апреля 1838 года Главное управление Западной Сибири разрешило строительство в Тобольске «каменного замка на 250 подсудимых и 500 арестантов». Доработка высочайше утвержденного проекта губернского тюремного замка была поручена архитектору Вейгелю.

По масштабам строительства это была самая крупная постройка XIX века. На возведение комплекса отводилось четыре года — с 1841 по 1845-й. Объявления о публичных торгах на производство строительных работ были даны во все губернские газеты, но широкого отклика торги не получили. То ли отдаленность подрядчиков от Тобольска, то ли объект строительства не пользовался среди торгово-ремесленного люда популярностью, но так или иначе строительство затянулось на десятилетия. В 1849 году при приемке комиссия нашла нужным внести изменения в фасад тюремной больницы. Эти и другие перестройки затянули открытие тюремного замка до 1855 года.

Как у всех «долгостроев», фактические затраты на строительство во много раз перекрывали смету: вместо планируемых 15 459 рублей 15,5 копеек серебром — 130 тысяч.

Торжественное освящение тюремного замка состоялось 25 ноября 1855 года. Современник (можно предположить, что именно перу П.П. Ершова, автора знаменитого «Конька-Горбунка» и редактора неофициальной части ведомостей, принадлежит сей очерк) оставил на страницах «Тобольских губернских ведомостей» зарисовку его внутреннего устройства: «Пройдя ворота, в стенах которых находится гауптвах-

та, а над аркою помещение для смотрителя, выход в первый двор, и здесь перед вами предстанет изящный госпитальный корпус итальянской архитектуры. Он выстроен в три этажа и заключает в себя десять палат, из которых нижние предназначены для кухни и других служб, а средний и верхний этаж собственно для больницы, аптеки, помещения фельдшеров и больничной прислуги. По обеим сторонам госпитального здания в продолжение северной и южной стен идут одноэтажные корпуса, состоящие каждый из четырех огромных помещений, предназначенных для пересыльных. К этим корпусам примыкают камеры в количестве шестнадцать для следственных арестантов и различных служб. Во внутреннем дворе расположено двухэтажное готическое здание, в котором двадцать палат, двадцать восемь камер, в которых размещаются осужденные. Мрачный вид этого здания оживляется видом креста, вечного символа примирения. Здесь располагается небольшая, но очень красивая церковь с хорами, поддерживаемая рядом колонн ионического характера...»

Таким образом, центр города преобразился: здания в романском и готическом стилях вплелись в хоровод архитектурных жемчужин Тобольского кремля, придав некоторый диссонанс своими суровыми очертаниями.

Город торжественно отмечал это событие: в губернаторском доме состоялся званый обед. Звучали здравицы в честь императора, генерал-губернатора, архиепископа, архитектора, строителей... Губернское начальство видело в открытии нового тюремного замка знак особой значимости города и губернии в жизни российского государства и рассчитывало на позитивные перемены в прохождении своей службы. Трудно сказать, способствовал ли этот факт тобольскому чиновничеству в продвижении по служебной лестнице, но то, что сам город и жизнь в нем резко изменились, — несомненно.

Расширение тюремного замка, открытие новых учреждений тюремного ведомства продолжались и в последующие годы. 30 января 1866 года было открыто сиропитательное заведение для детей ссыльных и заключенных, которые следовали со своими родителями по этапам и разделяли с ними все тяготы тюремной жизни. В 1871 году было открыто военно-каторжное отделение на 600 арестантов. К концу семидесятых годов в Тобольске уже было три каторжные тюрьмы.

Это наносило особый отпечаток на жизнь города и, естественно, привело к росту числа заключенных, содержание которых легло нелегким бременем на государственную и губернскую казну. Если на 1 января 1871 года в военно-каторжном отделении находилось 276 арестантов, через год — 325 человек, то через двадцать лет число заключенных всех типов мест заключения выросло в несколько раз. Так, в апреле 1895 года (к началу навигации) в губернской тюрьме (тюремном замке) содержалось 487 арестантов, в каторжной тюрьме № 1 — 357, № 2 — 350, исправительно-арестантском отделении — 297, ссыльно-призреваемых в богадельне — 29, сиропитательном заведении — 30 человек.

Практически ежедневно можно было наблюдать следующую картину: «В холод или грязь процессия в 60—70 арестантов в халатах, кандалах, с бритыми головами, идет, гремя цепями, по городу и наводит на обывателей тоску...»

Обмен тюремным опытом

Заключенные каторжных тюрем и отделений, согласно циркулярам тюремного ведомства, должны были привлекаться к тяжелым крепостным и хозяйственным работам. Впоследствии строительство железных дорог, трактов, каналов и дамб стало местом применения каторжного труда. Особенностью тобольских каторжных тюрем стало именно отсутствие таких объектов. Труд заключенных использовался

в разнообразных мастерских, сельском хозяйстве, рыбных промыслах. Производимые изделия шли на нужды заключенных, частично — на продажу местному населению. Так, в 1872 году из 325 арестантов военно-каторжного отделения производительным трудом были заняты 112 заключенных, из них «шитьем обуви — 34 человека, шитьем платья — 17 человек, столярным делом — 14 человек, плотничными работами — 12 человек... плетение корзин — 3 человека, мебельное плетение — 2 человека». Десять процентов от заработанных сумм шло на заработную плату заключенных, которые пошли на дополнительное, «приварочное» питание, постельные принадлежности и обувь.

Среди заключенных было немало умельцев. Так, в 1894 году на заказ изготавливались «очень оригинальные туфли из лыка... по очень дешевым ценам». Кузнечным производством было освоено изготовление плугов. 14 мая 1895 года в деревне Анисимовой состоялось испытание плугов, изготовленных в тобольских каторжных тюрьмах. Новые плуги отличались от тех, которые имелись в хозяйствах сибирских крестьян, — беспередковые, пароконные, были изготовлены каторжными из западных губерний, в хозяйствах которых такие плуги имели большое распространение... Испытание прошло успешно. Изделия тюремных мастерских демонстрировались на Курганской выставке 1896 года и получили высокую оценку.

Знаменитый тоболяк Дмитрий Иванович Менделеев во время визита в Тобольск в 1899 году посетил тюремный замок. Свои впечатления он вынес на страницы книги «Уральская промышленность в 1899 году»: «Из камер перешли в мастерские, я не видел им конца. Тут в горне накаливают железную полосу, и нам приходится пробираться мимо дюжего молотобойца, там сверлят, точат, опиливают аршинными подпилками прокованные части. Далее идем в столяр-

ную, сапожную и ряд других мастерских; везде кучи работающих каторжников. Конечно, присмотр есть, но его явно немного... В других местах поостереглись бы снабдить арестантов всякими видами всевозможных инструментов, начиная с напильников и ножей до тяжелых молотов...» Дмитрий Иванович был поражен устройством суконной мастерской, руководимой бывшим ткачом из Лодзи, попробовал черный хлеб, «которому позавидовали бы многие в Петербурге, в московских деревнях и даже южнорусских захолустьях, потому что так испечь нелегко».

Высокая оценка устройства каторжных работ известным ученым быстро сделала славу тобольским тюрьмам. Начальник тюрьмы Гофланд в 1902 году стал участником съезда тюремных деятелей в Санкт-Петербурге, а смотритель тюрьмы Могилев совершил поездку в Германию по обмену опытом.

В 1908 году тюремный замок посетил известный композитор и этнограф В. К. Гартевельд. Цель его поездки была несколько неожиданная для тюремного начальства — сбор песен сибирских каторжан. Он ознакомился с жизнью каторжников и нашел «настроение работающих бодрым и оживленным». Его поразили оригинальностью и высоким качеством статуэтки и пресс-папье... из черного хлеба. «Оборудование мастерских не оставляет желать ничего лучшего. Оборудованы они всеми необходимыми и даже новейшими инструментами», — с удовлетворением отмечал путешественник.

Содержание заключенных и устройство камер произвело на него гнетущее впечатление: «Одиночные камеры отличаются от общих только величиною, но карцеры уже лишены всякой мебели... Это какие-то каменные мешки, из которых некоторые даже лишены дневного света. Я посетил, между прочим, знаменитый «горячий карцер», о котором в Тобольске ходит масса ужасных легенд. Говорят, что в этом карцере наказанные задыхаются от жары...»

Тюремные нравы

О тяжелом положении заключенных, быте и нравах тобольской каторги писал Владимир Галактионович Короленко. Он дважды был узником тобольских тюрем. «Пять шагов в длину, три с половиной в ширину — вот размеры нового нашего жилища, — писал он в рассказе «Яшка». — Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, из него видна на расстоянии двух сажен серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурной каймой многолетней пыли, стены серы, и при внимательном взгляде видны на них особые пятна — следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами — борьбы, может быть, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь... Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь «одиночки», которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось...»

Попытки улучшить быт заключенных были едва заметны. Тобольский централ стал символом репрессивной политики царской России.

В годы революционных потрясений тюрьмы, с одной стороны, стали очагом социальной опасности, с другой — катализатором политизации общества и ее проявления. Число заключенных по политическим мотивам в XIX веке было невелико, основу составляли заключенные по уголовным статьям. Поэтому октябрьский Манифест 1905 года об амнистии политзаключенных распространялся лишь на восьмерых арестантов: четверо подлежали освобождению, а

остальным сокращался срок каторжных работ наполовину. Это послужило началом к бунту. 22 октября арестанты отказались покинуть тюрьму без своих товарищей. Из камер доносились революционные песни. Заключенные начали освобождаться от кандалов. Чтобы усмирить заключенных, в тюрьму прибыл губернатор. Требования заключенных по улучшению питания и быта были частично удовлетворены. Затишье было недолгим. 14 декабря в тюрьме опять начались волнения. Так политзаключенные отметили 80-летие восстания декабристов. В тюрьму из города передавали революционную литературу, газеты, письма. В руках заключенных оказались десятки единиц холодного и огнестрельного оружия. 14 января 1906 года в каторжной тюрьме № 1 вспыхнул пожар. Раскованные каторжники представляли реальную угрозу для мирного населения. Вице-губернатор А. Л. Тройницкий вызвал из Тюмени две роты солдат. В камерах были произведены обыски. Изымались в первую очередь оружие, книги, письма. Начались порки. К концу января в тюрьмах был наведен относительный порядок.

Террор захлестнул Россию. 23 августа 1906 года совершено покушение на смотрителя каторжной тюрьмы № 1 М. В. Иконникова...

В мае 1907 года из разных тюрем России стали поступать политические ссыльнокаторжные. В тюрьме готовился бунт. Дело об участниках бунта было передано Омскому военно-полевому суду.

26 июля 1907 года был убит смотритель каторжной тюрьмы А. Г. Богоявленский...

14 января 1908 года убит старший надзиратель каторжной тюрьмы П. М. Григорьев...

В апреле 1908 года над бунтарями состоялся военный суд: 13 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Казнь состоялась в Страстную неделю. Рядом, в Софийско-Успенском соборе, шла торжественная служба. Звон колоколов

заглушал удары топоров — рубили виселицы. Репрессии стали единственной мерой поддержания порядка в тюремном замке.

Казнь политических заключенных потрясла не только жителей города. В российских и зарубежных газетах это событие вызвало общественный резонанс. Жалобы заключенных шли в разные инстанции. Депутат Государственной думы Н. Л. Скалозубов составил подробный отчет председателю Совета министров П. А. Столыпину о положении и порядках в тобольской каторжной тюрьме: «Тяжелым кошмаром над жителями города Тобольска тяготеет каторжная тюрьма, находящаяся в центре города... Разумное регулирование тюремного каторжного режима — мера крайне настоятельная не только в интересах справедливости и милосердия к несчастным каторжанам, но и в интересах городского населения, имеющего право требовать, чтобы его человеческие чувства не возмущались зверским поведением администрации каторги...» Несмотря на все принятые меры, ситуация в тюрьме не изменилась.

20 апреля 1909 года административно-ссыльным Н. Шишмаревым был убит смотритель каторжной тюрьмы И. С. Могилев...

Горький опыт губернской власти в годы первой революции пригодился в феврале 1917 года. 25 февраля тобольский губернатор Н. А. Ордовский-Танаевский собрал общее собрание губернского правления, где информировал собравшихся о событиях в Петрограде. На следующий день в 7 часов утра в тюрьмах были собраны представители камер. «К политическим зашел сам, — писал впоследствии Николай Александрович, — то есть всякое соприкосновение с другими не допускалось, только в храмах во время богослужений. Кратко изложил положение дел и обещал сообщать через начальников тюрем все новости. Высказал уверенность, что заключенные не осложнят дела. Они дали свое каторжное и арестантское слово».

Старая эпоха уступала место новой. Циркуляр губернского тюремного инспектора от 13 марта 1917 года предписывал: «Предлагаю разъяснить надзирателям, что грубость по отношению к заключенным впредь не может быть терпима... Отношение к заключенным должно быть проникнуто гуманностью и сердечностью рядом со спокойным требованием исполнения тюремных правил...»

Бархатовы за работой,

или Заплечных дел мастера

Ольга Бортникова

В России в XIX — начале XX века разрабатывалось уголовное законодательство, в том числе практика применения торговой и смертной казни, телесных наказаний и клеймения арестантов. Исполняли приговоры заплечные мастера, или палачи. Как правило, они назначались из добровольцев-арестантов, приговоренных губернским судом к наказанию плетьми и ссылке на поселение. В случае согласия стать заплечным мастером доброволец освобождался от телесного наказания. В 1838 году круг возможных претендентов на эту должность был расширен: в палачи разрешалось принимать заключенных арестантских рот, а также вольнонаемных из числа местных жителей. В том случае, если добровольцев не оказывалось, губернская администрация назначала заплечными мастерами осужденных преступников, «невзирая на их согласие».

Подбор палачей производился тщательно. Так, в 1836 году на эту должность претендовали два арестанта Тобольского тюремного замка: Влас Кудряшов, находившийся под судом, и Иван Антипин, приговоренный к телесному наказанию и ссылке в Восточную Сибирь. Губернские власти отказали обоим: первому — в связи с отсутствием решения суда по его делу, второму — без указания причин, что обычно означало недоверие к кандидату.

Выбранные палачи обязательно проходили медицинское освидетельствование «на предмет годно-

сти к службе». Так, в 1836 году тюремные врачи отклонили кандидатуру осужденного за бродяжничество Михаила Данилова. Однако медицинский осмотр уже работавших заплечных мастеров проводился редко. Так, палач Иван Зыков, как выяснилось в начале 1880-х годов, давно уже не был способен исполнять свои обязанности в связи с тем, что «имел золотушное воспаление шейных желез, перешедшее в затвердение с гипертрофией их, препятствующее свободному движению головы и вызывающее временные прилины крови и головокружение».

Тюремные заплечные мастера из числа добровольцев-арестантов принимались на службу бессрочно, назначенные без согласия — на срок не менее трех лет. Вольнонаемные палачи выбирались из представителей нижних сословий, но обязательно свободных. Как вольнонаемные, так и палачи из числа арестантов получали продуктовый паек и казенную одежду. Плата вольнонаемным палачам составляла от 200 до 300 рублей в год за счет земских сборов, на срок исполнения своих обязанностей они освобождались от всех повинностей того сословия, к которому принадлежали, а также обязывались жить в тюремном замке под надзором смотрителя. По окончании службы они не имели права претендовать на переход в иные сословия.

Палачи из числа заключенных-добровольцев содержались отдельно от других арестантов, но в случае неповиновения к ним применялись те же санкции. Кроме того, палачи обязаны были докладывать тюремной администрации всю известную им информацию о внутренней, скрытой от глаз начальства тюремной жизни. Эта обязанность ставила жизнь заплечных мастеров в опасность, а их и без того двойственное положение еще больше осложнялось. Примером может служить дело палача Омского тюремного острога Кологривова. В 1846 году администрации стало известно, что он знал и не донес об арестантах, совершивших кражу. За эту провинность

Кологривова приговорили к десяти ударам плетьми через исполнение низшими полицейскими чинами с предупреждением, что в случае следующей подобной провинности в краже обвинят его и дело передадут в суд. Не выдержав шантажа, Кологривов сбежал из тюрьмы.

Назначенные на должность заплечных мастеров бессрочно, но по старости или болезни неспособные дальше ее исполнять, независимо от продолжительности оставшегося срока заключения, выводились на поселение не ближе 60 верст от губернских центров. Однако казенное пособие, на которое имели право многие категории ссыльных, им не выплачивалось, и они жили за счет «посильных трудов» или на попечении родственников. Бывшие палачи-заключенные не имели права покинуть назначенное им место жительства и должны были оставаться под надзором местного полицейского начальства. Так, в 1860 году члены экспедиции Сибирского отдела Географического общества случайно обнаружили одно из поселений бывших заплечных мастеров. Поселок был расположен далеко в лесу, при этом связь с обывателями других селений не поддерживалась. Все жители поселка носили фамилию Бархатовы — это был псевдоним всех сибирских палачей.

Основная работа заплечных мастеров заключалась в исполнении телесных наказаний, которые проводились публично. 24 января 1824 года Государственный совет определил: «Если преступление совершено в разных городах, то для наказания выбирать тот город, который многолюднее прочих». В тот период наиболее устрашающее значение имела гражданская казнь, практиковавшаяся в двух видах: торговой и каторжной.

Торговая казнь проводилась в несколько этапов. Первый включал процесс следования преступника к лобному месту (месту наказания), официально введенный Министерством внутренних дел в 1846 году.

Для этого сооружались специальные «позорные дроги» черного цвета, представлявшие повозку с дубовой дугой, внутри которой прикреплялась скамья для помещения преступника. На грудь осужденному вешалась табличка, где было написано совершенное им преступление. Если наказанию подлежал отцеубийца, то ему на лицо дополнительно набрасывалось черное покрывало.

По прибытии из тюремного замка на лобное место преступника вводили на эшафот и прикрепляли к позорному столбу. Он имел восьмигранную форму, был сделан из досок, скрепленных тремя железными обручами, на один из которых прикреплялась цепь. Два ее конца надевались преступнику на руки выше локтя. Далее над осужденным зачитывался приговор. Если преступник происходил из дворянского сословия, то проводился дополнительный ритуал: над его головой надвое переламывалась шпага, что означало «политическую смерть». Как правило, шпага принадлежала самому преступнику, «за неимением таковой» специально для ритуала покупалась за казенный счет. После этого осужденный независимо от сословия оставался на десять минут «для позора», в течение которых каждый из обывателей мог выразить возмущение и презрение преступнику.

После позорного столба, если заключенный не был избавлен от физических наказаний, его пороли плетьми или кнутом, на концах которых прикреплялись ремни, а в некоторых случаях клеймили. Кнут имел несколько концов. Так, 6 июля 1841 года Тобольское губернское правление распорядилось заготовить восемь ремней для кнута, стоимость которых на торгах составила 16 рублей. В начале XIX века в судебных приговорах не указывалось число ударов; при наказании оно определялось произвольно, а несколько концов плети усугубляли его тяжесть.

Специальное приспособление для наказания — кобылка — представляло собой щит с выемками

для головы, рук и ног. Осужденный привязывался к щиту, который во время наказания наклонялся относительно помоста на 23 градуса, а при клеймении — на 45 градусов. До введения кобылки в 1846 году к исполнению торговой казни привлекались местные жители из собравшейся толпы, которых заставляли держать осужденного во время наказания. Эшафоты с позорными столбами на лобном месте устанавливались по необходимости, после наказания они разбирались и хранились при полиции. Иногда по требованию в разобранном виде перевозились в уезды.

В Западной Сибири в связи с высоким уровнем преступности была повышенная потребность в эшафотах. В 1851 году Тобольское губернское правление постановило выписать десять черных покрывал для отцеубийц и девять экземпляров разборных эшафотов с позорными столбами. Денег на это было выделено немало, ведь один эшафот стоил 228 рублей 54 копейки серебром. Это приобретение решило проблему исполнения телесных наказаний в уездах. В 1836 году, до нововведения, тарский уездный исправник отмечал: «Очень часто и почти ежедневно командируются в г. Тобольск казаки для привоза туда и обратно заплечного мастера, нужного для исполнения наказания. Для этих частых командировок выходит в разгон значительное число обывательских лошадей». Показания тарского исправника дают представление о масштабности применения телесных наказаний в рассматриваемом регионе.

Иногда наказание заканчивалось смертью осужденного и завуалированно выполняло роль смертной казни. По свидетельству очевидца, кнут — это «мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, мечет по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человека; мучение, лютейшее из всех других известных, ибо все другие, сколь бы болезненными они не были, всегда бывают менее продолжительны, тогда

как для двадцати ударов кнутом потребен целый час, и когда известно, что при многочислии ударов мучение несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего до заходящего солнца».

Власти широко использовали вырывание ноздрей и клеймение арестантов на различных частях тела, что также практиковалось публично и считалось обязанностью палачей. Решение о данном виде наказания выносил суд. «Штемпельные знаки» (клейма на лица) хранились в Тобольском и Томском тюремных замках и в случае необходимости доставлялись в уездные замки. Клеймение лица (каторжная казнь) — выжигание с помощью натертого пороха букв: на лбу — В, на щеках — О и Р, что означало «вор», или букв К, А, Т, что означало «каторжный».

В последней четверти XIX века в сибирских тюрьмах началось исполнение смертной казни, для чего потребовался новый штат палачей. Процедура смертной казни не допускалась в арестных домах и тюрьмах, предназначенных для содержания подследственных и подсудимых арестантов. Место для эшафота теперь выбиралось не только по принципу непубличности, но и по вместительности: приговор должен был исполняться в присутствии представителя прокурорского надзора, начальника местной полиции, секретаря суда, врача, защитника, а также начальника места заключения. Провозглашенному принципу непубличности казни противоречило дозволение Государственного совета присутствовать на ее исполнении местным обывателям «в числе не более 10 человек по приглашению городского общественного управления».

Тюремная реформа предусматривала более гуманный подход к «смертникам». В 1881 году Государственный совет рекомендовал: «В тех случаях, когда смертной казни подлежат одновременно два или более осужденных, нахождение всех их при совершении ея и ожидание своей очереди на эшафоте,

несомненно, усугубляло бы тяжесть их положения. Поэтому весьма желательно, чтобы преступники были выводимы на казнь поодиночке». Однако распоряжение по этому вопросу власти предоставляли делать тюремному начальству в административном порядке, что соблюдалось далеко не всегда.

Подготовка к проведению смертной казни в западносибирских тюрьмах начиналась с подбора места. Согласно докладам окружных исправников, в тюремных замках Тобольской и Томской губерний мест для непубличной смертной казни нет. Несколько чиновников предложили свое решение этой задачи. Ишимский исправник отмечал, что в случае необходимости можно отвести место в дальней половине тюремного двора и устроить там деревянный эшафот с навесом. Навес предполагался для того, чтобы заключенные второго этажа не могли наблюдать совершение казни. Тарский уездный исправник предложил исполнять смертную казнь сразу рядом с кладбищем. Сургутский исправник считал, что в его округе вообще нет необходимости в месте для установления эшафота, так как приговоренных к ней лучше отправлять в губернский центр.

Активная подготовка западносибирских тюрем к исполнению смертной казни означала наличие планов по ее расширенному применению. До начала тюремной реформы казнь была ограничена как уголовным законодательством, так и опасением народных волнений во время ее совершения. Отмена публичности отчасти сняла последнюю проблему. Расширение общественного и политического движения, ужесточение законодательства по государственным преступлениям содействовали более широкому применению смертной казни в России и распространению ее на западносибирскую пенитенциарную систему.

Наиболее нашумевшим в истории сибирской тюрьмы был процесс над сорока заключенными,

устроившими в январе 1908 года бунт в Тобольской каторжной тюрьме. Четверо из числа подсудимых ранее уже были приговорены к смертной казни, замененной в порядке помилования длительными сроками каторги. Этих четверых и еще девятерых бунтовщиков Временный военный суд приговорил к казни через повешение. Рассмотрев их кассационную жалобу с просьбой заменить казнь пожизненным заключением, командующий Омским военным округом оставил приговор без изменения.

Казнь совершалась во дворе каторжной тюрьмы с 3 часов до 7 часов 15 минут непублично, поочередно над тринадцатью арестантами. Два врача — судебный и тюремный — фиксировали смерть заключенных через 15 минут после повешения. По окончании казни тюремный врач подал в отставку, не выдержав нервного напряжения.

Приговоры исполняли палачи из числа заключенных. Характеристика одного из них сохранилась в воспоминаниях политссыльного Г. Сандомирского: «Мне довелось видеть одного такого палача. Из добровольца он превратился в профессионала. Он давно уже окончил срок, но продолжал свою почетную работу из ненависти к арестантам, обварившим его кипятком не то в Тобольской, не то в Тюменской тюрьме. Это был отвратительный старик лет за 60, на вид еще очень бодрый и крепкий. Лицо его, обезображенное ожогами, дышало какой-то неутомонной злобой ко всему окружающему. Самые циничные ругательства не переставали сходить с его уст. Свою карьеру он начал в Тобольске повешением нескольких арестантов, и, когда прибыл в наш централ, в его формуляре числилось 37 казней. Тобольский палач бравировал этим числом. Он гордился своей неустрашимостью и требовал от администрации, чтобы его держали не в одиночке, а в камере укрывающихся».

Исполнители смертной казни охранялись администрацией. Так, в 1908 году палачи В. Карпенко,

Г. Киселев, Д. Толстиков и Ф. Трофимов просили смотрителя перевести их из Тобольска в другую тюрьму, «дабы не удалось арестантам совершить над нами убийство и отомстить за своих казненных товарищей». Их просьба была удовлетворена, однако преследование не прекратилось и там. В этом же году они просили о переводе из Кургана в Тюмень.

Власти не всегда организовывали охрану палачей и предоставляли им обещанные льготы. Так, Т. Сайгаков, палач в Курганской тюрьме, просил отстранить его от должности: «Я нахожусь в болезненном состоянии, а главное — при больших угрозах на мою жизнь, которые я слышу постоянно, а я ничем не обеспечен в защиту себя... Обещали сокращение срока, возвращение прав, вскоре — освобождение из тюрьмы, но я ничего не получил».

Практика исполнения смертной казни, в том числе положение палачей-заключенных, создавала лишь внешнюю видимость гуманизации института тюрьмы, провозглашенного реформой 1879 года. Усиление репрессивной функции требовало расширения штата палачей, как правило, осужденных за убийство, что лишь усиливало их криминальные наклонности. Это противоречие должно было разрешиться коренным реформированием сложившейся системы уголовных наказаний.

Старорусский уклад на скамье подсудимых: процесс против игуменьи Митрофании в Московском окружном суде (1874 год)

Сандра Дальке

В феврале 1873 года к прокурору Петербургского окружного суда Анатолию Федоровичу Кони поступил иск купца Лебедева, согласно которому игуменья Митрофания обвинялась в подделке векселя на сумму более чем 22 тысячи рублей[1]. Дело оказалось деликатным, поскольку игуменья — в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен — была фигурой влиятельной, публичной, имевшей тесные контакты с двором. По иску Лебедева петербургская прокуратура возбудила судебное дело, которое закончилось одним из самых зрелищных судебных процессов второй половины XIX века[2].

Эта история оказалась в центре внимания публики задолго до начала судебного заседания. Прежде всего потому, что подсудимая еще в начале

[1] Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 1. — М., 1914. С. 53. Как иск попал в Санкт-Петербургскую прокуратуру, не ясно. Согласно реформированному Уголовно-процессуальному кодексу, органы полиции были обязаны доводить до сведения следователя либо прокурора о заявленных уголовных преступлениях. См. также: Baberowski, J. Autokratie und Justiz: Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864-1914. Frankfurt a.M. 1996. S. 89.

[2] Данный судебный процесс лег в основу многих литературных произведений: например, комедии Александра Островского «Волки и овцы», премьера которой состоялась в Москве в 1875 году, стихотворения Николая Некрасова «Современники», а также цикла Михаила Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности».

1860-х годов сама выступала инициатором гражданских процессов, в ходе которых решительно взыскивала завещанное ее монастырю имущество с нежелавших отдавать его родственников покойных[1]. Кроме того, в прессе обсуждался состоявшийся 20 марта 1873 года арест игуменьи в рамках следствия по иску Лебедева, а также обстоятельства полуторагодового предварительного заключения[2]. Начало процесса 5 октября 1874 года стало сенсацией: никогда еще в открытом судебном процессе на скамье подсудимых не находилось столь высокопоставленное лицо. Также впервые в истории русского права перед публичным «светским» уголовным судом предстало лицо духовное[3]. В прессе процесс был представлен так, будто Москва не говорила ни о чем другом. Около тысячи москвичей, сообщали газеты, с раннего утра лихорадочно ожидали в Кремле прибытия игуменьи к залу суда, бывшему залу заседаний Сената, чтобы хоть одним глазком взглянуть на знаменитую подсудимую.

---

[1] Андреев В.Н. Жизнь и деятельность Баронессы Розен, в монашестве игуменьи Митрофании. Ч. 1. — СПб. 1876. С. 128 – 130; Там же. Приложение, С. 29 – 36; Решение Московскаго окружнаго суда по делу о взыскании игуменьею Серпуховскаго Владычнаго монастыря Митрофаниею с наследников потомственнаго почетнаго гражданина Михаила Герасимовича Солодовникова по обязательству 580.000 р. // Юридический Вестник. 1875. № 3. С. 129 – 161; Забелина Е.П. Дело игуменьи Митрофании. Подробный стенографический отчет. — М., 1874. С. 137 – 139; Гиляров-Платонов Н.П. Из пережитаго. Автобиографическое воспоминание. Т. 2. — М., 1886. С. 316 – 318.

[2] Московские ведомости. 1873. 1 февраля. № 31. С. 5; 3 марта. № 52, С. 5; 11 марта. № 60. С. 5; 14 марта. № 63. С. 3; 24 марта. № 73. С. 4 – 6; Курляндский И.А. Митрополит Иннокентий (Вениаминов) и игуменья Митрофания (по новым архивным документам) // Церковь в истории России. Сборник 3. Под ред. Васильева О.Ю. — М., 1999. С. 149.

[3] Дела уголовно-правового значения были исключены из судебной практики церковных судов. Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. — М., 1999. С. 17; Baberowski J. Op. cit. S. 73.

Зал суда был набит битком. К его дверям пришлось приставить усиленные наряды жандармов[1].

Процесс вызвал у современников такой большой интерес, поскольку в его ходе обсуждались принципиальные вопросы права, справедливости, социального порядка и форм коммуникации в обществе.

Незаурядная карьера

Отец игуменьи Митрофании — генерал-адъютант Григорий Владимирович Розен — был родом из Прибалтики. Он сделал впечатляющую военную карьеру: участвовал в войне с Наполеоном и сыграл существенную роль при взятии Парижа в 1813–1814 годах. Мать игуменьи — Елизавета Дмитриевна Зубова — была племянницей последнего фаворита Екатерины II, Платона Александровича Зубова, и придворной дамой императрицы Марии Федоровны. После смерти отца будущей игуменьи в 1841 году царская семья взяла юную девушку на свое попечение[2]. В 18 лет она стала придворной дамой императрицы Александры Федоровны. В 1852 году с согласия Николая I она оставила светскую жизнь и стала монахиней. В 1861 году митрополит Филарет назначил ее игуменьей Серпуховского Владычного монастыря, находившегося примерно в ста километрах к югу от Москвы. Под покровительством императрицы Марии Александровны она основала три общины сестер милосердия в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве[3].

Митрофания была одной из главных фигур в дискуссии о переустройстве монастырской жизни. Она

---

[1] Голос. 1874. 15 октября. № 285. С. 1–2; Русские ведомости. 1874. 13 октября. № 220. С. 2; [Деметр] Н.А. Матушка Митрофания//Отечественные записки. 1874. № 11. С. 256–273; Самаро А.А. Дело игуменьи Митрофании. – Л., 1990. С. 68.

[2] Розен А. Очерк фамильной истории Баронов фон Розен. — СПб., 1876. С. 61.

[3] Курляндский И.А. Указ. соч. С. 134–158; Русская старина. 1902. № 1–3. С. 36–56; № 4–6. С. 285–302.

вела борьбу за усиление благотворительной деятельности монастырей[1]. Основанные по инициативе игуменьи общины сестер были новшеством, поскольку как христианские благотворительные организации они напрямую подчинялись епархиальному начальству. И на трех упомянутых общинах этот процесс не должен был остановиться. Амбициозные планы Митрофании встретили в церкви серьезное противодействие, в особенности потому, что основное бремя по организации и руководству епархиальными сестринскими общинами должны были взять на себя монастыри. Противники игуменьи упрекали ее в том, что она привносит вредные западные новшества и тем самым изнутри разрушает основы отечественной монастырской жизни. Поскольку в лице императрицы Митрофания имела могущественную союзницу, ее критики не сразу начали наступление.

Игуменья Митрофания для исполнения своих амбициозных проектов смогла не просто заручиться поддержкой императорской семьи, но и развить бурную деятельность. Она поддерживала вовлеченность императорской семьи в благотворительные дела, умела изыскивать для этого материальные ресурсы. Уже в 1865 году Митрофания по желанию великой княгини Александры Петровны и с помощью митрополита Филарета возглавила основанную великой княгиней в Петербурге сестринскую общину. Поддерживая появление благотворительных сестринских общин в городах Российской империи, которые подчинялись церковной администрации, царская семья преследовала и политическую цель: а именно, как выражалась сама Митрофания, подавить «нигилизм»[2], то есть контролировать

---

[1] Meehan-Waters B. Metropolitan Filaret (Drozdov) and the Reform of Women's Monastic Communities // Russian Review. Vol. 50/3. 1991. P. 310 – 23.

[2] Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Митрофании // Русская старина. 1902. № 4 – 6. С. 285 – 302.

и направлять общественные движения, используя для этого помощь церковной администрации и привлекая представителей родовитого дворянства[1].

В своей практической деятельности как игуменьи бывшая придворная дама первое время была исключительно успешна. Она слыла впечатляюще энергичной личностью с острым «мужским складом ума», ловкой и успешной предпринимательницей[2]. Под ее руководством строились не только больницы, сиротские приюты, но и сельскохозяйственные и ремесленные предприятия, кирпичные заводы и камнетесные мастерские. В конце 1860-х годов более 400 сестер и монахинь жили во Владычном монастыре: почти в два раза больше, чем до того, как Митрофания стала игуменьей[3]. Она была почетным членом Императорского общества фабрикантов шерстяной промышленности, ей было присуждено множество почетных наград в области экономики[4]. То, что ее достижения были по достоинству оценены царицей, выражалось в поднесенных ей подарках и оказывавшихся почестях. Они были не только вознаграждением за труды Митрофании, но и служили публичными знаками отличия. Все это делало Митрофанию в глазах современников могущественной патронессой.

Однако эта история успеха не была кристально чистой. По уже упомянутому иску купца Лебедева петербургский прокурор начал судебное расследование.

---

[1] Freeze G. Russian Orthodoxy: Church, People and Politics in Imperial Russia // Lieven D. (Ed.) The Cambridge History of Russia. Vol. 2: Imperial Russia, 1689 – 1917. Cambridge. 2006. P. 284 – 305; Козлинина Е.И. За полвека. 1862 – 1912. Воспоминания, очерки и характеристики. — М., 1913. С. 28 – 31.

[2] Кони А.Ф. Указ. соч. С. 49 – 50.

[3] Андреев В.Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 153, 154; Козловцева Е.Н. Московские общины сестер милосердия во второй половине XIX – начале XX в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. Исторический факультет. — М., 2006.

[4] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 762. Д. 313. Л. 208 – 208 об.

20 марта 1873 года игуменья была арестована и посажена под домашний арест. Дело Лебедева вскоре передали в Московский окружной суд, а игуменью препроводили в московскую следственную тюрьму. Это было связано еще и с тем, что в Москве начиная с марта расследовались весьма тяжкие дела по иску купчихи Медынцевой и богатого купца Михаила Герасимовича Солодовникова, по которым игуменья подозревалась в мошенничестве, шантаже, подделке ценных бумаг и торговле знаками отличия. Позже, на процессе, Лебедев, Медынцева и наследники Солодовникова выступили в качестве соистцов.

Пострадавшие были богатыми купцами, вступившими в контакт с Митрофанией вследствие возникших у них личных проблем. Медынцеву муж отдал под опеку по причине алкоголизма и предосудительного поведения, Солодовников был скопцом. После судебной реформы уголовное преследование скопцов значительно ужесточилось, и Солодовников опасался оказаться под арестом, как многие приверженцы этой секты, осужденные зимой 1870/1871 года. И Медынцева, и Солодовников обратились к игуменье, надеясь, что она сможет походатайствовать за них в «высших сферах власти». Солодовникову посоветовал обратиться к игуменье его адвокат[1]. А Медынцеву познакомил с Митрофанией местный полицейский чин[2]. В качестве ответной услуги за заступничество игуменьи купцы жертвовали монастырю и сестринским общинам деньги, недвижимость, строительные материалы, осуществляли взносы в форме векселей или оформляли завещания в пользу учреждений, которыми руководила игуменья.

Помимо этого игуменья, согласно обвинительному заключению, торговала орденами и знаками отли-

---

[1] Несмотря на поддержку со стороны игуменьи, Солодовников был арестован 7 января 1871 года и умер в октябре того же года в предварительном заключении. См.: ЦИАМ. Ф. 142. Оп. 2. Д. 580 – 584.

[2] Забелина Е.П. Указ. соч. С. 223, 260 – 264.

чия. Каждый носивший на груди орден Св. Анны или Св. Станислава, то есть получивший эти награды от нее благодаря своим пожертвованиям на монастырь или на сестринские общины, получал определенные привилегии и общественное уважение. Прежде такое было невозможно. Но в 1871 году был издан указ, разрешающий выдачу награждений взамен на крупные пожертвования. Все это регулировалось уставами самого монастыря и сестринских общин[1]. Имена жертвователей и пожертвованные ими суммы публиковались в газетах. Особо щедрые жертвователи могли получить аудиенцию у царской четы[2]. Практика пожертвований помогала состоятельным гражданам публично демонстрировать, на какое место в общественной иерархии они претендуют. Царская чета стояла на вершине пирамиды клиентелы. В пореформенное время практики такого рода стали сомнительными с точки зрения морали, во время процесса, о котором идет речь, были криминализированы, несколько позднее — запрещены законом. Однако делами такого рода не исчерпывался перечень грехов игуменьи: согласно обвинительному заключению, она с большим размахом подделывала векселя, шантажировала, обманывала и оказывала давление на тех, кто к ней обращался, — свою клиентелу[3].

Судебный процесс как педагогическое зрелище

Процесс длился две недели. Многие опасались, что слушания так и не состоятся или быстро будут прекращены ввиду исключительных связей игуменьи в «высших сферах власти»[4]. Однако вопреки

---

[1] ЦИАМ. Ф.142. Оп. 2. Д. 335. Л. 10 – 11.

[2] Ульянова Г.Н. Благотворительность московских предпринимателей, 1860 – 1914. — М., 1999. С. 163 – 164; Lindenmeyr A. Poverty is not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia, Princeton. 1996. P. 40.

[3] Забелина Е.П. Указ. соч. С. 27 – 36, 62.

[4] [Деметр] Н.А. Указ. соч. С. 256.

этим ожиданиям ни в период предварительного следствия, длившегося более года, ни во время судебных слушаний не нашлось ни одного влиятельного ходатая за игуменью. Петербургский прокурор Анатолий Кони, который вел дело Лебедева в части дознания, в своих воспоминаниях указывает, что он лично поставил министра юстиции графа Палена в известность об иске Лебедева. Тот настоятельно просил провести дело, невзирая на лица. И московский генерал-губернатор князь Долгоруков всеми силами поддерживал процесс. Кони сообщает также, что сначала никто не хотел брать на себя защиту игуменьи Митрофании[1]. В конце концов ее защитниками в суде стали присяжные поверенные С. В. Шайкевич и С. С. Щелкан, продемонстрировавшие степень своего участия в деле еще и тем, что не явились на оглашение приговора.

Суд присяжных приговорил Митрофанию к лишению всех прав и трехлетней ссылке в Енисейскую губернию и в течение одиннадцати следующих лет — в другие губернии. Этот приговор на фоне судебной практики того времени был необычайно суров. Игуменья отреагировала на приговор кассационной жалобой, прошедшей Сенат, но оказавшейся безуспешной. Однако мера наказания не была полностью соблюдена: вмешавшиеся родственники игуменьи в ходе тайных переговоров с министром юстиции добились ее смягчения[2]. Остаток своей жизни игуменья провела в нескольких монастырях на Кавказе и на юге России.

В итоге поддержка процесса над игуменьей Митрофанией министром юстиции, московским генерал-губернатором, активность московской прокуратуры в этом деле и нежелание царской семьи помогать обвиняемой — все это дает основание предполагать, что здесь речь шла о содействии всеми силами судеб-

---

[1] Кони А.Ф. Указ. соч. С. 53.

[2] ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 626. Л. 1 – 3.

ной реформе, подрыве традиционной системы отношений клиентелы, ограничении особых прав церкви, укоренении новых правовых форм коммуникации в обществе и, наконец, усилении монополии власти и контролирующей способности государства. За деятельностью Министерства юстиции, губернатора, прокуратуры, адвокатуры и даже Священного Синода, так же как и за сдержанной позицией царской семьи, стояли тем не менее различные партикулярные интересы.

И московский окружной прокурор Жуков, и петербургский прокурор Кони, и публицист-славянофил Гиляров-Платонов, а также князь Голицын были едины в том, что процесс преподал старым элитам «нравственный урок» и явился поучительной пьесой, дискредитировавшей «общественные язвы нашего времени» и несправедливость старого порядка[1]. Центральной мишенью этой критики были прежде всего высшее дворянство и церковь, их злоупотребления властью и в особенности иммунитет против уголовного преследования[2]. Так, прокурор Жуков был недоволен тем, что консистория и митрополит самовольно игнорировали свою подотчетность Министерству внутренних дел, покрывали преступные деяния и тем самым подрывали авторитет государства[3].

После окончания процесса многие обрушились на него с резкой критикой в связи с позицией церкви, точнее Московской консистории, которая отказалась признать вину игуменьи[4]. Консистория провела собственное расследование и при этом — так по крайней мере видел прокурор — утаила важные доказательства, выдать которые ее принудил лишь указ обер-прокурора

---

[1] ОР РГБ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.

[2] Freeze G. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia reconsidered // Journal of Ecclesiastical History. Vol. 36. 1985. P. 82 – 102.

[3] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 345. Д. 1. Л. 42 – 57 об.

[4] ОР РГБ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 4. Л. 457.

Священного Синода[1]. На основании имеющихся в деле документов консистория пришла к противоположному выводу: игуменья невиновна, а купец Лебедев, так же как и наследники Солодовникова, объявил векселя поддельными, чтобы избежать обязательств по уплате[2]. Это мнение консистория огласила в своем заявлении перед судом[3]. По словам анонимного автора «Отечественных записок», если бы это зависело от консистории и существовал бы старый порядок судебного производства, преследованию подверглась бы вовсе не игуменья, а пострадавший купец Лебедев. При прежнем судебном порядке пострадавший из страха даже и не отважился бы потребовать восстановления своих прав.

Гарантом нового, справедливого порядка — под ним подразумевалось равноправие сторон перед законом — была, согласно публицисту Гилярову-Платонову, публичная сфера, то есть публика в зале суда, присяжные и пресса, наблюдавшие за тем, чтобы законы соблюдались. Начиная с 1869 года этот публицист-славянофил в своей газете «Современные известия» вел собственную кампанию против игуменьи. При этом он повсеместно преследовал свои интересы. Поводом к этой кампании послужило прежде всего то, что игуменья с согласия митрополита присвоила для своих благотворительных нужд наследство богатого лесоторговца Пальскова, хотя в своем завещании тот предписал построить на эти деньги приходскую школу. Понесший таким образом ущерб приходский священник был близким другом Гилярова-Платонова[4].

---

[1] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 345. Д. 1. Л. 1 – 13, 42 – 57 об; ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 343. Д. 1. Л. 1 – 6.

[2] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 762. Д. 313.

[3] Забелина Е.П. Указ. соч. С. 328 – 335.

[4] Гиляров-Платонов Н.П. Из пережитаго. Автобиографическое воспоминание. Т. 2. — М., 1886. С. 306 – 318; Id. Вопросы веры и церкви. Сборник статей 1868 – 1887 гг. Т. 1. Изд. К.П. Победоносцева. — М. (синодальная типография), 1905. С. 204, 210, 388, 460, 464, 466, 474; ОР РНБ. Ф. 847. Д. 456. Л. 34.

Однако даже с самыми «прогрессивными» сторонниками нового правового порядка не всегда все было чисто. Так, адвокат наследников Солодовникова Федор Плевако инициировал совместно с Гиляровым-Платоновым кампанию в прессе, объявив выданный от имени умершего Михаила Герасимовича Солодовникова вексель на общую сумму 580 тысяч рублей поддельным[1]. Невозможно представить, чтобы эта инициатива исходила от его доверителя, брата покойного, поскольку, согласно высказываниям многих очевидцев и врачебным свидетельствам, тот давно страдал прогрессирующим «размягчением мозга» и не мог считаться правоспособным. Таким образом, возникло впечатление, что Плевако из алчности и жажды славы сам создал себе это весьма выгодное поручение. Помимо этого циркулировали слухи, что Плевако во время предварительного следствия приглашали в министерство с целью обсуждения процесса, где между ним и следователем состоялись некоторые договоренности[2]. Два других участника процесса — один из адвокатов Медынцевой и один из поверенных Михаила Герасимовича Солодовникова — стряпчий Санкт-Петербургского экономического суда[3] Серебряный — потребовали от своих доверителей деньги на взятки членам Сената («для ходатайства»). Серебряный для этих целей вытребовал неслыханную сумму в 225 тысяч рублей и после ее получения скрылся[4].

---

[1] Решение Московскаго окружнаго суда... С. 129 – 161; Современные известия. 1873. 25 февраля. № 54; 29 февраля. № 58.

[2] [Деметр] Н.А. Указ. соч. С. 256.

[3] Стряпчие были судебными уполномоченными, при этом они, как правило, не имели юридического образования. По закону любой подданный царя (за небольшими исключениями) мог стать стряпчим. После реформы они продолжали практиковать, но не могли быть приняты в адвокатуру. См.: Kucherov S. Courts, Lawyers and Trials under the Last three Tsars. New York. 1953. P. 108; Pomeranz W. E. Justice from the Underground: The History of the Underground Advokatura // Russian Review. Vol. 52. 1993. P. 321 – 340.

[4] Забелина Е.П. Указ. соч. С. 95 – 96, 102, 143 – 145, 204 – 205, 276.

Все это обсуждалось и в ходе судебного разбирательства по делу игуменьи, и на самом процессе и не способствовало формированию у современников доверия к судам нового образца. Адвокаты со всей очевидностью сами участвовали в практиках, которые они так ревностно разоблачали. Практика ходатайства была лишь профессионализирована посредством нового статуса адвокатов, став еще более дорогостоящей. Внимательные очевидцы процесса могли заметить, что стоимость того или иного адвоката измеряется не столько его профессиональными знаниями юриста, сколько качеством его контактов среди членов Сената.

Конкурирующие представления о праве и справедливости: «защитники старого порядка»

Сама игуменья и ее защитники совсем иначе, чем «прогрессивные» современники, представляли себе справедливый порядок. Во время процесса и после оглашения приговора в Москве, возможно по инициативе консистории, во многих церквях прошли службы, на которых молились за игуменью как за «невинную мученицу»[1]. Эти церковные службы стали предметом внутреннего расследования Священного Синода, вел его лично обер-прокурор Синода граф Толстой. Он счел эти службы преступлением против государства[2]. Церковь отказывалась признать решение Московского окружного суда, а вместе с этим — авторитет самого государственного института. По Москве ходило анонимное апологетическое сочинение, напечатанное в Киеве[3]. А двумя годами позднее

[1] Русские ведомости. 1874. 17 октября. № 223; Московские ведомости. 1874. 19 октября. № 261.

[2] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 523. Д. 31 Л. 1 – 14.

[3] Идея учреждения епархиальных общин сестер милосердия при девичьих монастырях и прошедшее игумении Митрофании. в 4-х письмах. — Киев, 1874.

появилась подробная биография игуменьи. Ее автор, Владимир Андреев, поставил себе задачей восстановить честь благотворительницы и вместе с ней — всего высшего дворянства[1]. Так же и некоторые газеты, в особенности «Деятельность» и «Русский мир», превратились в рупор защитников игуменьи.

Сама игуменья опровергала все пункты обвинения. Она придерживалась того мнения, что как раз благодаря своим исключительным контактам при дворе, в Сенате и в министерствах она могла восстанавливать социальную справедливость. Например, в желании многих купцов приобрести знаки отличия она не видела ничего предосудительного. Дворяне могли легко получить привилегии по службе, в то время как купцы имели для этого всего лишь одну возможность — пожертвования.

Это самовосприятие схоже с моделью женской дворянской идентичности, разработанной Гэри Маркером в его микроисследовании об Анне Лабзиной, дворянке-благотворительнице конца XVIII — начала XIX века. Лабзина рассматривала себя не только как благотворительницу, но и как «заступницу», которая использовала свои связи с богатыми и облеченными властью людьми, чтобы содействовать бедным. Вовлекаясь в эту деятельность, дворянские женщины, согласно Маркеру, создавали публичное пространство деятельности, концептуализировавшееся через религиозные категории, прежде всего категории благочестивого самопожертвования[2]. В свете этой философии становится понятным, почему игуменья, несмотря на доказательства, не признала своей вины. Она представляла отчасти демократический, отчасти реставрационный концепт, с помощью которого пы-

---

[1] Андреев В.Н. Указ. соч.

[2] Marker G. The Enlightenment of Anna Labzina: Gender, Faith, and Public Life in Catherinian and Alexandrian Russia // Slavic Review. Vol. 59. 2000. P. 369 – 390.

талась восстановить социальное равновесие, не покушаясь при этом на сословный порядок. С точки зрения юристов, раздавая знаки отличия и устанавливая социальную классификацию жертвователей, она соотнесла себя с упорядочивающей силой государства, умышленно пренебрегая авторитетом государственных институтов[1].

Доказательства якобы царившего в реформированных судах произвола приводились в сочинении Андреева. Восстановить справедливость, по его мнению, может не суд, а лишь могущественный человек, удовлетворяющий всем моральным принципам, то есть человек самоотверженный, поскольку законами могут злоупотреблять с целью преследования неправедных, то есть, по Андрееву, своекорыстных, целей. Неудовольствие Андреева было направлено в первую очередь против прокурора Жукова и адвоката соистцов Плевако. Они инструментализировали законы из корыстных соображений, из жажды славы, тщеславия и алчности, тем самым нарушив самые элементарные нормы справедливости[2]. Деятельность игуменьи он, напротив, оценивал как утверждающую справедливость, поскольку она основывалась на религиозно мотивированном самопожертвовании и служила благу общества. Предложенная Андреевым интерпретация процесса отчетливо показывает, что он вслед за игуменьей понимал закон не как корпус повсеместно обязательных и действующих для всех правил, а как средство в борьбе за власть между враждующими лицами.

Заключение

Процесс против игуменьи Митрофании отсылает не только к конкретным эпизодам борьбы за власть между отдельными лицами и целыми институциями,

[1] Забелина Е.П. Указ. соч. Прения. С. 85 – 86.

[2] Андреев В.Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 4 – 5.

но и к конкурировавшим представлениям о том, каким образом должен быть установлен справедливый порядок. Эти конфликты были мотивированы социальным статусом участников процесса. В отличие от игуменьи, представительницы родовитого дворянства, Гиляров-Платонов, Жуков и Плевако сами поднялись по социальной лестнице.

Игуменья и ее приверженцы верили, что можно установить справедливость с помощью неформальных отношений клиентелы, и делали ставку на моральную безупречность отдельных лиц. Закон, с их точки зрения, должен был выполнять функцию защиты доброго имени и чести этих лиц[1]. «Прогрессивные» акторы, напротив, выступали за то, чтобы устанавливать справедливость через всеобщее равенство перед законом и публичную сферу, стоящую на страже правильного применения законов. Они конструировали законы как выражение «общественной совести», как воплощение основополагающих общественных ценностей и царскую чету — как высших слуг закона. При этом публичная сфера — в образе журналистов, присяжных и публики в зале суда — была не только реальной апелляционной инстанцией, но и абстрактным авторитетом, посредством которого легитимируются притязания и требования этих поднявшихся по социальной лестнице акторов.

Сторонники игуменьи чем дальше, тем больше подпадали под давление, поскольку их точка зрения становилась все менее созвучной с амбициями царского правительства по распространению государственного контроля и выстраиванию эффективных государственных структур. Именно из этих амбиций по созданию эффективной государственности выходцы с периферии и надеялись извлечь свою выгоду. Такое «модерное», покоящееся на правовых нормах государство, с их точки зрения, казалось полным

[1] Андреев В.Н. Указ. соч. С. 8.

новых возможностей для их самореализации. И сама царская семья своим сдержанным поведением сигнализировала, что выступала за правовое оформление форм общественной коммуникации, демонстрируя обязательства самодержавия и верхушки дворянства в отношении действующих правовых норм. Именно об этом шла речь на процессе против игуменьи Митрофании, и именно это провозгласил суровый приговор присяжных. Игуменья стала воплощением плохой и несправедливой власти. «Старый порядок» амбициозные выходцы с периферии империи маркировали как женское властвование.

На примере процесса против игуменьи Митрофании можно увидеть, что значила публичность новых судов для самодержавия. Поскольку императрица была покровительницей благотворительных заведений, которыми руководила Митрофания, игуменья была подотчетна не только консистории, но и царице[1]. Игуменья неоднократно заявляла перед судом, что законы, обвинение и даже сам приговор для нее не могут служить мерилом, поскольку она пользуется доверием самой императрицы, которая, стоя над законом, одобрила ее образ действий. Дневниковые записи князя Голицына показывают, что высшие чины империи каждый день во время процесса опасались, что высказывания игуменьи, публиковавшиеся во всех солидных ежедневных газетах, могли нанести ущерб авторитету императрицы и тем самым — самой монархии[2].

Сама царская чета, инструментализировать которую пытались почти все стороны процесса, прежде всего, чтобы добавить веса своим аргументам, находилась в очень некомфортной ситуации. Очевидно, что она была втянута в не самые чистые дела игуменьи. Императрица публично демонстрировала свое

[1] Козловцева Е.Н. Указ. соч. С. 56.

[2] ОР РГБ. Ф. 75. Оп. 1. Д. 4. Л. 457.

доверие Митрофании своими подарками. Расчет на то, что удастся канализировать социальную ангажированность, приписав ее церковным административным структурам, не оправдался. Публичный авторитет игуменьи Митрофании в зале суда был «принесен в жертву», поскольку привилегия царя на дарование милости в первые пореформенные годы более не могла способствовать поддержанию легитимности самодержавия, но, напротив, угрожала ему. Статус монархии благодаря публичности новых судов стал более сомнительным. Это было причиной сдержанного поведения императорской семьи, тем самым демонстрировавшей публичной сфере оформление правовых основ монархии. Состоявшееся втайне смягчение наказания показывает тем не менее, что она не до конца последовательно чувствовала себя обязанной подчиняться законам, но весьма расчетливо признавала себя при этом сторонницей принципов судебной реформы.

«А ведь могло быть и хуже»

Российские адвокаты в дореволюционном анекдоте

Алексей Демичев

Судебная реформа 1864 года изменила судебную систему Российской империи. В стране были созданы «общие» и мировые судебные учреждения, реорганизована прокуратура, введены новые институты (мировой суд, присяжные заседатели, адвокатура).

Как отреагировало население на эти нововведения? Ответить на этот вопрос поможет анекдот. Анекдот — это специфический исторический источник, отражающий историческую действительность в несколько непривычном для обыденного восприятия свете.

До нас дошло более сорока анекдотов, в которых фигурируют представители адвокатской корпорации. Для сравнения укажем, что дореволюционных анекдотов о мировом суде сохранилось около двадцати, о суде присяжных — чуть более десятка, о прокуратуре — менее десяти.

Среди комплекса анекдотов, где упоминаются адвокаты (до революции 1917 года они официально назывались присяжными поверенными и частными поверенными), есть персонифицированные, главными героями которых стали люди, оставившие наиболее яркий след в глазах современников. Таковыми являются Ф. Н. Плевако и А. В. Лохвицкий.

Наша справка

Федор Никифорович Плевако (1842 – 1908) окончил юридический факультет Московского универси-

тета и начал службу в Московском окружном суде в должности секретаря, с 1866 года выступал уже в качестве адвоката. Наибольшую известность Плевако принесло участие в делах о «Клубе червонных валетов», игуменьи Митрофании, деле Качки, деле о Морозовской стачке и др.

Плевако отличался высоким уровнем профессионализма и умением вести полемику. Как отмечает В. И. Смолярчук: «Ф. Н. Плевако прославился на всю Россию своим ораторским дарованием и долгие годы слыл московским златоустом. Его личность сделалась легендарной, и ни о ком не ходило столько анекдотов и мифов, сколько о нем»[1].

О Плевако до нас дошло девять анекдотов, некоторые из которых имеют различные варианты. Дело в том, что Федор Никифорович далеко не всегда специально готовил речи и писал их тексты.

Анекдот № 1 (вариант 1)[2]

Судили священника. Он сознался во всех преступлениях. Товарищи-адвокаты в шутку сказали Плевако:

— Ну-ка, Федор Никифорович, выступи его защитником. Тут, брат, уж и ты ничего не сможешь сделать.

— Ладно! Посмотрим.

И выступил.

Все бесспорно, уцепиться совершенно не за что. Громовая речь прокурора. Очередь Плевако.

Он медленно поднялся — бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз. И присяжные оправдали священника.

Вот что сказал Плевако:

— Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти престу-

---

[1] Смолярчук В. И. Гиганты и чародеи слова: (Русские судебные ораторы второй половины XIX — начала XX века). — М., 1984. С. 202.

[2] Вересаев В. В. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. Невыдуманные рассказы о прошлом. — М., 1985. С. 118.

пления подсудимый совершил, и сам в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?

И сел.

Присяжные оправдали подсудимого.

Анекдот № 1 (вариант 2)[1]

Судили как-то одного попа за какую-то провинность. У Плевако перед судом поинтересовались, велика ли его защитная речь? На что он ответил, что вся его речь будет состоять из одной фразы. И вот после обвинительной речи прокурора, требовавшего приличного наказания, настала очередь защиты. Адвокат встал и произнес:

— Господа! Вспомните, сколько грехов отпустил вам батюшка за свою жизнь, так неужели мы теперь не отпустим ему один-единственный грех?!

Реакция зала была соответствующей. Попа оправдали.

Анекдот № 2[2]

В Калуге, в окружном суде, разбиралось дело о банкротстве местного купца. Защитником купца, который задолжал многим, был вызван Ф. Н. Плевако. Представим себе тогдашнюю Калугу второй половины XIX века. Это русский патриархальный город с большим влиянием старообрядческого населения. Присяжные заседатели в зале — это купцы с длинными бородами, мещане в чуйках и интеллигенты доброго, христианского нрава. Здание суда было расположено напротив кафедрального собора. Шла вторая седмица Великого поста. Послушать «звезду адвокатуры» собрался весь город. Федор Никифорович, изучив дело, серьезно приготовился к защитительной речи, но «по-

[1] http://www.peoples.ru/state/lawyers/plevako/facts.html.

[2] http://www.timesaver.ru/articles/a1252.php.

чему-то» ему не давали слова. Наконец, около 5 часов вечера председатель суда объявил:

— Слово принадлежит присяжному поверенному Федору Никифоровичу Плевако.

Неторопливо адвокат занимает свою трибуну, как вдруг в этот момент в кафедральном соборе ударили в большой колокол — к великопостной вечерне. По-московски, широким размашистым крестом Плевако совершает крестное знамение и громко читает: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности... не даждь ми. Дух же целомудрия... даруй мне... и не осуждати брата моего...» Как будто что-то пронзило всех присутствующих. Все встали за присяжными. Встали и слушали молитву и судейские чины. Тихо, почти шепотом, словно находясь в храме, Ф. Н. произнес маленькую речь, совсем не ту, которую готовил: «Сейчас священник вышел из алтаря и, земно кланяясь, читает молитву о том, чтобы Господь дал нам силу «не осуждать брата своего». А мы в этот момент собрались именно для того, чтобы осудить и засудить своего брата. Господа присяжные заседатели, пойдите в совещательную комнату и там, в тишине, спросите свою христианскую совесть, виновен ли брат ваш, которого судите вы? Голос Божий через вашу христианскую совесть скажет вам о его невиновности. Вынесите ему справедливый приговор». Присяжные совещались пять минут, не больше. Они вернулись в зал, и старшина объявил их решение:

— Нет, не виновен.

Анекдот № 3 (смешанный вариант анекдотов № 1 и 2)[1]

Однажды Плевако защищал священнослужителя. Свою речь он специально подгадал ко времени, ког-

[1] К сожалению, источник опубликования данного анекдота мы указать не можем, так как данный анекдот мы именно слышали. Учитывая, что анекдот — фольклорный жанр, полагаем, что приведение услышанного, а не прочитанного анекдота является вполне корректным.

да в близлежащей церкви бьют колокола. Он сказал: «Мой подзащитный всю жизнь отпускал ваши грехи. Отпустите же ему его единственный грех. И видит Бог, он невиновен!» И тут раздался колокольный звон.

Присяжные оправдали подсудимого.

Анекдот № 4[1]

Старушка украла жестяной чайник стоимостью дешевле пятидесяти копеек. Она была потомственная почетная гражданка и как лицо привилегированного сословия подлежала суду присяжных. Защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: «Бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна, все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет».

Поднялся Плевако:

— Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

Присяжные оправдали подсудимую.

Анекдот № 5 (вариант № 1)[2]

Судили горбуна за убийство брата. Адвокатом был Плевако. Он встал и сказал: «Господа судьи,

[1] Вересаев В. В. Указ. соч. С. 118 – 119.

[2] Данный анекдот нам известен также исключительно из устного источника, поэтому источника его опубликования мы указать не можем.

господа присяжные заседатели!» И замолчал. Через некоторое время повторил обращение и вновь замолчал. Потом снова. Наконец, судья, потеряв терпение, воскликнул: «Адвокат! Судьи и присяжные давно вас слушают!» И Плевако ответил: «Видите, я трижды обратился к вам с одной и той же фразой и вызвал ваше возмущение. А мой подзащитный на протяжении тридцати лет слышал от брата одно и то же слово: «Горбун! Горбун! Горбун!» Он не выдержал и убил его».

После такой речи горбуна оправдали.

Анекдот № 5 (вариант № 2)[1]

Однажды попало к Плевако дело по поводу убийства одним мужиком своей жены. На суд адвокат пришел, как обычно, спокойный и уверенный в успехе, причем безо всяких бумаг и шпаргалок. И вот, когда дошла очередь до защиты, Плевако встал и произнес:

— Господа присяжные заседатели!

В зале начал стихать шум. Плевако опять:

— Господа присяжные заседатели!

В зале наступила мертвая тишина. Адвокат снова:

— Господа присяжные заседатели!

В зале прошел небольшой шорох, но речь не начиналась. Опять:

— Господа присяжные заседатели!

Тут в зале прокатился недовольный гул заждавшегося долгожданного зрелища народа. А Плевако снова:

— Господа присяжные заседатели!

Началось что-то невообразимое. Зал ревел вместе с судьей, прокурором и заседателями. И вот, наконец, Плевако поднял руку, призывая народ успокоиться.

— Ну вот, господа, вы не выдержали и 15 минут моего эксперимента. А каково было этому несчастному мужику слушать 15 лет несправедливые попреки и раздраженное зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?!

---

[1] http://www.timesaver.ru/articles/a1252.php.

Зал оцепенел, потом разразился восхищенными аплодисментами. Мужика оправдали.

Анекдот № 6[1]

Однажды Плевако защищал владелицу небольшой лавчонки, полуграмотную женщину, нарушившую правила о часах торговли и закрывшую торговлю на 20 минут позже, чем было положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседание суда было назначено на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника — Плевако. Председатель суда распорядился разыскать Плевако. Минут через десять Плевако, не торопясь, вошел в зал, спокойно уселся на месте защиты и раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах только пять минут одиннадцатого. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако спросил председателя:

— А сколько на ваших часах, ваше превосходительство?

Председатель посмотрел и ответил:

— На моих 15 минут одиннадцатого.

Плевако обратился к прокурору:

— А на ваших часах, господин прокурор?

Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой ответил:

— На моих часах уже 25 минут одиннадцатого.

Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как сильно он, прокурор, помог защите.

Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 20 минут. Прокурор просил

[1] Утевский Б. С. Воспоминания юриста: Из неопубликованного. — М., 1989. С. 159—160.

признать ее виновной. Слово было предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он заявил:

— Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интеллигентные. А как у нас обстоит дело с часами? Когда на стенных часах — 20 минут, у господина председателя — 15 минут, а на часах господина прокурора — 25. Конечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и потому я на двадцать минут опоздал. А я всегда считал свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозеровские.

Так, если господин председатель по часам прокурора открыл заседание с опозданием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором?

Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсудимую.

Анекдот № 7[1]

Плевако имел привычку начинать свою речь в суде фразой: «А ведь могло быть и хуже». И какое бы дело не попадало адвокату, он не изменял своей фразе. Однажды Плевако взялся защищать человека, изнасиловавшего свою дочь. Зал был набит битком, все ждали, с чего начнет адвокат свою защитительную речь. Неужели с любимой фразы? Невероятно, но Плевако встал и хладнокровно произнес: «Господа, а ведь могло быть и хуже...». И тут не выдержал сам судья. «Что, — вскричал он, — скажите, что может быть хуже этой мерзости?» «Ваша честь, — спросил Плевако, — а если бы он изнасиловал Вашу дочь?»

---

[1] Антология юридического анекдота. 2-е изд. — Н. Новгород, 2001. С. 37.

Анекдот № 8[1]

В дополнение к истории об известном адвокате Плевако. Защищает он мужика, которого проститутка обвинила в изнасиловании и пытается по суду получить с него значительную сумму за нанесенную травму. Обстоятельства дела: истица утверждает, что ответчик завлек ее в гостиничный номер и там изнасиловал. Мужик же заявляет, что все было по доброму согласию. Последнее слово за Плевако.

«Господа присяжные!» — заявляет он. — Если вы присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки простынь, которые истица запачкала своими туфлями».

Проститутка вскакивает и кричит: «Неправда! Туфли я сняла!»

В зале хохот. Подзащитный оправдан.

Анекдот № 9[2]

Плевако любил защищать женщин. Он вступился за скромную барышню из провинции, приехавшую в консерваторию учиться по классу пианино. Случайно остановилась она в номерах «Черногории» на Цветном бульваре, известном прибежище пороков, сама не зная, куда с вокзала завез ее извозчик. А ночью к ней стали ломиться пьяные гуляки. Когда двери уже затрещали и девушка поняла, чего от нее домогаются, она выбросилась в окно с третьего этажа. К счастью, упала в сугроб, но рука оказалась сломана. Погибли розовые мечты о музыкальном образовании.

Прокурор занял в этом процессе глупейшую позицию:

— Я не понимаю: чего вы так испугались, кидаясь в окно? Ведь вы, мадемуазель, могли бы разбиться и насмерть!

Его сомнения разрешил разгневанный Плевако.

---

[1] http://www.orator.biz/?print=1&s=41&d_id=265.

[2] http://www.timesaver.ru/articles/21252.php.

— Не понимаете? Так я вам объясню, — сказал он. — В сибирской тайге водится зверек горностай, которого природа наградила мехом чистейшей белизны. Когда он спасается от преследования, а на его пути — грязная лужа, горностай предпочитает принять смерть, но не испачкаться в грязи!..

Скорее всего, в основе приведенных выше анекдотов лежат подлинные дела, в которых выступал Плевако. Естественно, в дальнейшем первоначальные сюжеты искажались и были приукрашены фольклорной традицией. Тем не менее сопоставление стиля, отраженного в анекдотах, со стилем Плевако, зафиксированным в его опубликованных судебных речах, позволяет утверждать, что сквозь призму анекдота выступает образ реального человека.

Приведем несколько фрагментов выступлений Ф. Н. Плевако в громких уголовных делах.

По делу игуменьи Митрофании

«Темные люди... Они охотно вступили в темное дело и скрылись от опасности, выдав одну игуменью, рассчитывая, не спасет ли ее сан и положение, не удастся ли ей каким-нибудь способом обмануть правосудие и выйти чистой. А если это свершится? О! Тогда выползут они из своих нор и, осмеивая слабость правосудия, начнут рвать в куски чужое добро и уже не спрячутся, а гласно будут заявлять свое место жительства, может быть, придадут ему блеск и роскошь на добытые средства»[1].

По делу о «Клубе червонных валетов»

«...с трибуны обвинения, откуда подсудимые привыкли слышать слово, от которого леденеет кровь в их жилах, слово, от которого умирает надежда увидеть дом и семью и когда-нибудь встретить светлое

[1] Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 1864—1917 гг. — Л., 1991. С. 154.

утро свободного дня свободным человеком, с этой трибуны Мазурин услыхал другое слово — животворящее, воскрешающее. Как звуки порванных цепей узника, как слово дружбы и любви, оно в его душе: ему верят, что он невиновен, ему верят, что руки его не совершали бесчестного дела, ему возвращают незапятнанное имя, это счастье, ценность которого люди постигают только тогда, когда им грозят отнять его, разорвать, смять, погрести под тяжестью общественного приговора»[1].

Сходство оборотов, манеры речи в выступлениях адвоката и анекдотах очевидно. Почти все дела, отразившиеся в анекдотах про Ф. Н. Плевако, — уголовные, и разбирались они с участием присяжных заседателей[2]. Именно в суде присяжных у адвокатов имелись наибольшие возможности в проявлении своего красноречия. Собственно, славу адвокату приносили уголовные дела, а доходы — дела гражданские. Однако слава и доходы — вещи взаимосвязанные. Чем известнее был адвокат, тем больше клиентов к нему обращалось, тем выше были его заработки.

Вердикт присяжных заседателей во многом зависел от того, чья речь была убедительнее: прокурора или адвоката. Кроме того, при вынесении вердикта в соответствие со статьей 804 Устава уголовного судопроизводства 1864 года присяжные заседатели должны были определять «вину или невиновность подсудимого по внутреннему своему убеждению, ос-

---

[1] Суд присяжных в России. С. 258 – 259.

[2] Анекдот № 2 является примером искажения исторической действительности — банкротство относились к категории гражданских, а не уголовных дел, поэтому оно не могло рассматриваться судом присяжных. Скорее всего, в данном анекдоте ошибочно указано не то, что дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, а то, что рассматривалось именно дело о банкротстве. В пользу этого свидетельствует анекдот № 3, где «соль» анекдота (про колокольный звон и оправдательный вердикт) сохраняется, но банкротство не упоминается.

нованному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела»[1].

А внутреннее убеждение как раз и формировалось в результате увиденного и услышанного в суде, а также собственных представлений присяжных о справедливости.

Наша справка

Александр Владимирович Лохвицкий (1830—1884), так же как и Плевако, окончил Московский университет. С 1869 года он являлся одним из редакторов популярной газеты «Судебный вестник». Уже в первые пореформенные годы А. В. Лохвицкий начал выступать в качестве адвоката сначала по уголовным, а потом и по гражданским делам. Кроме адвокатской деятельности занимался преподаванием и наукой, имел ученую степень доктора права. Наиболее известными его работами были «Обзор современных конституций» и «Курс русского уголовного права».

До нас дошли всего две истории о Лохвицком, которые попадают под категорию анекдота.

Анекдот № 10[2]

Как-то раз в одном процессе он [А.В. Лохвицкий] ядовито уязвил своего ненаходчивого противника.

Тот, имея репутацию «чистого хрусталя», ничего лучшего не нашел для отместки, как во время перерыва ходить по зале и, как бы ни к кому не обращаясь, произносить вслух самые нелестные эпитеты по адресу Лохвицкого, дабы в то же время их слышала публика.

— Про кого это вы говорите? — спросил тот сурово.

---

[1] ПСЗ. Собр. II. № 41476. Ст. 804.

[2] Исторические анекдоты из жизни русских государей, государственных и общественных деятелей прошлого и настоящего. — СПб., 1898. С. 138.

— Вам какое дело?

— Но по крайней мере с кем?

— Опять не ваше дело. Сам с собою говорю.

— Охота же вам со всякими дураками болтать, — отчеканил Лохвицкий и повернулся.

Анекдот № 11[1]

Лохвицкому пришлось выступать в процессе против равносильной ему знаменитости. Обе стороны начали с того, что каждая старалась найти предлог к устранению противника от защиты. Тогда Лохвицкий обратился к коллеге:

— Как бы нам не сыграть роль тех глупцов, которые, найдя осла в поле, стали спорить, кому он должен принадлежать, а пока спор тянулся, осел от них и убежал. Поймали его другие...

А. В. Лохвицкий — опытный судебный боец. Он прекрасно знаком не только с тактическими, но и стратегическими приемами ведения защиты. Он сразу же пытается «вывести из игры» равного себе противника (анекдот № 11), и, когда сталкивается с аналогичным противодействием, сам предлагает прекратить борьбу такого рода, осознавая ее бессмысленность, а, может быть, и непредсказуемость результата.

О разносторонности Лохвицкого свидетельствует и еще одна история.

Анекдот № 12[2]

В каком-то губернском городе император [Николай I] посетил острог. Опросив арестантов, довольны ли они содержанием и не терпят ли обид, государь полюбопытствовал знать о причинах их заключения.

---

[1] Исторические анекдоты... С. 138 – 139.

[2] Там же. С. 139 – 140.

— Ты за что содержишься? — спросил он одного.

— Безвинно, Ваше царское величество, — завопил арестант, валясь на колена, — по наговору. Значит, церкву разграбили, да и пономаря пристукнули... Я-то знать не знаю и ведать не ведаю, а мужики и хватились за меня...

— Ты за что? — спросил государь второго.

— Тоже по наговору, Ваше императорское величество. Коробочника подле деревни зарезали и ограбили, а я и сном-духом не виноват.

— Ты? — обратился государь к третьему.

— По злобе, Ваше величество. Сосед целую пачку фальшивых ассигнаций мне подбросил, а на чердак занес какие-то печатные камни... А я, как есть, чист.

В том же роде последовали ответы остальных арестантов: все, оказалось, сидели невинно. Только один на вопрос «Ты, удалая головушка, конечно, тоже по наговору?» отвечал:

— Никак нет, Ваше императорское величество, я сижу поделом: у купца лошадку украл.

— Лошадку украл? — переспросил государь с улыбкою.

И, обратившись к губернатору, сказал:

— Сию же минуту выпустить этого негодяя на все четыре стороны. Здесь все честные люди сидят и между ними одному негодяю нет места, а то он всех развратит!

В этом анекдоте Лохвицкий непосредственно не фигурирует, но известно, что именно он ввел в оборот этот сюжет, хотел его использовать в какой-либо из своих судебных речей, но не успел[1].

Анекдоты не создают каких-то канонизированных или лубочных представлений о Плевако

[1] Исторические анекдоты... С. 139.

и Лохвицком. Сквозь приведенные нами истории проступают черты реальных людей, обладающих и положительными, и отрицательными качествами. В любом случае оба героя нашего исследования люди умные и эрудированные, знаменитые и осознающие свою значимость, опытные ораторы. В то же время они могут быть язвительными, циничными и даже грубыми. Однако в любом случае цель у них одна — торжество справедливости.

«... мне оставалось только одно – умереть...»

Самоубийство политических заключенных в тюрьме и ссылке

Александр Лярский

Любой исследователь истории общественного движения в России второй половины XIX — начала XX века, а особенно тот, кто занимается историей политической тюрьмы и ссылки, сталкивался с упоминаниями о случаях самоубийств, совершенных революционерами в местах заключения. Об этом охотно писали мемуаристы, а также авторы работ советского периода, живописуя, таким образом, тяжесть режима, произвол начальства и бесчеловечность царизма вообще. В последнее время интерес к теме не утрачен, но носит несколько «иллюстративный» характер. По мнению исследователей, самоубийства в тюрьмах могут быть показателем как несовершенства пенитенциарной системы России, так и психических патологий в революционной среде. Из исследований последнего времени в качестве примера первого варианта можно рассматривать некоторые пассажи из Б. Н. Миронова[1], в то время как второй способ использования данных о суицидах демонстрирует, например, работа Анны Гейфман «Революционный террор в России, 1894–1917»[2]. В главе «Психически неуравновешенные тер-

[1] «Тяжелые условия жизни в тюрьме служили причиной высокой смертности заключенных... и распространенности самоубийств» // Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 2. — СПб., 2003. С. 37.

[2] Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. — М., 1997.

ристы» она, в частности, пишет: «Люди, искавшие выход из невыносимой ситуации, находили много способов покончить с собой. Для некоторых терроризм представлял возможность либо флиртовать «с мистикой смерти», либо просто порвать с жизнью, полной эмоциональных стрессов, комплексов, слабостей и конфликтов... Значительное число активных российских террористов еще до 1905 года совершали попытки самоубийства. Несмотря на внутренние мучения, заставлявшие их желать смерти как избавления, многие из них отказывались от идеи бессмысленного самоуничтожения. Вместо этого они занимались революционным террором, который мог закончить их жизнь, придав самоубийству ореол героического деяния... *Такие люди переносили тюремное заключение и каторгу (которые были трудны и для эмоционально стабильных личностей) особенно тяжело. Многие оказывались неспособными перенести заключение и заканчивали свои дни в психиатрических лечебницах... многие — к примеру, Софья Хренкова, мать троих детей и член Боевой организации ПСР — кончали жизнь самоубийством* (курсив мой. — А. Л.)»[1]. Таким образом, с этой точки зрения, самоубийство революционеров-террористов в тюрьме — продолжение и итог их психических отклонений, которые, кстати, и привели их в революционное движение. Что важно, автор не одинок в своей попытке объяснять поведение террористов, опираясь на идею психической патологии, показателем каковой и служит самоубийство, в том числе и в тюрьме. Так, свое предисловие к сборнику воспоминаний «Женщины-террористки в России» О. В. Будницкий озаглавил «Женщины-террористки: политика, психология, патология». В этом тексте он, в частности, утверждает, правда более осторожно, чем Гейфман, что многие террористки не отличались устойчивой психикой и суицидальные мотивы могут

[1] Гейфман А. Указ. соч. С. 234 – 238.

быть обнаружены в поведении «немалого числа террористов»[1].

Со всеми подобными утверждениями спорить не приходится: действительно, мало кто будет возражать, что самоубийство революционера, в том числе в тюрьмах и на каторге, может являться итогом тяжелых эмоциональных переживаний; что оно может быть как непосредственной реакцией субъекта на притеснения, так и следствием вдруг проявившегося, но уже ранее существовавшего психического отклонения.

Таким образом, ответ существует еще до того, как мы зададимся вопросом: а что, собственно, произошло в тот момент, когда покончил с собой тот или иной революционер, в чем причина такого поступка и есть ли смысл в подобном поведении. Поступок известен, причины установлены, объяснение есть. Но что-то большее, чем простое любопытство, не дает остановиться на достигнутом и заставляет нас постоянно беспокоиться, как крошки под шкурой киплинговского носорога. Нечто раздражает больше, чем досада на опередивших нас предшественников. Попробуем разобраться в этом состоянии неудовлетворенности уже имеющимся ответом.

Во-первых, речь идет о странном ощущении неполноты полученного объяснения. Многослойность и неоднозначность человеческого поведения, и так-то с трудом уловимая, странным образом исчезает совсем при интерпретации конкретных поступков, совершенных в прошлом, если мы ограничиваемся только психопатологической схемой, как правило, довольно поверхностной. Тем более, если речь идет о таком неоднозначном акте, как самоубийство.

Во-вторых, есть определенная неловкость от того обстоятельства, что точка зрения, претендующая

[1] Будницкий О. В. Женщины-террористки: политика, психология, патология // Женщины-террористки в России. — Ростов-на-Дону, 1996. С. 15—17.

на научный статус, так откровенно идет на поводу у житейского здравого смысла, всегда убеждающего нас в том, что это Солнце вертится вокруг Земли, а все самоубийцы психически или социально ненормальные. Ведь если бы речь не шла об этой обыденной логике, совершенно непонятно, почему нам психопатологические взгляды кажутся убедительней, чем социологические? Почему бы, к примеру, не объяснять ситуацию аномической концепцией Дюркгейма? Чем она хуже?

И дело не только в моем желании возвысится за счет эзотеричности собственного знания или замкнутости своего круга. Дело в том, что такая иллюзия очевидности, да еще и подкрепленная статусом науки, не дает возможности разобраться в обстоятельствах дела. Например, в обыденной жизни мы, установив причины того, что произошло, часто считаем, что одновременно установили и смысл произошедшего, поняли, что именно случилось. А это не одно и то же, хотя бы потому, что причины скрываются в прошлом, а смысл извлекается в будущем.

И наконец, законным образом возникает вопрос о правомерности использования критериев одной эпохи для оценки поведения людей другой эпохи и других представлений о правильном поведении. Почему для объяснения самоубийств японских самураев или раджпутских вдов нам достаточно идеи воспитания или идеи культуры, а самоубийство революционера в тюрьме мы пытаемся свести к психическому отклонению? Не потому ли, что самонадеянно и необоснованно считаем деятелей революционного движения во всем похожими на нас? Большинство мемуаристов, писавших о самоубийствах революционеров в местах ссылки и заключения, не видели в этом ничего странного. И это нельзя объяснить только тем, что ненормальные пишут о ненормальных. В каком-то смысле такое объяснение будет единственно верным: взгляды среды настолько не совпадают со взглядами исследователя,

что тот вынужден обращаться к психологии — науке, к которой историки обращаются за неимением лучшего при попытке объяснить непонятное поведение, тем самым дублируя логику «здравого смысла».

Все три вышеприведенных соображения заставляют подумать о правоте сомневающегося и о границах возможностей исторической науки. Действительно, сам факт моего сомнения, может, и гарантирует мое существование, но не гарантирует моей правоты. Возможно, историку и не стоит браться за изучение самоубийств, если он сомневается в столь очевидных вещах... Возможно, ему ничего и не остается, как только принять выводы других, более грамотных специалистов... Самоубийство как индивидуальный акт обычно принадлежит ведению медицины, психологии и этики, как социальное явление изучается социологией и социальной психологией[1]. Иными словами, традиционно основная роль здесь принадлежит наукам, изучающим закономерности и константы феномена по преимуществу в области синхронии, если речь идет об индивидуальном акте, причем рассматривается весьма узкий временной срез. Медицинские, психологические и этические концепции описывают современность. Диахронные процессы монополизированы социологами. Может ли историк преодолеть монополию этих дисциплин на изучение самоубийства? Как это сделать? То, что это стоит делать вообще, — несомненно, поскольку любой вид человеческого поведения рано или поздно попадает в поле зрения историка. Рано или поздно встает вопрос: так ли уж безнаказанно можно применять достижения других наук в исторической сфере?

Таким образом, задачу данной статьи мы можем сформулировать двояко: во-первых, надо уяснить, в чем специфика изучения самоубийства, средствами

---

[1] Девиантность и социальный контроль в России (XIX – XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. — СПб., 2000. С. 290.

исторической науки. Во-вторых, уяснив это, попробовать ответить на вопрос: какой смысл могли вкладывать в самоубийство на каторге, в тюрьме и ссылке революционеры и какой смысл правомерно вкладывать в их поступки нам?

На мой взгляд, особенности изучения такого вида человеческого поведения, как суицид, средствами и методами исторической науки достаточно очевидны.

Историк имеет дело *с текстами о самоубийствах*, а не с самими самоубийцами, и его могут интересовать правила функционирования и создания текстов такого рода, а не спасение тех, кого уже поздно спасать. Тем самым он избавлен от поиска «причин» самоубийств, от установления того, насколько та или иная теория адекватно описывала реальность...

С исторической точки зрения самоубийство — такая же форма человеческого поведения, как и все остальные. Поскольку человек смертен, постольку и самоубийство возможно, так же как наличие рук создает возможность для появления ложки. И во многих культурах, включая нашу, самоубийство — если не норма, то по крайней мере приемлемая в определенных условиях форма поведения и может быть легитимирована в культуре как высшее проявление любви или верность долгу или быть востребована в качестве финала в том или ином повествовании.

И поскольку самоубийство как возможность человеческого поведения — не константа, а исторический феномен и его формы и понимание, так же как и отношение к нему, со временем меняются (одновременно влияя и на поведение конкретных людей, что, в свою очередь, может влиять на отношение к самоубийству), необходимо помнить о том, что само знание о самоубийстве, сформулированное в рамках медицины, педагогики или социологии, есть продукт исторического развития и должно рассматриваться в первую очередь как таковое.

В общем, как ни кровожадно это прозвучит, но если для самоубийцы с выстрелом все заканчивается, а для социолога или медика — начинается, то для историка все начнется тогда, когда сделают свое дело и самоубийца, и медик, и социолог, поскольку для историка самоубийство — не акт, а совокупность документов, определенным образом отражающая всю совокупность взаимосвязей самоубийства с окружающим миром.

Прежде чем попытаться прояснить ситуацию, напомним некоторые факты из истории русского освободительного движения. К сожалению, систематический обзор явлений подобного рода сделать не представляется возможным как вследствие отсутствия работ по этой тематике и несовершенства статистики, так и вследствие того, что пестрящие упоминаниями о самоубийствах мемуары плохо соотносятся с официальными данными[1], а многие упоминания о самоубийствах анонимны и не имеют четкой хронологической привязки. Волей-неволей исследователю приходится ограничиваться упоминанием наиболее выдающихся случаев.

Наиболее ужасающие истории связаны с двумя знаменитыми тюрьмами Российской империи — Шлиссельбургской и Петропавловской. Жесточайший режим одиночного заключения в них приводил как к отдельным самоубийствам, так и к большому количеству суицидальных попыток, о которых упоминают и официальные отчеты, и воспоминания бывших заключенных[2]. Так, народоволец Поливанов в 1883 году после восьми месяцев одиночного заключения в Алексеевском равелине пришел к выводу, что «небы-

---

[1] Очень показателен пример, приводимый М. Н. Гернетом. По официальным опубликованным данным, во всех тюрьмах Орловской губернии было всего 6 случаев самоубийств за 1909 год, в то время как по утверждению арестантов в одном только печально известном Орловском централе самоубийства происходили неоднократно, «десятками». См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 5. — М., 1959. С. 272.

[2] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 4. — М., 1959. С. 50.

тие предпочтительнее бытия, потому что оно составляет единственно реальное, единственно доступное человеку блаженство...». Будучи на грани безумия, он совершил две попытки самоубийства[1].

Из самоубийств, доведенных до конца в стенах Петропавловской крепости, наибольшую известность получили события 1897 года, когда 6 февраля покончила с собой Мария Ветрова, арестованная по делу тайной типографии в Петербурге в 1896-м. Она облила себя керосином и подожгла. Огонь сбили, но на четвертые сутки Ветрова умерла «в страшных мучениях». Она так объясняла священнику свой поступок: «Мне было тяжело здесь, эта мертвая тишина вокруг, эти страшные стены нагоняли на меня тоску и уныние. Я не могла выносить этого, не могла мириться с окружающей обстановкой. А эта мужская прислуга тут же при мне все это берет, приносит. О, как это ужасно. Мне казалось, мне стыдно сказать, что я попала в какой-то непотребный дом. Мне слышались какие-то голоса, какие-то позорные предложения. Я кричала днем, кричала по ночам. Мне казалось, что эти стены не защитят меня. Мое терпение истощилось. И вот я решилась покончить с собой».

Это дело получило огласку, которая привела к волнениям в Петербурге. По утверждению М. Н. Гернета, у Казанского собора собралось до пяти тысяч человек, в основном студентов высших учебных заведений, которые после отказа священника отслужить панихиду, самостоятельно пропели в храме «вечную память». Многие участники демонстрации были подвергнуты репрессиям — кто-то исключен из института, а кто-то выслан[2]. Учитывая все это, власти стремились впоследствии избежать огласки случаев

---

[1] Поливанов П. С. Алексеевский равелин. Отрывок из воспоминаний. — Б. м., 1906. С. 99 и далее.

[2] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 3. С. 176 – 178.

самоубийств в тюрьме Петропавловской крепости. В начале XX века комендант Петропавловской крепости Эллис писал о необходимости сокрытия информации о подобных инцидентах: «Не говоря о том, что случай этот был в самом превратном виде описан в иностранных газетах, он до невозможности был извращен между студентами высших учебных заведений и курсистками высших женских курсов, что в то время было очень серьезно, а в настоящее время имело бы еще более серьезные последствия, за которые всецело должен бы отвечать комендант»[1]. Самоубийство Ветровой не прошло бесследно и для режима Трубецкого бастиона, в котором она содержалась: во-первых, керосиновые лампы заменили свечами, а во-вторых, ввели должность для надзирателя-женщины, в чьи обязанности входило обслуживание женщин-заключенных.

Однако наиболее известные в истории случаи самоубийств связаны с другим узилищем — известной тюрьмой для «политических» — Шлиссельбургской крепостью. Доведенный до бесчеловечности режим одиночного содержания, бесчувственный чиновник в качестве главного надзирателя, антисанитария, сырость и плохое питание — все это быстро подрывало физическое и психическое здоровье узника. В первый год существования тюрьмы умерло шесть человек, из них один покончил с собой, а двое сознательно пошли на действия, караемые смертной казнью. С 1884 по 1906 год из 69 заключенных четверо покончили с собой. Из всех этих трагических случаев наибольшую известность приобрело самоубийство М. Ф. Грачевского в октябре 1887 года. Он облил керосином портянки и, положив их себе на грудь и спину, зажег от лампы. К несомненным актам суицидального характера узники Шлиссельбурга и исследователи относят действия двух других заключенных народо-

[1] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 4. С. 50.

вольцев — Е. И. Минакова и И. Н. Мышкина, которые в знак протеста против бесчеловечных условий содержания совершили нападение на должностных лиц тюрьмы, причем они знали, что подобное поведение карается смертью. По воспоминаниям, Мышкин сознательно пошел на это, так как на самоубийство у него «не хватало сил». Действия такого рода принесли определенный эффект: уже в 1885 году произошло некоторое смягчение режима. Тюремная библиотека начала пополняться «книгами по философии, математике, истории и богословию», узникам стали выдавать бумагу и карандаши, разрешили заниматься уборкой двора, обсуждалась возможность разрешить узникам разводить огороды[1]. После самосожжения Грачевского из Шлиссельбурга был удален ненавистный узникам смотритель Соколов. Согласно воспоминаниям В. Фигнер, Грачевский обратился к товарищам перед смертью со словами: «Меня утешает мысль, что моя смерть, исключительно страшная, повлияет на нашу судьбу. Теперешние порядки рухнут, поверьте мне!»[2]

Наиболее известное в истории русского освободительного движения коллективное самоубийство произошло в Карийской каторжной тюрьме в 1889 году. Это был комплекс тюрем, расположенных вдоль речки Кары. С 1873 года в нем содержались политические заключенные. Благодаря довольно мягкому режиму до 1881 – 1882 годов политические заключенные создали самоуправляемую артель с самостоятельным финансированием, в их распоряжении была библиотека и никаких собственно каторжных работ. Более того, в течение 1870-х годов политические каторжане были переведены из тюрьмы в вольные команды. После событий 1881 года власти начали ужесточать режим содержания, что привело к протестам заключен-

[1] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 3. С. 233.

[2] Фигнер В. Шлиссельбургские узники // Фигнер В. Полн. собр. соч. в 7 тт. 2-е изд. Т. 4. — М., 1932. С. 79.

ных. После того как политических каторжан начали переводить обратно с вольного поселения в тюрьму, двое покончили с собой. После попытки побега в 1882 году режим был резко ужесточен. Узников лишили свиданий и переписки, прогулок, книг, возможности заниматься физическим трудом и права закупки продуктов за свой счет. В ответ они объявили голодовку, причем заключенные решили скорее покончить с собой, чем допустить искусственное питание. В результате такого бескомпромиссного сопротивления многие ограничения были сняты[1]. Такую же решимость продемонстрировали арестанты, когда власти, настаивая на том, что политические каторжане не должны отличаться по условиям содержания от уголовных, решили обрить головы «политическим». По воспоминаниям мемуариста, заключенные приготовились к самосожжению. Однако власти, заранее предупрежденные осведомителем — одним из тех, кто не хотел так закончить свой земной путь, — выжидали и, только когда узники утомились ожидать смерти, захватили тюрьму. Сопротивление было более пассивным, чем «если бы казаки ворвались, когда нервы были настроены высоко, когда смерть являлась чуть ли не счастьем»[2].

Однако наиболее известные события, собственно и получившие название «Карийской трагедии», произошли в 1889 году. Во время инспекции генерал-губернатора А. Н. Корфа в 1888 году одна из политических заключенных, Е. Н. Ковальская, отказалась встать в присутствии губернатора. За это ее перевели в одиночку Верхнеудинской тюрьмы. По Каре распространились слухи, что при отправке заключенной жандармы вели себя грубо, а жандармский офицер Масюков допустил при переодевании Коваль-

---

[1] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 3. С. 317 – 322.

[2] Стеблин-Каменский Р. Григорий Анфимович Попко // Былое. 1907. № 5. С. 200 – 201.

ской присутствие мужчин-охранников. Это вызвало бурю возмущения среди политзаключенных, которые устроили нечто вроде расследования, жандармский офицер был вынужден оправдываться и давать объяснения. Масюкова потребовали удалить с каторги, и, когда эти требования не были выполнены, одна из заключенных, Н. К. Сигида, ударила жандарма по лицу. Ее перевели к уголовным, а потом подвергли порке. После наказания розгой она умерла, по одним сведениям, покончив с собой, а по другим — из-за побоев. Узнав об этом, в знак протеста покончили с собой еще трое политзаключенных: М. В. Калюжная, Н. С. Смирницкая и М. П. Ковалевская, ранее переведенные по их требованию к уголовным вместе с Сигидой. Из солидарности с узницами и в знак протеста 16 мужчин — политических заключенных — также совершили попытку самоубийства, однако яд оказался слишком старым и умерло только двое[1]. Эти трагические события привели к некоторым изменениям в режиме содержания арестантов. М. Н. Гернет, во всяком случае, утверждал, что и ликвидация Карийской политической тюрьмы, и принятый позже, в 1893 году, закон об отмене наказания женщин розгами являлись прямыми последствиями коллективного самоубийства заключенных[2].

Революционное движение в начале XX века значительно увеличило количество содержавшихся в тюрьме, попавших на каторгу и в ссылку заключенных, и соответственно возросло и количество самоубийств в местах лишения свободы. В ряду наиболее известных — самоубийство Егора Сазонова, известного эсеровского террориста, убийцы В. К. Плеве. Приговоренный к бессрочной каторге, он должен был выйти на поселение в январе 1911 года, так как срок

---

[1] Осмоловский Г. Ф. Карийская трагедия // Былое. 1906. № 6. С. 61 – 76.

[2] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 3. С. 317, 397.

его был сокращен по двум манифестам (о рождении наследника и 17 октября 1905 года). По утверждению М. Спиридоновой, власти сделали все, чтобы убийца не вышел из каторжной тюрьмы. Возможно, утверждения М. Спиридоновой о целенаправленном убийстве Сазонова преувеличены, поскольку в 1910 году была проведена общая инспекция каторжных тюрем Нерчинска инспектором тюремного управления Сементовским. Он обнаружил многочисленные вольности режима, допускавшиеся по отношению к политическим, что привело к смене начальства в тюрьмах Нерчинской каторги и, по выражению бывших политкаторжанок, «завинчиванию тюрьмы». Да и сама Спиридонова ставила случай с Сазоновым в один ряд с общей репрессивной политикой правительства в период реакции: «Царское правительство в России с 1907 по 1917 год целых 10 лет занималось физическим истреблением пленных революционеров»[1]. В любом случае новый начальник Зерентуйской тюрьмы начал вводить очень жесткие меры для усиления режима, что привело к столкновениям с политзаключенными. «Он (Высоцкий, новый начальник тюрьмы. — *А. Л.*) торопился нападать, отвергая все промежуточные стадии борьбы с заключенными в виде переговоров, увещеваний и каких-либо подготовок. Егор после первого же объяснения с ним понял, чем очень скоро все должно кончиться, и уже 27 ноября 1910 года мы получили от него прощальную записку...» После того как из-за столкновения с Высоцким попытались покончить с собой некоторые политзаключенные, Сазонов «категорически запретил своим друзьям и товарищам прибегать к самоубийству раньше его. Доказывал, что гораздо «экономнее» в смысле потери лишней жизни и сил начать с него»[2]. Приняв стрихнин, он умер утром

---

[1] Спиридонова М. Из жизни на Нерчинской каторге // Женщины-террористки в России... С. 492.

[2] Там же. С. 498.

29 ноября 1910 года. Разумеется, Сазонов не был одинок в своем сопротивлении режиму с помощью самоубийства. Впечатляющую картину такой «борьбы со связанными руками» рисует в своих воспоминаниях Спиридонова, описывая, как заключенные в Алгачинской тюрьме, на Кутомарской каторге и т. д. «должны были убивать себя», протестуя против издевательств и телесных наказаний. Однако именно смерть Сазонова стала достоянием гласности и вызвала широкое возмущение общественного мнения России. Манифестации и забастовки прошли во многих высших учебных заведениях. Многие профессора были сосланы, многие студенты — исключены из вузов. Сохранились даже сведения о том, что в память Сазонова в декабре 1910 года была образована так называемая «Сазоновская группа партии социалистов-революционеров»[1].

Мы не будем подробно освещать особенности тюремного режима и содержания заключенных в дореволюционной России, они многократно описаны в специальной литературе. Достаточно того, что эти условия действительно могли довести человека и до сумасшествия, и до самоубийства. Особенно это касается одиночного заключения, которое, в принципе, могло вызывать необратимые последствия в психике человека. Автор второй половины XIX века, сам побывавший в заключении по делу о «сибирском сепаратизме», Н. М. Ядринцев, на основании собственных наблюдений писал, что в уединении развиваются тоска, страх, галлюцинации, помешательство, и, как следствие, узник может покончить с собой[2]. Известный народник О. В. Аптекман вспоминал об одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости: «Что вы скажете о человеке, который в глубокой тишине,

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. ОС. ОТД. 1913 г. Д. 215. Л. 60–63. См. также: http://www.osi.ru/Россия XX век — электронные публикации// _Сазоновская группа. htm.

[2] Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке. — СПб. 1872. С. 14.

когда все объято сном, мечется в сильном возбуждении по своей камере, с широко раскрытыми, сверкающими глазами, энергично жестикулируя, словно собираясь взлететь вверх, улыбается, смеется; улыбкой счастья, смехом победы»[1]. Современники считали, что одиночное заключение приводило многих узников тюрем царской России к разнообразным психическим расстройствам[2]. Это тем более важно, что Правила содержания политических арестантов в губернских и уездных замках и пересыльных тюрьмах, утвержденные в феврале 1886 года, требовали отделять политических от уголовных, подследственных и административных заключенных и предписывали одиночное заключение. Таким образом, среда могла вызывать определенные психопатологические реакции, приводившие к суициду. Однако то, как именно человек интерпретирует свои страдания, может показаться не менее интересным. Любопытно, что интерпретации, имеющиеся в нашем распоряжении, зафиксированы людьми позже, иногда много позже описываемых событий. Насколько они отражают понимание ситуации самим заключенным — большой вопрос, однако то, что эти трактовки отражают понимание ситуации, характерное для интересующей нас культурной среды, — несомненно. Вот какие рассуждения приводит в своих воспоминаниях П. Поливанов: «Прав был старик — чего же мне еще ждать? О моей смерти все равно не будет известно, да я и умер уже для всех тех очень немногих, кому я был когда-то дорог. С прошлым меня теперь ничто не связывает: все нити жизни оборваны. Дело? Да разве есть хоть какая-нибудь надежда на то, что мне когда-нибудь дано будет счастье снова служить ему, иметь

[1] Аптекман О. В. Из воспоминаний землевольца // Минувшие годы. 1908. № 5–6. С. 315.

[2] Фроммет Б. Политические тюрьмы и нервные заболевания // Врачебная газета. 1910. № 35.

возможность громко сказать хоть одно слово, которое прорвалось бы сквозь толщу окружающих меня стен? Наконец, разве моя смерть не сослужит службу дорогому мне делу: быть может, теперь единственный способ быть полезным — это прибавить еще одно имя к числу жертв самодержавия?»[1] Превращение субъективных ощущений в объективные концепции, их рефлексия построены на идее одиночества и бездействия — отрыве от близких людей и невозможности служить общему делу. Само самоубийство находит себе оправдание в пользе, которая может быть якобы принесена этим деянием революционной борьбе. Это значит, что сам акт самоубийства может иметь определенную внутреннюю логику, с точки зрения носителя определенной культуры или, если нам угодно, с точки зрения самого революционера, что уже немаловажно для определения нашей ситуации. Это тем более важно, что мемуары опубликованы в годы (1906), когда революция еще не стала прошлым, а является сутью настоящего, то есть вербовала себе сторонников и активных деятелей, готовых пройти тот же путь. Таким образом, смерть ради общего дела — активный компонент революционных идей, начиная действовать в жизни революционера еще до тюремного заключения, становится аргументом для поступков внутри тюрьмы.

То, что мы знаем о тюремном заключении из многочисленных описаний, не оставляет сомнений в том, что одной из главных особенностей тюрьмы являются совершенно особые властные отношения. Эксперименты, проведенные в Стэнфордском университете, наглядно продемонстрировали, как сами особенности тюремной жизни, смоделированные в довольно «гуманном» варианте, позволяют обычным людям, игравшим охранников, наслаждаться властью над другим человеком, а тем, кто играл роли заключенных, быстро

[1] Поливанов П. С. Указ. соч. С. 98.

деградировать и обезличиться. Неудивительно, что эксперимент был окончен через шесть дней, хотя планировался на две недели. Причем закончен к великой радости «зеков» и к изрядному неудовольствию «надзирателей» — некоторые из последних уже стали приходить на работу сверхурочно и выполнять ее бесплатно[1]. Для нас важно, что кошмары тюрьмы описываются заключенными игрушечной тюрьмы и тюрьмы реальной в очень похожих выражениях. «В анкетах, которые испытуемые заполняли после завершения эксперимента, в качестве самой неприятной стороны тюремной жизни упоминалось то, что заключенные были подвластны совершенно непредсказуемым решениям и правилам, которые устанавливали надзиратели»[2]. Сравним с высказыванием Спиридоновой: «Тягчайшее и унизительное ощущение себя вещью, которую могут раздеть, обшарить, увести, привести, раздавить, избить и убить, неуверенность в своем даже минимальном существовании все больше и больше овладевали заключенными»[3]. До каких масштабов мог доходить произвол тюремной администрации, наглядно демонстрирует история печально известного Орловского централа, где узники проходили через жесточайшие избиения и унижения. И самоубийства происходили там постоянно. Известен случай, когда революционера А. Б. Сапотницкого охранники забили до смерти, но выдали за самоубийцу, настолько самоубийство было нормальным явлением в этой тюрьме. Характерно высказывание одного из надзирателей: «Мы знаем, что по закону бить не дозволяется. Думаешь, не знаем. Знаем, брат, прекрасно знаем. Да закон-то у нас в кармане: что хотим,

---

[1] Хэйни К., Бэнкс К, Зимбардо Ф. Изучение поведения заключенных и надзирателей в условиях, имитирующих тюремное заключение // Общественное животное. Исследования. Т. 1. — СПБ. 2003. С. 87 – 110.

[2] Там же. С. 107.

[3] Спиридонова М. Указ соч. С. 492.

то и делаем с ним. Понимаешь? Хотим — его съедим, хотим — с чаем выпьем. Знаешь, наверно, Сапотницкого? Ваш, петербургский. Вот так же приехал сюда и ну здесь зазнаваться, свои порядки устанавливать. Кто я? Да что я, де, судился с Государственной думой... Меня не смей тронуть... Что же думаешь? Забили голубчика, на тот свет отправили. И хоть бы что... Сапотницкий лежит себе и ни гу-гу, не шевелится. Вот то же и с тобою будет. ... Бить де не полагается... Наплевать нам на это. Забьем и только, до смерти забьем, слышишь?»[1] Мы знаем эти слова по воспоминаниям одного из «политических» — вряд ли он точно воспроизводит слова надзирателя, однако ужас и бессилие самого заключенного эти слова передают хорошо. Это состояние зависимости, с одной стороны, и произвола, с другой, коренится, конечно, не в царском режиме, а в бесконтрольной власти чиновника в принципе. Противостояние заключенных и власти до сих пор является одной из центральных оппозиций в субкультуре тюрьмы[2]. Однако для революционеров все обстояло несколько иначе. Снова, как и в предыдущем случае, можно утверждать, что их противостояние начиналось задолго до заключения, а там, внутри тюремных стен, они не несли наказания, а продолжали борьбу все с тем же ненавистным режимом. Поэтому протесты их против произвола тюремной администрации были вполне логичны с точки зрения всей нетюремной жизни. Разумеется, в контексте особого тюремного существования эти потенциально возможные протесты вызывались к жизни особенностями содержания. Несмотря на то что существовали специальные правила содержания политических арестантов в тюрьмах, их выполнение, как это неоднократно подчеркивали мемуаристы, во многом

---

[1] Орловский каторжный централ. Сборник воспоминаний бывших орловских политкаторжан. 1908 – 1917. — М., 1929. С. 121.

[2] Ефимова Е. С. Современная тюрьма: быт, традиции и фольклор. — М., 2004. С. 115.

зависело от тюремного начальства. И тут складывалась очень любопытная практика — политические заключенные содержались в иных условиях, чем уголовные, причем если в уездных, губернских и пересыльных тюрьмах к XIX веку это соответствовало правилам, то на каторге происходило вопреки им. Так, правилами 1886 года подтверждалось, что политические каторжане как государственные преступники должны «содержаться на общих основаниях и подлежат заковыванию в кандалы и бритью головы». Однако, как мы помним, еще за четыре года до издания этих правил сама мысль о бритье головы могло привести к решению о коллективном самоубийстве. Одно из самых страшных явлений — телесное наказание — также могло стать поводом для заявления протеста, и с помощью самоубийства в том числе. Тем более, что розги воспринимались политическими заключенными не как наказание, а как оскорбление.

Показательны ответы тех, кто выжил после Карийской трагедии. На вопрос тюремщиков, зачем это было сделано, один из этих людей, С. Д. Диковский, ответил, что уже после приговора он решил покончить с собой, если ему будет грозить телесное наказание: «...мне оставалось только одно — умереть, потому что ни мое воспитание, ни тем более сильно развитое чувство человеческого достоинства не позволяло жить мне под такой вечной угрозой страшного для меня позора и унижения. В моей смерти я видел два момента: во-первых, протест против применения телесного наказания к кому бы то ни было из государственных преступников, во-вторых, своей смертью я хотел избавиться от ужасного телесного наказания». Другой заключенный назвал наказание Сигиды «самой жестокой смертной казнью путем надругательства над человеком». В самоубийстве он видел единственный способ протеста[1]. Обращает на себя внимание этот

[1] Гернет М. Н. Указ соч. Т. 3. С. 327–328.

любопытный элемент самоопределения, некоего корпоративного самосознания политических. Этот сюжет имеет довольно глубокие корни.

Еще в «Записках из мертвого дома» Ф. М. Достоевский указывал на то, что телесные наказания, как правило, не применялись к дворянам. «Причины тому ясные: эти высшие начальники, во-первых, сами дворяне; во-вторых, случалось еще прежде, что некоторые из дворян не ложились под розги и бросались на исполнителей, отчего происходили ужасы; а в-третьих, и, мне кажется, это главное, уже давно, еще лет тридцать пять тому назад, в Сибирь явилась вдруг, разом, большая масса ссыльных дворян, и эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что начальство уже по старинной, преемственной привычке поневоле глядело в мое время на дворян-преступников известного разряда иными глазами, чем на всех других ссыльных».

Среди декабристов действительно нашелся человек, совершивший самоубийство. Речь идет об известном случае гибели декабриста И. Сухинова. Интересно то, что, организуя попытку вооруженного восстания в Зерентуйском руднике, он легко нашел сторонников среди каторжников непривилегированного сословия. Когда заговор был раскрыт, заключенных приговорили к клеймлению, порке и расстрелу. То, что экзекуция заканчивалась расстрелом, сводило порку и клеймление к «чистому» унижению. Важно, что из всех заговорщиков такого наказания над собой не допустил только Сухинов — единственный дворянин. Оповещенный о том, какая участь ему уготована, он несколько раз пытался отравиться, а после неудачи «повесился на ремнях, поддерживавших его цепи. Он прикрепил ремни к печной заслонке и задушил себя в лежачем положении»[1]. Так же и первый известный нам опыт организованной голодовки заключенных

[1] Нечкина М. В. Декабристы. — М., 1976. С. 137 – 138.

является опытом декабристов, протестовавших таким образом против неожиданной, однако вполне «уставной» попытки начальства ужесточить режим содержания узников[1].

Разумеется, выражение Н. Я. Эйдельмана о непоротых дворянах — первое, что приходит на ум в данной ситуации. Вопрос о телесных наказаниях для дворян был весьма актуален для XVIII века, и к концу этого столетия ситуация сохраняла двойственность — с одной стороны, телесные наказания для дворян отменили, и этот фактор признавался очень значимым. Обычно в специальной литературе принято ссылаться на князя Щербатова, который усматривал в телесных наказаниях прежде всего позорящие дворянина аспекты и утверждал, что «многие из нас восхотят скорее смертную казнь... нежели жить после палок и плетей». Более того, по мнению Щербатова, речь идет не о личном деле кого бы то ни было, а о чести всего сословия: «Дабы сей корпус не подвержен был к пятну, чтобы с сим достоинством кто в оном пытанный или наказанный находился». Известно, что отмена телесных наказаний для дворян была закреплена в Жалованной грамоте дворянству Екатерины II. Но как быть с теми, кто лишен прав по приговору? Это известная проблема русской правоприменительной практики хорошо иллюстрируется указом Павла I по поводу дела прапорщика Рожнова в 1797 году: «Коль скоро снято дворянство, то и привилегия до него не касается, по чему и впредь поступать», — на что и ссылался Сенат, впредь утверждая подобные решения[2].

Но, с другой стороны, все сказанное выше не имеет отношения напрямую к нашим сюжетам. Как известно, многие революционеры второй половины XIX —

---

[1] Оболенский Е. П. Воспоминания // Верные сыны отечества. — Л.: Лениздат, 1982. С. 261 – 263.

[2] Покровская А. Ю. История телесных наказаний в русском уголовном праве // http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3941/item3942.html.

начала XX века дворянами не были. Многие самоубийцы, соответственно, тоже. Сазонов был сыном купца, Грачевский и Диковский — дети священнослужителей. И, скорее всего, у нас нет оснований говорить о прямой преемственности в моделях поведения дворянских революционеров-декабристов и революционеров второй половины XIX века как вследствие недостаточной информированности, так и вследствие достаточно настороженного отношения к дворянским предшественникам со стороны народников. Однако последние настаивали на определенных привилегиях при заключении, воспринимали их как должное и были готовы отдать жизнь за то, чтобы не подвергнуться унижению. На мой взгляд, перед нами последствия определенного двустороннего процесса. И власти, и заключенные — жители одного и того же сословного государства с присущим ему представлением о привилегиях и послаблениях. Система сама продуцирует определенную реакцию со стороны индивидов. За счет чего?

Обратим внимание на то, что в цитированном пассаже Достоевский указывает на двусторонность процесса: не только дворяне не шли под телесное наказание, но и само начальство не стремилось их наказывать «по пустякам». Начиная с эпохи декабристов, тюремное и каторжное начальство часто действовало не столько в рамках закона, сколько в рамках именно определенных повседневных представлений о положении сословий в России. Нечто подобное могло происходить и в некоторых тюрьмах к XIX — началу XX века. Во многих случаях начальство, выражаясь словами мемуаристок, «не знало, как себя держать с политическими», относилось к ним иначе, чем к уголовным, просто потому, что те держались иначе и были «образованные». Сопротивление же, на которое были способны политические, часто было лишней головной болью для тюремного начальства и в то же время налагало трудно преодолимые границы тюремной власти. Характерно описание реакции охранников

на голодовку заключенных: «Их бесило то, что они бессильны сопротивляться этому немому и вместе с тем вопиющему протесту со стороны заключенных»[1]. Отчасти в силу этих причин могла складываться ситуация, описанная в известных воспоминаниях о Мальцевской женской каторге Ф. Радзиловской и Л. Орестовой: «В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Устанавливалось это само собой, без особой договоренности»[2]. И малейшее послабление, данное начальством тюрьмы, политические заключенные без сопротивления не отдавали, а сами каторжанки Мальцевской тюрьмы были уверены, что в случае чего «пошли бы по той же дороге борьбы, что и наши зерентуйские товарищи». Кроме того, на создании соответствующего мягкого режима властями в некоторых тюрьмах не могла не сказаться деятельность революционеров вне тюремных стен. Оставляя в стороне влияние революционных процессов 1905 – 1907 годов, отметим карательную деятельность революционеров — начиная от выстрела Засулич и убийства Н. В. Мезенцева в 1878 году и до начала XX века, когда в 1907 году был убит начальник Главного тюремного управления Максимовский. Напомним, что и обвиняемый в гибели Сазонова Высоцкий был ранен в результате покушения в 1911 году.

Обратим также внимание и на то, что важным признаком является «образование». Само по себе образование в России было привилегий. Перед нами явно последствия удивительного процесса, порожденного расплывчатыми социальными структурами Российской империи, где поначалу понятие культурной элиты смешивалось с социальным происхождением,

---

[1] Джабадари И. В неволе. Воспоминания // Былое. 1906. № 6. С. 171.

[2] Радзиловская Ф., Орестова Л. Мальцевская женская каторга 1907 – 1911 гг. // Женщины-террористки в России... С. 530.

а впоследствии принадлежность (по причине ли образования или самоопределения) к такой элите влекла за собой соответствующие представления о достойном обращении[1]. Кроме того, сама система образования, по отзывам многих современников, могла превращаться и в первый опыт противостояния системе власти, и в первый опыт внесословной общности, соединявший учеников чувством товарищества без внимания к сословным предрассудкам. Немаловажно, что подобная же логика «образовательного ценза» была присуща и властям. Так, дополняя прежние примеры, можно вспомнить, что одним из оснований освобождения от телесных наказаний лиц непривилегированного сословия, по мнению Государственного Совета, могло быть именно образование. Наказание к таковым применяться не могло «без тяжкого для них посрамления», и потому освобождение таковых от телесных наказаний необходимо «для возвышения в них самих чувства собственного достоинства». Образование порождает чувство собственного достоинства, а значит, может быть основанием для смягчения или отмены позорящего наказания, даже с точки зрения законодателя[2].

И мы видим в новом свете те условия, которые порождают самоубийство. Слова «самоубийства из протеста» наполняются особым смыслом. Кроме действительных тягот страшной тюремной жизни речь может идти и о борьбе за статус, и о постоянных колебаниях во взаимоотношениях революционеров и тюремного начальства. Кроме того, произвол бюрократического режима проявляется не только в беззаконных притеснениях, но и в беззаконных посла-

---

[1] См. важные идеи по этому поводу: Эллис К. Виртшафтер. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. — М., 2002.

[2] Тимофеев А. Телесные наказания // Энциклопедический словарь. Т. 64. — СПб., Брокгауз — Эфрон, 1901. См. также: Покровская А.Ю. Указ. соч.

блениях, которые, в свою очередь, уже не могут быть исправлены без борьбы.

Самоубийство, таким образом, могло быть именно признаком особой социальной среды. На это указывает также и то, что политические редко когда защищали уголовных от телесных наказаний и, даже заявляя протесты против притеснений в тюрьме, никогда не шли на самоубийства из-за порки уголовных, во всяком случае, такая практика была исключительной настолько, что не попала в известные мне источники. Уголовные и сами отделяли себя от политических, и начальство часто не смешивало их друг с другом, хотя бы и вопреки инструкциям. Во всяком случае, расселение по уголовным камерам и тюрьмам, смешение уголовных и политических могло становиться наказанием. На воле же, когда впервые после революции 1905—1907 годов русская печать смогла обсуждать самоубийства в тюрьмах, суицидальные акты осознавались как особая привилегия и отличительная черта революционной интеллигенции. По подсчетам исследователей начала XX века, самоубийства в основном случались среди политических[1], иногда без всяких подсчетов говорилось, что увеличение самоубийств в тюрьмах с 1903 года связано не с увеличением числа заключенных вообще, а с увеличением числа политических — для современников это было очевидно и не требовало доказательств[2]. А если признавался тот факт, что уголовники иногда тоже кончают жизнь самоубийством, то автор очерка мог, во-первых, подчеркнуть, что «никогда политические не прибегали к таким средствам самоубийства, как уголовные», один из которых утопился в выгребной яме, а другой засунул голову в парашу, а во-вторых,

---

[1] Жбанков Д. Современные самоубийства // Современный мир. 1910. № 3. С. 40.

[2] Прозоров Л. Самоубийства в тюрьмах и около тюрем по данным 1906 и 1907 гг. // Медицинское обозрение. 1908. № 12. С. 65.

указывалось на то, что в России, в отличие от тюрем Европы, завершенные самоубийства превышают количество покушений. Причиной этой русской специфики, по мнению автора, было то обстоятельство, что в Европе сидят в основном уголовники, а в России много политических, которые «почти никогда не симулируют»[1]. Справедливости ради надо сказать, что сюжеты, связанные с самоубийствами, если и прослеживаются в субкультуре уголовной среды, то не находят своего отражения в работах исследователей, да и представители современной пенитенциарной системы большое внимание уделяют именно симулированию заключенными самоубийства[2].

Однако все, сказанное выше, не исчерпывает нашу тематику. Понятно, что происходящее с человеком в тюрьме коренится не только в тюремной жизни. И для того, чтобы придать картине дополнительную четкость, надо обратиться к существованию на воле, ибо именно из вольной жизни революционера следует его тюремная судьба. Более того, она предусматривается уже с 1860-х годов как изнанка жизни борца за свободу, ее неотъемлемая оборотная сторона.

Судьба революционера могла некоторым образом соотноситься с самой перспективой тюрьмы. Одна из мемуаристок вспоминала, что народоволец Н. А. Саблин зимой 1880 – 1881 года читал ей свое стихотворение «Малюта Скуратов». Сюжет стихотворения был таков: «Малюта Скуратов ожил и просит разрешения показать ему тюрьмы и узников; его проводят по камерам: тут идет ряд описаний жутких картин томящихся и мучимых в тюрьмах мужчин и женщин, стариков, юношей, девушек; страданья их разрывают сердце. По выходе из тюрьмы Малюта делает следующий вывод:

---

[1] Фроммет Б. Самоубийство в политической тюрьме и ссылке // Врачебная газета. 1910. № 51.

[2] См., например: Сысоев А.М. Профилактика суицидального поведения в уголовно-исполнительной системе Минюста России. — Рязань, 2004. С. 70.

настоящие пытки сильней и жесточе пыток времен Грозного, потому что тогда мучили только тело, теперь мучают и тело, и душу»[1]. Стихотворение приобретает особый смысл, если мы вспомним, что его автор не захотел попасть в руки правящего режима и предпочел застрелиться при аресте. Более того, тюрьма, по мнению М. Могильнер, входила в образ революционера «как необходимая ступень на пути к полному самоотречению»[2]. Тюрьма превращала революционера в мученика, делала его мысли и жизнь подлинными, настоящими и праведными.

Здесь перед нами возникает еще один аспект интересующей нас темы: революционер как жертва, как тот, кто приносит себя в жертву для счастливого будущего России. Это служило оправданием для многих революционеров вообще и террористов в частности. На это обстоятельство уже указывали исследователи[3], и если принять его во внимание, то самоубийства на каторге и ссылке становятся несколько понятнее, как яснее становятся и экзальтированные, и кажущиеся неестественными переживания приговоренных к смерти борцов с властью. Приговоренная к смерти А. Измайлович писала, что те дни, которые она провела в ожидании смертной казни, замененной впоследствии на пожизненную каторгу, превратились в «великий праздник», когда жизнь обрела смысл, а уверенность в грядущей победе была абсолютной. Она знала, зачем умирает, и была уверена в своей правоте. Свою смерть, как и гибель своей сестры, Измайлович воспринимала эстетически и нравственно как красивую и праведную[4]. Многочис-

---

[1] Эльцина-Зак М. Из встреч с первомартовцами // 1 марта 1881 года: казнь императора Александра II. — Л., 1991. С. 69.

[2] Могильнер М. Указ соч. С. 46.

[3] Могильнер М. Указ соч.; Будницкий О. В. Указ соч.

[4] Измайлович А. Из прошлого // Женщины-террористки в России... С. 365 – 367.

ленные примеры сознательной жертвенности революционеров, а особенно революционеров-террористов, приводятся (или конструируются, что само по себе показательно) в «Воспоминаниях террориста» Б. Савинкова. Случай и «житие» Ивана Каляева в этом смысле являются хрестоматийными. Эта готовность революционеров к жертве, а особенно террористов-революционеров к собственной гибели, логично продолжалась в готовности к самоубийству как к способу сопротивления в местах лишения свободы. Неслучайно самые известные из обсуждаемых самоубийств совершали эсеры и народовольцы.

Кроме того, самоубийства в тюрьме могли, как мы помним, получать широкий отклик в обществе (вспомним идею Поливанова о последней возможности послужить делу с помощью самоубийства). Вокруг событий, связанных с подавлением революционного движения, кристаллизовывалась русская оппозиция. Так, по мнению О. В. Аптекмана, первой публичной демонстрацией социалистов «против общественных безобразий» стали похороны студента Чернышова, погибшего от туберкулеза, полученного вследствие пребывания в Доме предварительного заключения, — его выпустили на поруки «по состоянию здоровья» за две недели до смерти. «Вот его-то и решили в виде протеста похоронить с триумфом»[1].

Отклик на самоубийства, совершаемые на каторге, мог также носить открытый, массовый и публичный характер. Даже в условиях, когда о трагедии доносились лишь смутные слухи, общество реагировало на события, пусть и в форме глухого ропота. Например, Ю. М. Лотман считает, что один из устойчивых образов блоковской поэзии — образ огня — может быть со-

[1] Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. // Революционеры 1870-х годов. Воспоминания участников народнического движения в Петербурге. — Л., 1986. С. 318.

отнесен со слухами о самосожжении М. Ф. Грачевского[1]. И эта уверенность в том, что поступок не останется незамеченным, могла поддерживать заключенных в их сопротивлении администрации тюрем. И когда в Якутске в 1889 году заключенные планировали оказать сопротивление замыслам администрации, некоторые из них согласились только потому, что «протест может иметь широкий общественный характер, может обратить внимание в России и за границей на произвол, беспредельность которого толкает людей почти на самоубийство».

Таким образом, перед нами предстает система смыслов, в которой самоубийство в тюрьме вполне разумно, очевидно и естественно. Оно становится актом, утверждающим правоту самоубийцы. Характерно, что если для обыденного сознания самоубийца представал тем, кого надо пожалеть, то в революционной среде самоубийцей часто надо было гордиться. Даже погибая, он побеждал благодаря особому пониманию своего поступка в революционной субкультуре: «Он ушел от нас с измученной душой, но горячо верящий в победу тех идей, за которые боролся всю свою жизнь»[2].

Мы видим, что самоубийство, как и всякая форма человеческого поведения, не может объясняться только с помощью психологических, индивидуальных оснований, хотя именно к этому призывает нас схема «здравого смысла». Мы видим, насколько среда определяет мотивацию тех или иных форм поведения и как конкретно это происходит в области взаимодействия власти и политических заключенных в дореволюционной тюрьме, а также определяется всей субкультурой радикального движения.

---

[1] Лотман Ю. М. О глубинных элементах художественного замысла... // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. — СПб., 1996. С. 670–676.

[2] Ергина Л. Воспоминания из жизни в ссылке (Памяти Л. Ф. Яновича) // Былое. 1907. № 12. С. 63.

И еще одно. Не нужно считать, что система отношений человека с собственной произвольной смертью обрисована нами до последней черточки. Мы просто пытались уловить тот смысл, который явно или неявно проступал в подобных поступках.

Разумеется, эта система не исключает индивидуальных проявлений, более того, предусматривает их. И многие умирали в одиночестве и отчаянии, потеряв всякую надежду и не думая о сопротивлении, а стремясь только к тому, чтобы прекратить это ненавистное существование. Выше мы создавали нечто, напоминающее апологию самоубийства, но можно вспомнить, что иногда оно могло считаться в революционной среде дезертирством.

Действительно, многие революционеры, такие, например, как народоволец Н. В. Клеточников или покушавшийся на адмирала Дубасова Б. Вноровский, демонстрировали суицидальные наклонности и до знакомства с революционными идеями. Конечно, в рядах революционеров были люди с определенными психическими отклонениями, и чем более расширялся революционный поток, тем больше их могло становиться. Однако эти индивидуальные проявления могут рассматриваться лишь как составная часть общей совокупности смыслов и моделей поведения революционера, но не как единственная основа для наших реконструкций. Иначе мы рискуем всегда в качестве примера патологического поведения привлекать самоубийство революционерки только на том основании, что она покончила собой, имея троих детей.

Россия уголовная

Преступность в годы реформ и в периоды застоя

Борис Миронов

Преступность стала угрожать национальной безопасности России.
В. В. Путин

Стремительный рост преступности в России за последние 15 лет не на шутку встревожил всех — от рядового гражданина до президента страны. Действительно, есть над чем задуматься. С 1985 по 2000 год уровень преступности (число преступлений на 100 тысяч человек населения) повысился в 2 раза. Не менее печально то, что тяжкая преступность увеличивалась быстрее, чем мелкая: например, число убийств возросло в 2,4 раза, грабежей — в 2,8, разбойных нападений — в 4,5 раза, а в целом доля тяжких преступлений в общей преступности повысилась с 39 до 54% (табл. 1). Чтобы правильно оценить настоящее и увидеть перспективу, давайте заглянем в прошлое — далекое и недавнее.

Сведения о динамике преступности в России за последние 200 лет приведены в табл. 2. Обращаю внимание читателей на два важных обстоятельства, которые необходимо принимать во внимание при анализе преступности. Во-первых, под преступностью имеются в виду **преступления, зафиксированные правоохранительными органами.** Во все времена большая часть преступлений полиции не была известна и не фиксировалась: криминалисты на основании опросов

Таблица 1

Динамика преступности в России в 1985–2000 годах (среднее число преступлений* на 100 тыс. человек)

Годы	Умышленные убийства	Тяжкие телесные повреждения	Кражи	Грабежи	Разбойные нападения	Прочие	Всего
1985	8,5	19,9	324,7	29,9	5,8	601,0	989,8
1986	6,6	14,7	264,4	21,8	4,2	617,5	929,2
1987	6,3	13,9	251,1	21,0	3,9	520,7	816,9
1988	7,2	18,2	327,2	29,9	5,5	445,9	833,9
1989	9,2	25,0	512,1	51,0	9,9	491,3	1 098,5
1990	10,5	27,7	616,8	56,3	11,2	520,0	1 242,5
1991	10,9	27,8	837,3	68,8	12,4	506,0	1 463,2
1992	15,5	36,2	1 110,2	110,9	20,4	563,3	1856,5
1993	19,6	45,1	1 062,8	124,3	27,0	406,6	1 887,8
1994	21,8	45,7	888,4	100,4	25,6	697,0	1 778,9
1995	21,4	41,7	924,6	95,0	25,5	754,5	1 862,7
1996	19,9	36,2	816,2	82,2	24,3	797,8	1 778,4
1997	19,9	31,4	716,3	76,2	23,3	762,2	1 629,3
1998	20,1	30,7	778,8	83,2	26,2	816,2	1 755,2
1999	21,2	32,4	954,4	93,8	27,7	896,5	2 026,0
2000	21,8	34,1	897,7	90,7	27,0	951,6	2 023,0

* Вместе с покушениями.

Источники: Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминологический анализ. — М., 1997. С. 14–39, 64–65, 92–96, 199–200, 211–212, 246–247, 251; Состояние преступности в России (январь–декабрь 1998 года). — М., 1999. С. 4. 35; Краткий анализ состояния преступности в России в 1999 году // Российская юстиция, 2000. № 4. С. 62; Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Российская юстиция, 2001. № 3. С. 77–78.

предполагают, что фактическая преступность в 5–7 раз превышает зарегистрированную[1], причем доля неучтенных преступлений не является величиной по-

[1] Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А. И. Гурова. — М., 2000. С. 10.

Таблица 2

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в России в XIX–XX веках

1803 — 1808	1825 — 1830	1851 — 1860	1883 — 1889	1889 — 1900	1911 — 1913	1925 — 1928	1961 — 1970	1971 — 1980	1981 — 1990	1991 — 2000
593	652	516	1 397	1 221	1 719	1 009	415	583	1 009	1 802

Источники: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. — СПб., 2000; Гернет М. Н. Преступность за границей и в СССР. — М., 1931. С. 7–85. Остальные источники указаны в примечании к табл. 1.

стоянной — она то увеличивается, то уменьшается. Во-вторых, хотя во все времена криминальными считались одни и те же деяния — убийства, грабежи, кражи, изнасилования и т. п. — и именно они составляли основную массу преступлений, **номенклатура преступлений с развитием общества изменяется** и зависит от политического строя, принятых в обществе стандартов поведения, уголовного права, судебной системы. Например, ряд деяний, которые в советское время считались преступными, до 1917 года таковыми не считались, и наоборот. Таким образом, статистические данные о преступности следует рассматривать как весьма ориентировочные, лишь более или менее правильно отражающие основные тенденции в развитии криминального поведения.

Приведенные данные выглядят немного утешительнее — по уровню преступности в 2000 году мы приблизились к 1913 году. Интересно другое: в последние 200 лет динамика преступности имела циклический характер. Преступность возросла в либеральное царствование Александра I, уменьшилась при консервативном правлении Николая I, затем вновь — и весьма значительно (в 2,7 раза) — увеличилась в реформаторскую эпоху Александра II, чтобы затем

уменьшиться в консервативное царствование Александра III и снова вырасти (в 1,6 раза) при противоречивом и неустойчивом правительственном курсе Николая II. В годы Первой мировой войны преступность еще более увеличилась. Процесс ее роста продолжался до начала 1920-х годов. Затем при авторитарном правлении Сталина преступность стала снижаться и минимальной отметки достигла в 1950-е годы. Трудно поверить, но в конце 1950-х уровень преступности в России был ниже, чем за 150 лет до этого — в начале XIX века. Хрущевская оттепель отмечена ростом преступности, которая в последующие годы продолжала увеличиваться: в 1960-х — на 30 пунктов, в 1970-х — на 126, в 1980-х — на 655, в 1990-х — на 537 пунктов. Еще 20 лет такого роста, как с 1981 по 2000 год, и Россия станет самой преступной страной в мире. Пока лидируют США, где в августе 2001 года 6,47 млн человек, или один из 32 взрослых американцев, осуждены и либо находятся в тюрьме, либо освобождены условно (и находятся на испытании)[1].

А как обстоят дела в других странах Запада? По общему уровню преступности Россия заметно от них отстает: по официальным данным примерно в 4 раза, но на самом деле цифра меньше. Дело в том, что российская статистика учитывает значительно меньшее число преступлений, чем западная; кроме того, российские граждане не так охотно сообщают о преступлениях в правоохранительные органы, как западные. Однако и в прошлом преступность в России была ниже, чем на Западе. Например, в середине XIX века она была в 4 раза меньше, чем во Франции, и в 7,6 раза меньше, чем в Англии. К 1913 году различия уменьшились вследствие более быстрого роста преступности в России, однако преступность на Западе по-прежнему была выше: в Англии — примерно в 1,2 раза, во Франции — в 1,9, в Германии — в 2,4 раза.

---

[1] The Wall Street Journal. Vol. CCXXXVII. No. 40. Monday. August 27. 2001. P. A1.

После 1917 года преступность повышалась повсеместно, причем до 1985 года в Европе быстрее, чем в России. В таких благополучных странах, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, за последние 40 лет преступность возросла примерно в 4 раза. В те же 40 лет преступность в России увеличилась в 5 раз, но на Западе она повышалась постепенно, а в России рывком и, главным образом, в последние 15 лет[1]. Из развитых стран только в Японии индекс преступности примерно равен российскому: преступность там в течение XX века росла медленнее, чем на Западе.

В движении российской преступности наблюдается закономерность: чем жестче правитель, чем консервативнее правление, тем ниже преступность, и наоборот, чем мягче правитель и либеральнее правительственный курс, тем преступность выше. То же в мировом масштабе: чем демократичнее страна, тем выше преступность, чем дальше от демократии — тем ниже. В чем дело? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте восстановим исторический фон, на котором развивалась российская преступность.

Рост преступности в царствование Александра I был связан с многочисленными кровопролитными войнами, которые вела Россия. Отсюда — разорение больших территорий, вооружение населения, повышение налогов, снижение жизненного уровня, ослабление социального контроля, ухудшение работы правоохранительных органов. Эти годы отмечены также важными преобразованиями либерального характера в государственном управлении, которые, как всякие реформы, приводили к временному ослаблению государственной машины. Снижение преступности при Николае I объясняется ростом законности, порядка и дисциплины в государственном управлении, полиции и суде. Император активно занимался законотворческой

[1] Криминология. XX век / Под. ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. — СПб., 2000. С. 173—175.

деятельностью, направленной на то, чтобы поставить бюрократию и жизнь всего общества в рамки закона. Именно при Николае I после 133 лет безуспешных попыток в 1830 – 1832 годах был создан долгожданный Свод законов Российской империи.

Совпадение значительного роста преступности с Великими реформами 1860 – 1870-х годов указывает на существование между ними тесной связи. Действительно, утверждение идей законности и уважения к личности, получение населением гражданских прав и судебной защиты благодаря учрежденным мировым судам способствовали росту *зарегистрированной* преступности. В мировые суды, введенные в практику в 1866 году для рассмотрения мелких уголовных исков, стали массово обращаться простые люди. Они приходили с такими обидами, на которые прежде и не помышляли жаловаться в суд. Жены жаловались на жестокое обращение мужей, просили развода или выдачи вида на жительство отдельно от супругов; рабочие решали трудовые споры, жаловались на несправедливое отношение к ним предпринимателей и требовали их наказания и т. д. В мировых судах по всей стране в 1884 – 1888 годах рассматривалось 1036 тысяч дел в год, в 1909 – 1913 годах — 1567 тысяч, что составляло около 57% всех уголовных дел и около 90% всех мелких уголовных дел. Как это ни парадоксально, пробуждение самосознания личности и стремление отстоять свое достоинство послужили фактором роста преступности.

Увеличение преступности среди молодежи и женщин также происходило, хотя бы отчасти в связи с их борьбой за свое достоинство, стремлением освободиться от контроля со стороны глав семей и мужчин. С 1834 по 1913 год доля несовершеннолетних среди правонарушителей возросла с 7 до 21%, женщин — с 11 до 15%. Если принять во внимание, что доля несовершеннолетних (возраст совершеннолетия равнялся 21 году) в населении страны составляла около 30%,

а женщин — 51%, то преступность среди молодежи была ниже, чем среди взрослых, а среди женщин — ниже, чем среди мужчин и среди молодежи. Молодежь чаще, чем женщины, отклонялась от общепринятых норм и активнее освобождалась от контроля старших, чем женщины от контроля мужчин.

Под влиянием реформ патриархальные отношения постепенно разрушались; параллельно росла преступность. Об этом говорят данные о превосходстве городской преступности над сельской, столичной — над провинциальной, а также более высокий уровень преступности среди рабочих сравнительно с крестьянами-общинниками. На долю Петербурга и Москвы в 1874 году приходилось 6,4% всех осужденных (а проживало там лишь 1,6% всего населения европейской части России), на долю провинциальных городов — 25,6% осужденных и 8,4% населения, на долю деревни — 68% осужденных и 90% населения. Реформы привели к изменению ценностных стандартов поведения у значительной части населения, а конфликт разных систем ценностей всегда способствует росту отклоняющегося поведения и преступности. Пореформенное время характеризовалось также принципиальным изменением экономических отношений — переходом к рыночной экономике, острым противостоянием общества и государства, национальными конфликтами, подчас непримиримой борьбой общественных организаций и политических партий. Заметим также, что благодаря реформам (правда, через 20 лет после их начала) благосостояние населения, за исключением дворянства, стало улучшаться, а имущественная дифференциация — расти.

Таким образом, Великие реформы открыли более широкий простор частной инициативе и предприимчивости, расширили рамки дозволенного и способствовали развитию отклоняющегося поведения, в том числе в его криминальной форме. Старания двух последних императоров усилить государственный и корпоративный

контроль за людьми имели лишь частичный и временный успех в царствование Александра III. Социальные и политические изменения, введенные Александром II, оказались необратимыми: народ, почувствовавший вкус свободы, не желал возвращаться в прошлое. Усилия вернуть его к старым порядкам без ощутимой материальной компенсации вызывали протест, что спровоцировало новый виток роста преступности. Как это ни парадоксально, получение личной свободы в результате Великих реформ и политической свободы в 1905 году дорого обошлось обществу, поскольку обернулось четырехкратным ростом преступности.

Существуют прямые параллели между веком XIX и XX. Первая мировая война, две революции и Гражданская война ослабили государственную машину, расшатали общественный порядок, привели к падению жизненного уровня, изменили систему ценностей у многих людей. В результате — огромный рост преступности. Во время войн XIX века преступность также повышалась, но масштабы военных действий были иными, соответственно, и рост преступности оказывался меньшим. В период победоносного шествия Октябрьской революции по стране в криминальный оборот были втянуты почти все граждане и по крайней мере треть их прямо или косвенно от революции пострадала[1].

В 1920-е годы по мере укрепления нового политического режима преступность стала снижаться. Всеобщая коллективизация и национализация, внедрение общинных принципов жизни, насаждение принудительного коллективизма (один за всех, все за одного), усиление контроля со стороны государственных и общественных организаций за поведением человека на работе и в быту в 1930 – 1950-е годы привели

[1] Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминологический анализ. — М., 1997. С. 250.

к существенному снижению уголовной преступности (мы оставляем в стороне преступность политическую). В 1950-е годы преступность упала ниже уровня начала XIX века. Однако во время войны 1941 – 1945 годов, когда ослаб государственный и общественный контроль, преступность резко возросла; если ее оценивать по числу подсудимых — в 2,5 – 3 раза, но в действительности — больше вследствие значительного прироста незарегистрированной преступности[1]. Военный скачок в уровне преступности ясно показывает, что государственный и общественный контроль — важный фактор: как только он ослабевает, преступность растет. Не забудем также, что во время войны происходило обнищание населения, что, как правило, провоцирует повышение преступности.

В 1960 – 1985 годах по мере либерализации советского режима преступность постепенно повышалась. Когда же либерализм стал государственным и общественным кредо — поднялась на небывалую прежде высоту. 1985 – 2000 годы отмечены переходом к новым экономическим отношениям, возникновением безработицы, пауперизацией населения и, что очень важно, изменением системы ценностей и общественных идеалов у большинства россиян. О том, какой хаос воцарился в головах, особенно молодых, красноречиво говорят результаты проведенного в 1998 года опроса людей в возрасте 18 – 29 лет. На вопрос «Как Вы относитесь к участию в криминальных группировках?» 14,5% мужчин и 9,2% женщин ответили, что это нормальный способ зарабатывать деньги; 28,3% мужчин и 12,7% женщин признались, что, если «жизнь прижмет», можно временно этим заняться. Поразительно, но факт: 5,8% юношей и 1,9% девушек в качестве представителя самой престижной профессии назвали бандита[2].

---

[1] Лунеев В. В. Указ. соч. С. 59.

[2] Криминология. XX век. С. 530 – 531.

Наша справка

Ключевые понятия криминальной статистики

Преступление — деяние, направленное против существующей в данный момент правовой нормы и вызывающее определенные репрессивные последствия. **Следствие** — в российской уголовной статистике так называлось преступление, зафиксированное правоохранительными органами. В современном языке этим словом называется также расследование обстоятельств, связанных с преступлением. Число следствий, или расследований, лишь примерно соответствовало числу преступлений, зафиксированных правоохранительными органами, и лишь приблизительно отражало уровень преступности. **Уголовное дело** — это преступление, ставшее предметом судебного разбирательства. Следует принимать во внимание, что суд мог не согласиться с обвинением и не найти состава преступления, однако доля таких дел была невелика и более или менее постоянна, благодаря чему число уголовных дел отражало, хотя так же приблизительно, число преступлений, доведенных до судебного разбирательства. То, что русская уголовная статистика называла следствием, в сущности, являлось практическим понятием преступления. Итак, в дальнейшем **преступлением** будет называться известное правоохранительным органам правонарушение; **уголовным делом** — дело, рассмотренное в суде; **подсудимым** — лицо, подозреваемое в совершении преступления; а **осужденным** — лицо, признанное судом виновным.

Феноменальные изменения в обществе, как и в эпоху Великих реформ 1860—1870-х годов, происходили на фоне противостояния различных ветвей власти, этнических конфликтов, противоборства политических партий и движений. Заметим, что аналогичные политические, социальные и экономические процес-

сы охватили все бывшие социалистические страны и везде сопровождались огромным ростом преступности; в некоторых восточноевропейских странах (например, в Польше) рост был несколько меньшим, чем в России; в большинстве стран, включая бывшие республики СССР, — бо́льшим. Например, в бывшей ГДР накануне объединения преступность была в 3 раза ниже, чем в ФРГ, а через 10 лет практически догнала преступность в старых федеральных землях; преступность в странах Балтии за 15 лет возросла в 2 – 2,5 раза[1].

Итак, в последние 200 лет преступность в России была всегда намного ниже, чем в западноевропейских странах. Если брать большие периоды, всюду наблюдался ее устойчивый и, как правило, необратимый рост: достигнув определенного рубежа, преступность стабилизировалась, но снижалась редко. Были, правда, два исключения в России — царствование Николая I и сталинская эпоха, в обоих случаях преступность возвратилась к уровню XVIII века — времени расцвета крепостничества. Знаменательное совпадение! Повышение преступности происходило скачками — в годы войны, либеральных реформ и революций она резко повышалась, а в спокойные, консервативные годы стабилизировалась или медленно росла.

Почему именно время либеральных реформ отличается особенно заметным ростом преступности? Из многих факторов выделим три, на наш взгляд, важнейших.

Во-первых, ослабляется государственный и общественный контроль за человеком, ему предоставляются бо́льшая свобода, инициатива и самостоятельность. Но свобода открывает шлюзы в одинаковой степени как для всего хорошего, так и для всего плохого. Одни пользуются этим с пользой для себя и общества, другие — только для себя, третьи тяготятся полученной свободой. Сразу после отмены крепостного права в

[1] Криминология. XX век. С. 127 – 145.

1861 году немало бывших помещичьих крестьян сожалели о случившемся, потому что не могли приспособиться к жизни в условиях личной свободы.

То же наблюдалось в 1990-е годы. В советское время государство вмешивалось в дела граждан, опекало и контролировало их, но, с другой стороны, гарантировало работу, отдых, минимальный жизненный уровень, снимало с них много обременительных забот и брало на себя решение многих проблем. Реформы 1990-х годов все эти заботы и проблемы переложили на самого человека. Приспособление к новым условиям потребовало огромных усилий, и не все смогли с этим справиться — для многих примерных, воспитанных в коммунистическом духе граждан перестройка жизни и поведения в соответствии с новыми правилами стала непосильной задачей. Как показывают социологические исследования, более двух третей трудоспособного населения не выдержали испытания рынком[1]; миллионы людей утратили прежний, более престижный социальный статус, а вместе с ним спокойствие и уверенность в будущем. Это означало, что психические и эмоциональные нагрузки на человека и, соответственно, число стрессовых ситуаций возросли многократно. А стресс, как известно, часто разряжается в криминальной форме. До 90% насильственных преступлений совершается импульсивно и ситуативно на почве конфликтных отношений между людьми, чаще всего родственниками и коллегами[2], давая выход накопленным негативным эмоциям, обидам, агрессии, оскорбленному самолюбию. Например, четверть всех убийств в стране приходится на супружеские убийства, которые в половине случаев происходят на почве ревности, в половине — на почве борьбы за власть и самоутверждение

[1] См. подробнее: Опора, буфер и гарант // Родина. 2001. № 4. С. 45–51.

[2] Криминология. XX век. С. 300–301.

в семье[1]. Многие жены стали зарабатывать больше мужей, а подчиняться, по убеждению мужчин, должны, как прежде, когда муж был кормильцем. Обеим сторонам горько и обидно.

Во-вторых, в периоды реформ в соответствии с новыми требованиями жизни правила поведения у многих людей изменяются быстро, а законы, устанавливающие рамки дозволенного или обязательного поведения, — с опозданием. Например, до введения в 1997 году нового Уголовного кодекса некоторые экономические деяния, которые прежний Уголовный кодекс считал преступлениями, потеряли криминальный статус. При этом некоторые деяния, которые прежний Уголовный закон не преследовал, стали считаться криминальными.

Наконец, *в-третьих,* реформы всегда сопровождаются падением жизненного уровня населения и снижением эффективности работы правоохранительных органов.

При всем зле, которое несет преступность, полезно помнить, что любое общественное явление имеет две стороны; поэтому, как ни парадоксально, и у преступности есть позитивный аспект. Преступность представляет угрозу общественному порядку, и чем она выше, тем угроза больше. Когда угроза становится серьезной, люди мобилизуются: здоровые силы в обществе определяются и объединяются, граждане и эксперты активно ищут причины роста преступности и средства борьбы с нею, общественное мнение формулирует новый моральный кодекс, официально отменяются устаревшие законы и правила поведения.

Именно это и происходит сейчас в России. Борьба с преступностью становится идеей, объединяющей россиян, средством упрочения российской государственности и гражданского общества. И, кажется,

---

[1] Шестаков Д. А. Супружеское убийство как общественная проблема. — СПб., 1995.

мелькнул свет в конце туннеля — статистика говорит, что в 2000 – 2001 годах преступность обнаружила тенденцию к понижению. Не хочется думать, что нас опять дурачат, как в 1985 году, после начала антиалкогольной кампании: мол, травматизм понизился, производительность труда поднялась, продолжительность жизни увеличилась...

Подведем итоги. Рост преступности в 1861 – 1913 и в 1980 – 1990-х годах свидетельствует о том, что российское общество переживало серьезные структурные реформы, находилось в переходном состоянии и изменялось в либеральном направлении. Движение преступности на Западе в XIX – XX веках заставляет предполагать, что, если российское общество и дальше будет двигаться по этому пути, рост преступности продолжится, но на смену скачкообразному движению придет медленное увеличение, которое в конечном итоге приведет к выравниванию уровней преступности в России и западноевропейских странах. Возвращение к тотальному контролю за поведением человека, возможно, временно приостановило бы рост преступности, но в таком случае нужно отказаться от всего того, что огромными усилиями и с издержками завоевано в годы реформ, — от свободы передвигаться, говорить, думать, писать, протестовать, от Жириновского, Явлинского, Хакамады, Зюганова и Рыжкова, от магазинов, в которых можно все купить, от частной собственности, от личной независимости и экономической самостоятельности, от возможности заниматься тем, что тебе нравится.

Фартовые ребята

Ольга Бортникова

Во второй половине XIX — начале XX века каторга как вид наказания применялась за тяжкие преступления, в том числе убийства, грабежи, разбой. Срок делился на две части: в отряде испытуемых (или «кандальный» срок) и в отряде исправляющихся (когда кандалы снимались). Первая часть срока, формально наиболее суровая, обычно отбывалась в тюрьмах «закрытого типа», самой значимой из которых был Тобольский централ, рассчитанный на 800 человек. По окончании испытательной стадии при условии хорошего поведения каторжане переводились на более «мягкий» режим Александровской каторжной тюрьмы в Иркутске, на рудники.

Обычный день арестантов в Тобольском централе начинался ранее 6 часов утра, по звонку (или по звуку барабана), который был отчетливо слышен в каждом уголке тюрьмы. В 6 часов проходила утренняя поверка (перекличка), после которой заключенные могли «умыться, причесаться, почистить свою одежду и обувь». В уборную их отпускали поочередно, небольшими партиями, с условием, чтобы арестанты разных камер не контактировали между собой. Одновременно с этим в специальный склад выносились постельные принадлежности — тюфяки, набитые сеном или соломой. В конце XIX века часть из них была заменена на камышовые — более мягкие, а часть — на войлочные маты. Откидные кровати в камерах поднимались: днем лежать арестантам запрещалось.

Через полчаса после первого звонка давался второй — на молитву. В общих камерах, где было по 20 и более человек, арестанты строились в ряды напротив икон, которые были обязательным атрибутом тюремного быта. Один из узников читал молитву вслух, иногда нараспев, остальные подхватывали пение, что контролировалось тюремным священником. Если в общих камерах находились иноверцы, они также слушали православную молитву и лишь затем имели право исполнить свой религиозный культ. После молитвы разносились завтрак, состоявший из одного кипятка, а также дневная порция хлеба. Остальные продукты можно было заранее купить на свои деньги, но сумма расходов ограничивалась. На молитву и завтрак отводилось 30 минут. Около 7 часов утра арестанты приступали к работе.

Перерыв на обед составлял два часа, включая прогулку. Как правило, сам обед был скудным. Одно ведро щей, например, предназначалось на 50 человек, яйца давались только на Пасху. После двухчасового отдыха арестанты снова выходили на работу. Рабочий день должен был длиться 12 часов, после чего в камерах раздавались ужин и кипяток для чая. Затем — прогулка, молитва и отбой[1].

Из-за ограниченного объема работы в Тобольской тюрьме работали не все арестанты: на одного человека приходилось 2—3 рабочих дня в неделю. До открытия в конце XIX века каторжной суконной фабрики они были заняты в мастерских, где существовало до 37 ремесел. Наиболее развитым было столярное дело, так как, по свидетельству администрации, «...заказчиком в основном являлось чиновничество, а его нужды в ремесленных изделиях ограничиваются почти исключительно предметами меблировки жилищ и домашнего обихода». По единодушному признанию жителей Тобольска, «...все эти нужды удовлетворя-

[1] Общая тюремная инструкция. Ст. 158—164. — СПб., 1916.

ются каторжной тюрьмой, так как лучшие мастера в городе там»[1].

Были там и вышивальщики, и ювелиры, резчики по дереву и кости. Заключенные шили модельную женскую обувь, мастерили чемоданы, кареты для экипажей. По свидетельству шведского композитора В. Гартевельда, посетившего тюрьму, «...изумительны изделия в виде статуэток, пресс-папье, рамок и прочее, из чего бы вы думали?.. Из черного хлеба... Выработанные предметы положительно художественны и по рисунку, и по форме. Там же мне арестанты поднесли для передачи моей жене две изумительные по красоте цепочки для часов из конского волоса... В столярной мастерской один из арестантов был занят выделкой из дерева герба какого-то дворянского рода»[2].

О развитии художественных промыслов тюремный инспектор отметил: «Некоторые любительские изделия арестантов (например, цепочки из конского волоса) покупаются чиновниками и редкими приезжими из России как почти единственная достопримечательность Тобольска. В числе таких любительских изделий одно время продавались портреты даже Л. Толстого и М. Горького. Два таких портрета, исполненные довольно хорошо, украшали кабинет начальника, ожидая покупателя, но я счел нужным посоветовать снять их по крайней мере со стены служебного помещения, а лучше вовсе отказаться от продажи»[3].

В свободное время арестантов пытались обучать грамоте, так как это входило в программу духовно-нравственного воспитания. Правда, под учебный класс не было отдельного помещения, и администрация нашла выход, обязав грамотных арестантов обучать товарищей прямо в камерах. Эта мера решала проблему заня-

---

[1] ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6024. Л. 163.

[2] Гартевельд В. Каторга и бродяги Сибири. — М., 1912. С. 48.

[3] ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6024. Л. 96.

тости арестантов, отпадала необходимость приглашать профессиональных учителей и платить им и, наконец, формально выполнялась программа образования осужденных, принятая центральной властью.

Условия содержания и организация тюремного быта менялись на протяжении рассматриваемого периода. Между тем в истории Тобольского замка был «классический» этап, когда тюрьма превратилась в образец пенитенциарного учреждения России. Очевидцем этих событий стал тоболяк, ученый Д. И. Менделеев, посетивший замок в 1899 году, во время своего приезда на родину: «Меня повели в находящуюся с краю каторжную тюрьму, где заключены на разные сроки завзятые убийцы и преступники вроде андижанских среднеазиатцев, учинивших фанатические убийства в военном лагере около Андижан. Между заключенными есть и такие, которые приговорены за семь убийств. Таких повесили бы или гильотинировали в иной стране, а тут они помещены, да как помещены — в уютном чистом одноэтажном, светлом здании с множеством разных пристроек, обнесенных высокой стеною и охраняемых вооруженною силою, подчиненною смотрителю, офицеру, живущему тут же, в домике, у самого входа в тюрьму.

Он нас встретил и водил, а входя в каждое помещение, по-военному прежде всего командовал: «Смирно!» Бравый, видимо, гуманный и много содействовавший улучшению острожной жизни, он с очевидной любовью рассказывал мне, пораженному всем, что увидел, все частности, касающиеся устройства жизни в остроге: эти чистые дворы, красивые садики, дрова, сложенные в виде стога (вероятно, для того чтобы поленницы сложенных дров не скоплялись около заборов), всю эту обдуманность, чистоту и уютность, глядевшие из каждого уголка, как видно, устроенного с любовью.

Прошли в кухню, где тоже каторжник предложил пробовать щи-кашу и такой черный хлеб, которо-

му позавидовали бы многие в Петербурге, в московских деревнях и даже в южно-русских захолустьях, потому что так испечь нелегко. Смотритель, видя мое удивление, вероятно, подумав, что мы имеем какое-то сомнение, приказал взять один из груды тут бывших свежих хлебов и распорядился его разрезать. Каторжник громадным ножом молодцевато раздвоил хлеб и показал, разламывая его, что он такой же рыхлый и равномерно испеченный».

«Радужное» представление о тюремном быте было обманчивым: как только на камерах запирался засов, в силу вступали иные правила и традиции — так называемая «неписаная тюремная конституция», которая жестко регламентировала все стороны арестантской жизни.

Управление уголовным коллективом осуществляла тюремная воровская «аристократия». По воспоминаниям политзаключенных, «...порядки в камерах были такие, какие выгодные были ворам, особенно аристократам «Иванам». Так было с обедами и хлебом — «Иваны» львиную долю забирали себе, оставляя «шпане» одни крохи; так было и во многом другом. «Иваны», вообще опытные профессионалы, обучали своему ремеслу менее опытных, поигрывали в карты, доставали водку, мечтали о побегах, понемногу волынили с администрацией, проклинали суконную фабрику, сеявшую чахотку, и время от времени поругивали Ермака, завоевавшего для своего же брата вора Тобольск, город с таким плохим климатом...»[1]

Уголовное сообщество охраняло «аристократический» статус своей элиты и ее привилегии, обеспечивая ей отдых в тюремной больнице, непривлечение к работе и прочее. Самый крупный бунт в Тобольской тюрьме начался именно потому, что начальник Могилев в январе 1908 года приказал вывести на работу

[1] Генкин И. Тобольский централ // Каторга и ссылка. 1924. № 3. С. 163.

«авторитетов». Приказ был воспринят как покушение на устои тюремной жизни. Надзиратель Григорьев — исполнитель приказа — был убит на месте. Найдя у него ключи, осужденные бросились открывать другие камеры. Накалившейся обстановкой воспользовались политкаторжане, взяв инициативу в свои руки. Бунт был подавлен только с помощью войск, однако итогом стали казнь 13 осужденных и восстановление статуса уголовной «элиты».

Внутренне строение уголовной иерархии выглядело так. Ближайшее окружение «Иванов» называлось «ворами», среди которых встречались заключенные с восьмой, девятой и десятой судимостью. Характерно, что рецидивисты с шестью и более «ходками» отбывали срок исключительно в Тобольском централе. Их концентрация в тюрьме была достаточно высока: например, в 1912 году таких осужденных было девять, не считая иных, имевших до шести судимостей[1].

Начальство тюрьмы согласилось дать «ворам» некоторые «льготы». Например, в их камерах не ставились на ночь зловонные «парашки», соответственно, «воров» не запирали на ночь, и они свободно передвигались по тюрьме. По свидетельству В. Г. Короленко, «... как бы то ни было, «малый верх» вознаграждал за некоторые неудобства жилища широким развитием общественности. По ночам оттуда слышался шумный говор, по временам неслись отчаянные крики. Тогда призывалось начальство, иногда даже военный конвой, и расшумевшиеся «воры» накрывались за картежом или пьянством, подобно разодравшимся воробьям, которых берут руками мальчишки».

Основу тюремного мира составляли бывшие маргиналы. Отторгнутые обществом, они приобретали «полноценные» права и обязанности в тюремной артели. Их называли «фартовые ребята», которые де-

[1] ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6080. Л. 77.

лились на три разряда: «жиганов» — каторжников и бродяг, «шпану» — воров и «счастливцев» — мошенников и шулеров. Каждый разряд делился на виды. Например, к «жиганам» относились «орлы» — беглые с каторги, «пустынники» — лица, утратившие все родственные и социальные связи, и «монахи» — ссыльные на Сахалин. «Шпана» делилась на восемь видов, «счастливцы» — на шесть[1]. Представление об их нравственном уровне отразила характеристика В. Гартевельда: «Этот «православный» зарезал с целью грабежа на своем веку более 10 человек и два раза бежал с Сахалина».

Внизу уголовной иерархии были заключенные с первой судимостью — «брусы», которые делились на «шпановых» (за которыми в тюрьме начало закрепляться криминальное поведение) и «лягавых» (попавших в тюрьму случайно и преступлений больше не совершавших). Так, в 1896 году в Тобольскую каторжную тюрьму поступил дворянин В. М. Краузе. Видя свое предназначение в просвещении народа, он до ареста работал учителем в одном из селений европейской части России. Схваченный по ложному доносу недоброжелателя и обвиненный «в растлении учениц», он был приговорен к длительному сроку каторги и после многочисленных безуспешных попыток добиться справедливости отбывал наказание в Тобольском централе.

Дальнейшая судьба таких заключенных зависела исключительно от характера, природного ума и умения приспособляться. Стать членом уголовной артели со всеми вытекающим правами и обязанностями можно было, лишь ступив на преступный путь, своеобразным «учением» чего выступала уголовная мораль. Она включала представления осужденных о добре, зле, справедливости, чести и достоинстве.

---

[1] Детков М. Г. Исполнение наказания в дореволюционной России. — М., 1990. С. 43 – 44.

Достойным считалось преступное поведение, что в условиях заключения проявлялось в умении воровать, прятать украденное, а также совершить побег. Иногда «знатоки» воровского дела устраивали показательные «уроки» своего мастерства. К примеру, в 1862 году на территорию замка был допущен поставщик стройматериалов. Оставив лошадь с телегой в тюремном дворе, он, вернувшись через четверть часа, ее не нашел. Лошадь и повозка исчезли с изолированного пространства, и активные поиски целого отряда надзирателей успеха не дали. Когда над арестантами «сгустились тучи» со стороны смотрителя, лошадь и телега появились на месте, причем так же неожиданно, как исчезли. Куда и как они были спрятаны, этот секрет арестанты не выдали.

Особым искусством считалось хранение краденых и незаконно приобретенных предметов. Иногда их прятали на теле, используя полые каблуки, ремни, которые подвязывались под коленями, и т. д. Чаще всего устраивали тайники, один из которых был найден спустя... 130 лет, в 1990-е годы, когда происходила реставрация помещений тюрьмы под музей.

Искусством также считалось совершение удачного побега. Один такой «показательный» побег из Тобольской тюрьмы стал легендой, передавался из поколения в поколение и был записан петрашевцами: «На Святой неделе арестанты выпросили дозволение играть комедию. Между прочим, в афише, по сему случаю написанной, были назначены необыкновенные гимнастические упражнения, и финалом их была живая пирамида. Действительно, финал был эффектный! Четыре геркулеса положили на голову себе широкую толстую доску, которую, конечно, поддерживали и руками; на эту доску взобрались трое, тоже с доскою, на нее еще двое и, наконец, сам главный фокусник. Пирамида двинулась, поддерживая баланс длинными жердями, вот она подошла к

стене, и верхние трое совершили сальто-мортале за стену — и убежали, и их не поймали»[1].

Престижным признаком криминального поведения было умение играть в карты, причем шулерство в тюрьме каралось смертью. Для продажи запрещенных предметов (карт, водки, табака, ножей и т. д.) работали так называемые «майданы» — подпольные лавочки, цены в которых были в несколько раз выше, чем на воле, и возрастали пропорционально строгости режима. Часть запрещенных предметов изготавливалась прямо в тюрьме. Необходимость и важность этой «контрабанды» для тюремного сообщества было сложно переоценить.

С целью бесперебойного поступления в тюрьму водки тюремное сообщество каждый месяц назначало торги двух видов: «оптовый» и «чарочный». Торги велись по всем правилам рынка, с предоставлением залогов и получением соответствующих документов. По воспоминаниям петрашевцев, «...обязанность оптового откупщика иметь *непременно вино всегда* под опасением лишиться залогов и продавать чарочному откупщику или другим не менее штофа по определенной цене, втрое дороже того, что оно будет стоить за воротами тюрьмы. Чарочный откупщик обязан иметь еще закуску (это, впрочем, делается явно) и карты. «Но кто же, — спросит удивленный читатель, — доставляет вино в острог?» — Да те же, которые стерегут. Эта контрабанда принимает тысячу неуловимых форм. Вот, например, одна из самых неудачных: солдат заделяет затравку ружья воском и вливает в дуло целый полуштоф...»[2] В 1906 году губернская тюремная инспекция обнаружила иной способ доставки алкоголя в Тобольскую тюрьму: спирт в большом количестве привозился в отделение арестантами-ассенизаторами.

---

[1] Львов Ф. Выдержка из воспоминаний ссыльно-каторжного // Современник. 1861. № 10. Т. LXXXIX. С. 120.

[2] Там же. С. 121 – 123.

Склады вина, карт и прочих запрещенных предметов считались «государственной тайной». За выдачу тайника смерть была неизбежной; она поражала предателя невидимо, по большей части отравой дурманом. Изменник не мог заметить по отношению к себе презрения или недоверчивости. В этом случае действовало обратное правило: с ним начали обращаться лучше, что считалось самым опасным сигналом.

Многолетнее пребывание в таких условиях не исправляло, а закрепляло криминальные склонности осужденных, однако тюремная администрация боролась лишь с внешними проявлениями уголовной субкультуры. Например, формулировка «за обругание надзирателя скверно-матерными словами и за игру в карты» была наиболее распространенной при наказании карцером. Тюрьма активно культивировала преступность, что стало очевидным к началу XX века.

Миф об арго

Виктор Шаповал

Надеюсь, каждый порядочный гражданин в курсе, что преступники пользуются особым жаргоном, чтобы скрывать свои коварные замыслы. Собственно, на этом единодушие культурного мифа о жаргоне, пожалуй, и заканчивается. И начинаются детали, в которых трудно доискаться единомыслия. Во-первых, жаргон или жаргоны? Разница существенная: даже если речь идет о специфической лексике преступников, специалисты указывают, что нужно различать несколько жаргонов. Уже пристав Виктор Михайлович Попов в 1912 году не только назвал свой труд «Словарем воровского и арестантского языка», но и снабдил некоторые слова пометами «арестантское», «шулерское», «западное», «южное», «сибирское». Не все современные словари следуют этому правилу, хотя включают порой и слова из того же знаменитого словаря Попова. Напрасно «Словарь дореволюционного арго» 1991 года уверяет читателей, что *стрем головый* значило «три рубля» (у Попова читаем *стремчаговый*), а *слушаться барабанной шкуры* — «лишиться на суде всех гражданских прав и состояния». И граждан тогда не было — все сплошь подданные, да и лишение *прав состояния* (то есть дворянства) не включало конфискации имущества. Так что это «арестантское» выражение всего лишь подчеркивало, что процедура у позорного столба (вспомните Чернышевского) происходила под барабанную дробь. Эти примеры показывают, как по сию пору происходит наполнение словарей жаргона. Количество мифических слов постоянно

растет и будет расти, чему порукой игра воображения и невнимательность составителей.

Кроме того, описания жаргона у нас распределены по времени очень неравномерно. Многие века — совсем пусто, только пара последних столетий все более и более густо, а потом — с конца XX века — просто обвал материала, да такого, что хоть караул кричи. Казалось бы, уж совсем простенькое словцо *жиган*, но и оно прочитано с выдумкой, а потому представлено еще и в виде фантастических словес *окиган* и *ишчан*.

Надо полагать, что корпоративные жаргоны были всегда (и у гончаров, и у дружинников, и у разбойников). Да только знаем мы о них очень мало. Вот в бессмертном «Слове о полку Игореве» мелькают словечки *чага* («рабыня») и *кащей* («раб»). Святослав в своем «золотом слове» для доходчивости использует в беседе с соратниками ратную феню и, между прочим, говорит о желательности демпинговых цен на этот товар: если будем хорошо воевать, убеждает он князей, будет чага по ногате (4 грамма серебра), а кащей — тот вообще по резани (2 грамма), дешевле, поскольку с мужиками больше мороки. По обычаям и законам войны в ту отдаленную эпоху воины после победы делили живую добычу, а потом ее чохом скупали князья для отправки куда-нибудь в Византию. К сожалению, безымянный автор поэмы не потрудился составить для нас полный словарик. Было бы интересно почитать.

Далее следует перерыв в несколько столетий, пока не появляется иностранное сообщение Смутного времени (начало XVII века) о том, что у казаков была в ходу тайная речь — *отверница*. Правда, без примеров. Известно нам одно только название этой речи, которое тоже может считаться жаргонным словом. Его так и «переводят»: *отверницкая речь*. Судя по названию, можно предположить, что в этот старый жаргон входили слова, «зашифрованные» пере-

становкой частей («отворотом»). К примеру, такие, как ставшие широко известными позднее *лампопо* и *лопопам* — «пополам». Как еще они могли «выворачивать» свою речь, чтобы она стала секретной, точно мы не скажем. Однако можем представить по материалу других, значительно более поздних тайных или условных языков. Во-первых, специфический словарь таких языков состоит не только из слов с переставленными слогами. Основу его всегда составляют особые слова, которые нередко заимствуются из других языков и диалектов русского языка. А вот в дополнение к ним имеются еще и стандартные способы шифровки обычных слов, например:

- простая перестановка типа: *рона* — пора;
- добавление бессмысленной приставки: *шиворот навыворот*, где *ши-ворот* — это ворот, воротник;
- добавление приставки вместо первого слога: *шустрый* — быстрый;
- совсем уж заумная трансформация слова: *роШИпаЦИ* — это все то же слово пора.

Эти методы шифрации были, видимо, популярны и в отвернице. Но точнее сказать ничего нельзя.

Язык существует в виде бесчисленного ряда вариантов. Их можно назвать стилистическими регистрами. Звучит несколько музыкально, но суть дела отражает. Несомненно, и читатель, если он родился и вырос здесь, почти подсознательно различает по речи москвича и южанина, гуманитария и технаря, артистку или официантку, подростка, в доме которого читают книги, и студентку, которая книжек не читает. Одновременно с оценкой речи происходит и уточнение общественного статуса собеседника и социальной дистанции между ним и вами. От этого трудно отказаться, эта оценка — часть нашего повседневного опыта.

Где-то в этом ряду стоят и жаргонные слова, которые являются составной частью кода той или иной корпоративной культуры. Проблема описания этой

специфической лексики долгое время была почти вне закона. Высокая наука ориентировалась на узко понимаемую литературную норму. А слова из крестьянских диалектов и тем более жаргонов допускались в литературную речь в диетических количествах, да и то лишь те, которые благословлены мастерами культуры (типа босяков Горького или Гиляровского) и вошли в авторитетные литературные шедевры.

С конца 1980-х на телевидении и радио заговорили без бумажки, на митингах и на страницах печатных СМИ, а потом и в художественной литературе, посвященной современности, герои стали выражаться так, как в жизни. И даже немного красивее. Этим определяется и наш сегодняшний интерес к жаргону. Этот интерес проявился в том особом общественном внимании, которое сопровождало проникновение жаргонных словечек в речь СМИ. Репортеры распоясались. Деятели культуры выражали по этому поводу законную обеспокоенность. Депутаты умоляли составить им словарь того, чего нельзя говорить в парламенте. Многие связывали рост интереса к жаргонам, в первую очередь к криминальному, с социальными изменениями в обществе. Но ученые при всей тревоге за будущее культуры и в сегодняшней нашей ситуации видят повторение истории, еще один раунд демократизации господствующей нормы. Это постоянный, хотя и неравномерный процесс. У Чехова несколько раз можно встретить выражение *сквозной ветер*. А в ответ на наше привычное (а для него дворницкое) *сквозняк* он наверняка поморщился бы. И выражение *наверняка* тогда многим было известно, но как шулерское слово, которое обозначало нечестную игру с гарантированным выигрышем. Прошло сто лет, читатели уже не ощущают кастового протеста при виде этих двух безобидных словечек (*сквозняк* и *наверняка*), хотя не все из нас дворники или шулера. Вот так и происходит расширение социальной базы того регистра речи, который считается в данном обществе

допустимым, нормальным или даже престижным, образцовым. Сейчас мы переживаем период активной эксплуатации жаргонов для пополнения выразительных средств массовой речи. Это значит, что слова типа *беспредел* — «произвол» или *наезды* — «претензии» выходят из своего социального гетто, становятся более употребительными, входят в допустимую, а потом и в образцовую речь, как когда-то просторечное *сквозняк*. Возражать против этого можно, но контролировать изменение массовой нормы, как и другие социальные процессы, довольно затруднительно. Во всяком случае, будущее всегда преподносит сюрпризы. Особенно экспертам.

Вот Владимир Иванович Даль ратовал за чистоту русского языка. Многие, наверное, помнят, что он предлагал чисто русские замены иноземных слов (*адрес = насылка, кокетничать = миловзорить, горизонт = овидь, атмосфера = колоземица, гимнастика = ловкосилие* и т. п.). Но он еще и следил за правильным употреблением собственно русских слов, горячо и напрасно убеждая всех, что *обыденный* значит «суточный», а не «повседневный», а вместо *мертвенность* надобно говорить *мертвизна* и т. п. Однако рекомендации Даля оказались без последствий.

Вполне естественно, что интерес к жаргонам привел к появлению многочисленных словарей. Примечательно, что первые послеперестроечные словари жаргона были составлены носителями или с позиций носителя жаргона (Ф. И. Рожанского, Валерия Никольского, С. Снегова). Во всех этих и многих других случаях мы имеем дело с описанием, данным изнутри. Это биографический опыт, отлитый в форму словаря. И результат, как правило, впечатляет.

Но есть и другие словари, в известной мере это имитация словарей, эрзац-источники, которых отличает торопливость и «похотливо-коммерческий» налет, как справедливо отметил В. Елистратов. Прежде чем перейти к разговору о качестве словарей, необ-

ходимо еще раз обратиться к мифу о неповторимости сегодняшнего интереса к жаргонам вообще и блатной фене в частности, ибо сегодняшняя ситуация не может быть прояснена до конца без исторической перспективы.

Сам по себе интерес к жизни «криминального сообщества» гораздо старше самого этого выражения. В фольклоре ряда славянских народов есть гайдуцкий, казачий и разбойничий фольклор, песни и думы вполне детективного содержания. Ниже мы будем говорить о жизнеописании Ваньки Каина — это уже бестселлер XIX века, и жаргону там отведено почетное место. И Пушкин не обошел вниманием эту слабость публики. В заметке «О записках Самсона», парижского палача, он писал: «Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменого каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи». Это о «Соборе Парижской богоматери» (1831). А в «Отверженных» (1862) уже есть и описание арго парижского дна. Еще большее влияние на русскую публику имел сенсационный роман Эжена Сю «Парижские тайны» (1842 – 1843). Всеволод Крестовский в «Петербургских трущобах» (1864 – 1867), в сущности, повторил его рецептуру. С романом Крестовского накрепко связаны и первые опыты составления словарей криминального жаргона. Труд Н. Смирнова «Слова и выражения воровского языка, выбранные из романа Вс. Крестовского «Петербургские трущобы», выходит в академическом издании в 1899 году. И тут же полицейские словари начинают его повторять, цитировать: «*Вечор было влопался, да мазурик каплюжника поздравил дождевиком*» — Вчера вечером совсем уже попался, да приятель ударил полицейского булыжником. И прочее. Почему списывают? Да потому, что красиво, необычно. И все слова по алфавиту. Грех не списать. А тот факт, что это пи-

сатель подслушал полвека назад, да еще от себя сгустил художественности, как-то ускользал.

Роман в стиле Крестовского — это сотни страниц. Но современная публика в массе своей предпочитает телеэкран, поэтому «Трущобы» превратились в сериал «Петербургские тайны». Зато на бумаге неплохо идут с лотка жаргонные словари. И в них мы с изумлением обнаруживаем слово *дождевик* — «камень, булыжник»: встреченное у Крестовского эдак 150 лет назад, из словарей не ушло. Народ городской, многие и гриба-дождевика, на камень похожего, не видали, а все одно переписывают. Да еще с выдумкой. Один раз перевернули, стало: *булыжник* — «плащ-дождевик». Другой раз не так толкование прочли, стало *дождевик* — «бумажник». Но и основное значение холят и лелеют: *дождевик* — «булыжник, камень, который носят с собой в целях самообороны» (1991). Ну вы-то догадываетесь, что мазурик не всегда носил с собой это «орудие пролетариата», он его (по примеру известной скульптуры) из мостовой вынимал при необходимости. Дети асфальта уже и представить себе не могут такой ситуации. Заставляют бедного пролетария тяжести с собой таскать.

Хотя очевидно, что художественный текст сам по себе не является полноценным источником для описания жаргона. Это косвенное свидетельство, обработанное автором в соответствии со своими целями. Но даже эти завитушки художественной речи в словарях приводятся с ошибками и большим запозданием, что я пытался продемонстрировать на примере слова *дождевик* — «булыжник». И традиция злоупотребления художественными текстами оказывается весьма живучей.

Словари жаргонов, сленгов и прочего, включая полулюбительские и высокопрофессиональные коллекции, с успехом продаются. Кажется, объяснение этому на виду. Многим просто ТРУДНО читать. А словарь читать не нужно. Это некая облегченная карта криминальной планеты. Полистал — и все по-

нятно. Кроме общеизвестного слоя жаргонных слов (*малина* — «притон», *тырить* — «воровать», *фраер* — «жертва преступления»), рассчитанного на формирование читательского доверия, в современном коммерческом словаре обязательно присутствует и другой словарный слой — «экзотический». Иначе говоря, слова, которые широкой публике неизвестны и якобы добыты автором чуть ли не с риском для жизни.

Слой «экзотических» слов и выражений необходим, чтобы продемонстрировать массовому покупателю глубину авторского проникновения в тему. И почему-то именно среди этих слов обнаруживается немало таких, которые именуются «призрачными словами». Это фантомы, возникшие в словарях по ошибке и никогда не существовавшие в речи. Разоблачение словарных фантомов — первейшая задача при критической проверке данных словаря.

Понятно, что эти недостатки словарей являются в то же время теми достоинствами, которые помогают им лучше продаваться. Встретит неискушенный читатель словцо *ашбар* — «большой мешок» в «Словаре дореволюционного арго» 1991 года и залюбуется. Никогда не слыхал! И правильно, нет такого слова. Есть у Фабричного в 1923 году *асибар* — «большой мешок», да и то, наверное, неправильно. Похоже, каторжники «большой мешок» *амбаром* величали.

Однако словари, даже если кое-где и подвирают, берут изначально слова из реальной речи. Но это не значит, что надо безоговорочно верить всему, что в них напечатано. В том же словаре 1991 года *бока с паутиной* — «арестант». Совершенно понятно: нары, паутина, суровый быт — красочный образ. Посильнее, чем Фауст Гете. А первоисточник — Ванька Бец, 1903 год. Сличайте сами: *бока с паутиной* — арестант[ское], «часы с цепочкой».

И уже десять... ой, нет!.. уже пятнадцать тысяч русских слов ушли в жаргон. Уже... И так далее! И не вернулись. И половина написана с ошибками.

Массовая литература всегда строила коммерческий успех на интересе к жизни «плохих парней». То, что с положительными героями каши не сваришь, было давно и широко известно.

Представьте себе картинку. Эпоха дворцовых переворотов, послепетровское времечко. На Красной площади бабы пирогами и пистолями без лицензий торгуют. Академические издания в вопросе о тайных жаргонах еще пребывают в девственном невежестве. (Только в конце XVIII века академик П. С. Паллас вставит в многоязычный словарь список слов «по-суздальски» — первый словарик русского тайного языка.) А уже в обеих столицах неугомонный Матвей Комаров потчует публику бесконечными переизданиями типа «История славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми обстоятельствами, разными любимыми песнями и портретом, писанная им самим при Балтийском порте в 1764 году». И книжки идут хорошо. Даже после кончины автора, уже в XIX веке, выходят перепечатки и новые переделки. Еще нет Крестовского с Эженом Сю с их продуктом для чистой публики, а спрос уже есть. Не зря не только о парижском палаче Пушкин писал: «Вот до чего нас довела жажда новизны и сильных впечатлений».

В этой книге Матвей Комаров рассказывает и о тогдашнем жаргоне. И что любопытно, чтобы читателю было понятнее, он как на общеизвестную параллель указывает на особый словарь торговцев, который близок к упомянутому «по-суздальски». Получается, что читателю дешевых изданий XVIII века эта параллель говорила больше, чем академикам. Одни слова неизвестны нашему современнику: *здюм* — два, *котева* — голова, другие тоже неизвестны, но понятны, потому что являются простой метафорой. Какими же секретными выражениями братков Ваньки Каина делится автор с читателем? Например, *портняжить с дубовой иглой*. Это значит «заниматься разбоем на до-

рогах». Но особенно интересно здесь то, что выражение, забытое коллегами Ваньки Каина еще при царе Горохе, так и переходит из издания в издание. Когда Сергей Васильевич Максимов через сто с лишним лет повторил его в своем популярном труде «Сибирь и каторга», с этим можно было еще согласиться. Ведь «дубовая игла» все еще имела практический смысл. Хотя бы потому, что дубина как инструмент была в ходу, оставаясь, так сказать, популярным средством оптимизации напряженного социального диалога.

В одном из предисловий к современному словарю констатируется: «Успех борьбы с преступностью, особенно профессиональной и организованной, немыслим без знания специалистами наиболее характерных способов и ухищрений...» А дальше хорошие, правильные слова про жаргон. Но там же и *«портняжить с дубовой иглой по дорогам»* (разбойничать). В 1991 году? Откуда? Из Ваньки Каина. По-научному это называется анахронизмами.

Замечательный криминалист Сергей Михайлович Потапов в 1923 и 1927 годах выпустил словарь жаргона для сотрудников органов правопорядка. Он жалуется на недостаточную грамотность преступников, и с этим можно до некоторой степени согласиться. К примеру, у бандитов, если верить товарищу Потапову, было секретное выражение *взять за жагу*, и обозначало оно «настойчиво напирать при допросе». Но многим такое название части тела «жага» кажется сомнительным. И есть гипотеза, что знания русского языка достаточно, чтобы догадаться, как же все-таки выражались настоящие бандиты в годы нэпа.

Но традиция продолжается. Вот еще перлы того же порядка, проникшие в современные словари. *Партюр* — «сообщник» вместо прозаического слова *партнер*. *Трофли* — «краденые вещи», читай: *трофеи*. Все эти загадки вызваны спешкой и плохим почерком, но разбирать их интересно и, может быть,

небесполезно для формирования грамотности у молодежи, которая эти словари покупает.

А вот еще яркий пример того, как словесная «улика», раз попав в словарь, потом уже не исчезает. Смысл забывается, само слово порой искажается до неузнаваемости, но позиция в словаре остается заполненной. *Туес (туис) колыванский* — по-арестантски «простак». Откуда такое выражение? В сибирских говорах *туес* — берестяной сосуд. *Колывань* — поселок на Алтае, славный камнерезным заводом и изобретателем Ползуновым. До конца XIX века шпану водили в Сибирь этапами. И вот уже за Тобольском к спевшимся за долгий путь мазурикам прямо в когти попадали местные курокрады с домашними припасами в берестяных туесках. Но потом Колывань перестала быть центром промышленности. Транссиб мимо прошел. И выражение *туес колыванский* стало анахронизмом. Но из словарей не ушло. А стали писать *туж, туз*, но по инерции всегда «колыванский». Ничего это не значит. Но переписывается с завидным упорством.

Эти слова напоминают рассказ Варлама Шаламова «Онже Берды», историю, так сказать, гулаговского «поручика Киже». Одно из имен рецидивиста пошло учитываться особой строкой и было заполнено случайным арестантом. Так вот, судя по этим и многим другим примерам, слова амнистии не подлежат. Попало в словарь жаргона — и не чирикай. Будешь столетиями переиздаваться.

Возьмет писатель такой словарь, чтоб свой роман украсить. И будет у него там какой-нибудь «лашла» «трофли» тырить, а «партюр» бренчать на «бандисе». Впечатляет? А исправь ошибки — и уже никакой игры образов, одна проза: лепила-доктор какие-то трофеи ворует, партнер тренькает на банджо. Правда, с ошибками солиднее смотрелось? Ошибки создают неповторимый колорит фантастической воровской романтики и формируют тот «экзотический» слой словес, глядя на которые, даже матерый рециди-

вист только поцокает языком и купит словарь. Вот и пусть слова-призраки остаются в словарях. А по-научному это можно назвать «рениксой».

Со словарем Потапова 1927 года связана еще одна любопытная история. В этом словарике есть целый букет загадочных выражений. Они восходят к великому и прекрасному цыганскому языку. А к жаргону отношения не имеют. Вот пример: *Простая секедана бакру.* Словарь невозмутимо толкует: «идут арестовывать». По правде же сказать, тут крик души зафиксирован: «Праста-а!!! С-скедэна!!! Бакроу!!!» — «Бежим! Забирают! Баран!» Питерский словарь Л. Мильяненкова 1992 года и оба издания словаря Д. Балдаева продолжили эту славную традицию пихать в словарь чего-нибудь понепонятнее. Типа *вуравель* — «вошь». Искать, где же этот *вуравель* в русской фене обитает, — напрасный труд. По-цыгански это значило когда-то «летает», но неправильно толкуется как «вошь» в одном немецком жаргонном словаре. Оттуда и списано. Так фальсификация материала жаргонных словарей вышла на международный уровень.

Но параллельно с мифом, разумеется, существуют и бесчисленные жаргоны как часть кода той или иной корпоративной культуры. Усвоить их из словарей, по-видимому, невозможно. Да и так ли уж необходимо?

Именной указатель

А
Абрамов И. 219
Абрамова Д. 215
Аввакум, протопоп 144
Агафонова А. 209
Агафьица 152
Александр I 72, 82, 89, 171, 174, 179, 180, 184, 185, 325, 327
Александр II 243, 325, 330
Александр III 326, 330
Александр, архимандрит 108, 112
Александр, князь 26
Александр, священник 204
Александра Петровна, великая княгиня 264
Александра Федоровна, императрица 263
Алексеев С. 221
Алексей Михайлович, царь 43, 63, 69, 80, 91, 94, 152, 170, 183
Алексей Петрович, царевич 100, 101, 117, 137, 140, 141
Алексей, расстрига см. Александр, архимандрит
Алепский П. 147
Ананиевская, вдова 86, 87
Ананиевский Н. 86
Ананиевский П., коллежский советник 85—87
Ананиевский, тайный советник 86
Ангельн, немка 170
Андреев В. 273, 274
Андреев И. 62
Андреев Х. 216, 217, 219, 220
Андрей Боголюбский, князь 2
Андрей Большой, князь Углицкий 18, 25
Андрей Дмитриевич, можайский боярин 27
Андрей Иванович Старицкий, князь 17, 19, 25
Андреянов А., пристав 62
Андрузкий Г., студент 150
Анна Брауншвейг-Люнебургская, принцесса 42
Анна Иоанновна, императрица 42, 191
Анна-пророчица 102
Антипин И. 252
Антоний, архиепископ 151
Антонов, дворовый Салтыковой 210
Анфимов В., пристав 15
Анфиногенов И. К., городской голова 207
Анюта 152
Апраксин Ф. М., сенатор 122, 124
Аптекман О. В., народник 306, 320
Апухтин В. А., сенатор 123, 126, 127
Аракчеев А. А. 81
Аристов Н. Я. 136, 138
Артамонов, конюх 214
Артамонов И. 219, 226
Артамонова А. 213

Артамонова Ф. 214, 215
Артемьева Прасковья 99
Афанасьев Б. 63

Б
Бабушкин, сержант 205
Бабушкин В. Ф. 114
Бабушкин И. 114
Баглаев М., крестьянин 202
Баженов, крестьянин 64
Бакунин П. Н., фискал 160
Балакин Ф., школьник 199
Балашов А. Д., генерал-губернатор 81
Балашов А. Д., министр полиции 174, 175, 184
Балдаев Д. 358
Барклай-де-Толли М. Б. 184
Бархатовы, палачи 254
Басенок Ф. 12
Башкин М. 148
Башмаков М., рядовой 205
Беклемишов Н. 15
Белой И., крестьянин 200
Белой С. 200
Белокопытов А. 149
Бельский И. Ф. 16, 25
Бельский С. Ф. 16
Бенкендорф А. Х., граф 82–85, 87, 90
Берхгольц Ф. В., камер-юнкер 167
Бец Ванька 354
Бирон 191
Битков А. 208
Богомолов Ф. М. 210, 211, 214, 216–218, 220
Богоявленский А. Г., смотритель тюрьмы 249
Божедомов И., приказчик 61
Бокина Прасковья Юрьева 95
Болотов М., солдат 223
Борисов И., переславский подьячий 156–160
Бородулин К., крестьянин 199
Бронников С. 205
Брыскин А., посадский человек 164
Брюс Я. В. 124
Будницкий О. В. 294
Булгарин Ф. 230
Былинский Я., дьяк 113

В
Варух, пророк 102
Василий II 8, 12, 14, 16, 25, 26
Василий III 11, 16, 20, 27, 134
Василий Юрьевич Косой, князь 22, 25
Василий Ярославич, князь Серпуховский 25
Васильев Д., священник 222
Васильева Е. 210, 213
Василько Ростиславич, князь Теребовльский 25
Вейгель, архитектор 243
Вейс, полицмейстер 184
Вельяминов В. В. 23
Вельяминов И. В. 23
Вельяминов-Зернов Л., надворный советник 224
Веретенников В. И., историк 92
Ветрова Мария 300
Видок Э. 352
Витсен Н. 59
Владимир Андреевич, князь Серпуховской 14

Владимир Мономах, великий князь 25
Вноровский Б. 322
Внуков Т., пристав 11
Воеводин Ф., бурмистр 161
Воинов М. А., дьяк 117
Волков (Лазарев) Д., посадский человек 96
Волков С., коллежский советник 223, 224
Волконский Г. И., сенатор, князь 123, 126, 127
Волошанка Е. 16, 25
Воронцов Л. Г., дворянин 164
Воротынские, князья 146
Воротынский И. М. 16
Воскресенский В., учитель 149
Всеволож И. Д. 24
Всеволожская Е. 152
Высоцкий 305, 315
Вяземская У., жена князя 8
Вяземский Никифор 138

Г

Гавриил, митрополит 142
Гаврилова Прасковья 107
Гагарин В. И., вице-губернатор 125
Гагарин М. П., губернатор 122, 125, 127, 129
Галичанин И. Ф. 63
Гамильтон М. Д., камер-фрейлина Екатерины I 104
Гартевельд В. К., шведский композитор и этнограф 247, 339, 343
Гейфман А. 293
Геннин В. И. 198
Герасимова Ф. 213, 224
Герберштейн С. фон 134
Гермоген, патриарх 139
Гернет М.Н. 34, 300, 304
Гете И., поэт 354
Гиляров-Платонов, публицист 269—271, 275
Гиляровский В. А., писатель 350
Глинский М. Л. 16, 25
Гоголь Н. В., писатель 69
Годунов Б., царь 135, 136
Годунова Ирина 135
Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант 181
Голенищев-Кутузов П. В., генерал-губернатор Санкт-Петербурга 87
Голикова Н. Б. 92
Голицин, князь 269, 276
Голицын Д. М., киевский губернатор, сенатор, князь 121, 125, 129
Голицын П. А., губернатор 122, 125
Головин М. А., глава Мундирной канцелярии 122, 125
Головкин Г. И. 124
Горсей Джером 196
Горький М., писатель 339, 350
Готовцов Ф. 219
Гофланд, начальник тобольской тюрьмы 247
Граббе П. Х., декабрист 183
Грачевский М. Ф. 301, 314
Григорьев, староста 213
Григорьев П. М., старший надзиратель 249, 342
Губанов 150
Губский И. 146
Гумбольдт А. 206

Гусев С., крестьянин 60
Гюго В., писатель 352

Д
Давыд Святославич 25
Даль В. И. 351
Данилов К. И., помещик 99
Данилов М. 253
Дашка, девка 66
Депрерадович, подполковник 72—74, 80, 87, 88
Депрерадович София, генерал-майорша 72
Державин Г. Р. 180
Диковский С. Д. 311, 314
Дионисий, московский митрополит 135
Дмитриев-Мамонов И. И., генерал-майор 128, 159
Дмитрий Андреевич, сын Андрея Углицкого 19
Дмитрий Донской, князь 14
Дмитрий Иванович, великий князь 18, 23
Дмитрий Иванович, внук Ивана III 16, 25
Добрынский Н. К. 11, 14, 17
Долгорукие 41
Долгоруков В., сенатор 130
Долгоруков В. А., московский генерал-губернатор, князь 268
Долгоруков Г. Ф., сенатор, князь 121, 129
Долгоруков Я. Ф. 124, 128, 129
Долгорукова Екатерина, царевна 141
Долматов В., пристав 15
Достоевский Ф. М., писатель 312, 314
Дружинина Анастасия, холопка 95, 98, 99
Дубасов, адмирал 322
Дюркгейм 296

Е
Евдокия Лопухина 136, 137, 140
Екатерина I 104, 109, 129
Екатерина II 50, 55, 78, 79, 80, 116, 150, 176, 178, 187, 188, 192, 221, 226, 228, 229, 242, 263, 313
Елена, мать Ивана IV 21
Елистратов В. 351
Емельянова Н. 81, 83
Еремин Е., бурмистр 161
Ермак 341
Ершов В., глава Монастырского приказа 165
Ершов П.П., писатель 243
Есипов Б. 15
Есфирь 102
Ефимов Гавриил 113
Ефимов Федор, священник 113, 117

Ж
Жданов И. 208
Желябужский М. В., обер-фискал судья Московского гофгерихта 125, 127, 165
Жилин А., посадский человек 160
Жириновский В. В. 336
Житков А., надзиратель 208
Жолкевский Станислав, польский гетман 139
Жуков К., дьяк 161
Жуков, окружной прокурор 269, 274, 275

Журавлев В., крестьянин 150
Журыгин О. 150

З
Завьялов Н. 205
Закаров Ф., дьяк 161
Закрятин П., крестьянин 61
Зарубина П. 65
Засулич В. 315
Звенець 15
Зворыка (Зворыкин), пристав 15
Зейдер Ф., пастор 178
Зимин Я. 208
Зотов М. 211, 213
Зубов, полицмейстер 200
Зубов П. А. 263
Зубова Е. Д. 263
Зыков И., палач 253
Зюганов Г. А. 336

И
Иван III 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25—27
Иван IV Грозный 19—21, 29, 69, 71, 135, 139, 319
Иван, священник 223
Иван Алексеевич, царь 65
Иван Андреевич, князь Можайский 17
Иван Андреевич, сын Андрея Углицкого 19
Иван Антонович, император 188
Иванов, священник 148
Иванов, староста 82
Иванов Д., конюх 210, 217, 219, 226
Иванов И., священник 214
Иванов М., каменщик 62
Иванов М., крестьянин 152
Иванов Р., конюх 210, 217, 225, 226
Иванов Ф. 213
Иванов Я. 143
Иванова И. 153
Иванова К. 210
Игнатий, тамбовский епископ 148
Ижорин, секретарь 121
Измайлович А. 319
Иконников М. В., смотритель тюрьмы 249
Ильин Е., конюх 214, 215, 221, 226
Иоанн Златоуст 102
Иона, владыка 17
Иосиф, митрополит 146
Ирежский И. К., дьяк 26
Исаков Л., крестьянин 60
Исаков С., крестьянин 60
Исаков Ф. 15
Исидор, митрополит 16

К
Каблуков С., капрал 200
Кадников 199
Казимир IV 22, 26
Каин Ванька 352, 355, 356
Калашников, ратман 202
Калюжная М. В. 304
Каляев Иван 320
Каплунка П. 153
Карамзин Н. М. 77, 231
Карпенко В., палач 259
Карпов, крестьянин 64
Карпов И., кузнец 65
Касьян Юрьевский, архимандрит 27
Кафка Ф., писатель 194
Качка 279
Квашня Г. 27

Кикин Александр, князь 140
Киприан, митрополит 14, 18, 22
Киргинцов, солдат 199
Киселев Г., палач 260
Киселев П. Д., генерал 176
Китай В. 15
Клеточников Н. В., народоволец 322
Климонтов И., дьяк 110, 111
Княжицкий С. 66
Ковалевская М. П. 304
Ковальская Е. Н. 303
Козлов Ивашка 43
Козмин М., доносчик 186, 189, 193, 197
Кокорин О., крестьянин 61
Колев Р., подпоручик 145
Кологривов, палач 253
Колычев С., воронежский вице-губернатор 126
Комаров М. 355
Кони А. Ф., прокурор 261, 268, 269
Конисский Г., епископ 143
Коноплев М. 27
Константин Павлович, цесаревич 171
Константин, царь 106, 107
Коняев Л. 65
Корбовский 90
Коробков В. 205
Коробков Н. 205
Короленко В. Г., писатель 248, 342
Корсаков И., мангазейский воевода 63
Корф А. Н., генерал-губернатор 303
Костромитинов Н., отставной штабс-ротмистр 81 – 84
Костромитинов Ф., помещик 80, 81, 83, 88
Косюра 90
Кочергин Г. Е., подьячий 113
Кочубей В. П. 171
Кошелев Г. И., капитан 130
Кошелева А. Т. 131
Краузе В. М. 343
Крестовский В. В., писатель 352, 353, 355
Критский М., студент 150
Кропотовы, братья 68
Крылов А. Н., академик 236
Кудряшов В. 252
Кузнецов Б., рекрут 198, 199
Кузнецов И., солдат 149
Кузьмин З., подьячий 117
Кузьмин-Караваев А. А., стольник 95
Кузьмина-Караваева Анастасия 95
Куприянов А. И. 72, 73
Курбатов А. А., вице-губернатор 125
Курбский А. М., князь 139
Курдинов Т. 150
Курицын В., дьяк 27
Курс А. фон, поручик 73, 87
Курс Е. фон, отставной поручик 73, 74, 80, 87, 91
Кюстин Астольф де 196

Л

Лабзина А., дворянка 273
Лаппа, полковник 239, 240
Ларионова П. 209
Лебедев, купец 261, 262, 265, 268, 270
Левен Ф., ревельский вице-губернатор 125

Левикин И., мещанин 208
Леон, царь 106, 107
Леонтьев А. И., окольничий 98
Леонтьев С. 216, 225, 226
Летиф А. 16
Лисовский А., екатеринбургский городничий 202
Литоний, епископ 106
Лихарев Андрей 160
Лихарев Иван 160
Лихарев И. Р., переславский подьячий 160
Лобанов-Ростовский М. Я., князь 115
Лонгинов Н. М. 90
Лопухин И. Ф. 115
Лопухин П. В., министр юстиции, князь 170
Лорер Н. И., декабрист 176, 182
Лотман Ю. М. 320
Лохвицкий А. В., адвокат 278, 289—291
Лошинский И. 15
Лука 102
Лукин П., крестьянин 61
Лукомский И. 26
Луполов, отставной поручик 90
Лученин, поддьякон 65
Ляцкий И. В. 16

М

Магницкий 174
Мазурин 288
Макаров А. В., кабинет-секретарь 158
Макаров А. С., обер-секретарь Тайной экспедиции 178
Максим 60
Максимов И. 27
Максимов С. В. 356
Максимова А. 209
Максимовский, начальник Главного тюремного управления 315
Малахов М.П., екатеринбургский архитектор 204
Малыгин М. 145, 153
Мамарин Г., крестьянин 61
Мамарин Ф., крестьянин 61
Мансуров Ф., пристав 15
Мария Алексеевна, царевна 141
Мария Ивановна, царевна 65
Мария Федоровна, императрица 263
Марк 102
Маркер Г. 273
Марков, ученик 153
Мартынов С. 221
Марья, девка 213
Масюков, жандармский офицер 303
Матфей 101
Матюшкин М. А., генерал-майор 108
Меденкин М. 154
Меджер О., бергтауптман 202, 205
Медынцева, купчиха 266, 271
Мезенцев Н. В. 315
Менделеев Д. И. 246, 340
Меншиков А. Д. 122—125, 128, 129
Меншиковы 41
Мещеринов И., камерир 161
Мещеринов Я. 20, 21

Милорадович М. А., граф, генерал 86
Мильяненков Л. 358
Милютин Д. А., граф, генерал 232, 237
Минаков Е. И., народоволец 302
Миневич, лодзинский учитель 146
Минеев 64
Миних, граф 50
Миницкий Д.А., генерал-майор 171
Миронов Б. Н. 293
Митрофания, игуменья 261, 263 – 266, 268, 274, 276, 277, 279, 287
Михаил-Митяй 18
Михаил Павлович, великий князь 182
Михаил Федорович 141
Михайлов А. 149
Михайлов И., староста 214, 216 – 220
Михайлов С., посадский человек 117
Михайловский П., надворный советник 224
Михалков 191
Михаль, сын старца Иосифо-Волоколамского монастыря Фофана 28
Мицкевич, дворянка 208
Могилев И. С., смотритель тюрьмы 247, 250, 341
Могильнер М. 319
Моисей 106
Мокрушин, купец 204
Молчанов А. И., начальник полицеймейстерской канцелярии, действительный статский советник 221, 224, 225
Морозова Ф., дочь мастерового 200
Моторнов, чиновник 202
Мошонов С., раскольник 151
Муравьев А. М., декабрист 177
Мышкин И. Н., народоволец 302
Мякинин И., ландрихтер 117

Н

Назар, пристав 15
Наполеон 75 – 77, 184, 263
Нарышкин К. А., губернатор 125
Нарышкин К. П., боярин 135, 140
Наталья Алексеевна, сестра Петра I 110, 112
Неверов С. 67
Некрасов М. 212, 221
Некрасов Н. А., поэт 230
Ненила, жена повара 99
Нестеров А. Я., обер-фискал, провинциал-фискал 122, 123, 127, 162 – 167, 194
Нестеров В., дьяк 108
Нефедьева А. 210
Нефедьева В. 214
Никитин А. И., фискал 160, 161, 163, 165, 166, 167
Никитин Г. 61
Никитина П. 213
Никифор 18
Николай I 85, 89, 263, 290, 325 – 327, 333

Николай, дворовый 218
Никольский В. 351
Никон, патриарх 142, 146
Нисский Г. 106
Новицкий В. Д. 239
Новосильцев Н. Н. 171
Носков С. 199

О

Обухов И. Т., фискал 160
Овдотья 200
Овчина Телепнев-Оболенский И. Ф. 25
Огарев А., надворный советник 89
Огарев И., статский советник 88, 89
Ографена 199
Озерецковский, жандармский полковник 149
Олег Святославич 25
Онаньин В., посадник 15
Ордовский-Танаевский Н.А., тобольский губернатор 250
Орестова Л. 315
Орлов И. М., денщик 104
Орловский А., певчий 149
Осипова А. 213
Оставий, землевладелец 6
Отрепьев Григорий 136
Офонасов И. 15
Офонасов О. 15

П

Павел I 171, 178, 187, 313
Павел, апостол 101, 109
Пален К. И., министр юстиции, граф 268
Паллас П. С. 355
Пальсков, лесоторговец 270
Панютина, девица 225, 226
Парначев 200
Пафнутий, архимандрит 151
Пафнутьев И., актуариус 219, 220, 224, 225
Пашков Е. Г., прокурор Военной коллегии 159—161, 163—166
Пелагея 64
Переяславский Р. 22
Пестель П. И., декабрист 176
Петерев И., крестьянин 60
Петр I 32, 51, 65, 71, 92, 94, 96, 100, 104, 108, 113, 116, 120, 121, 123—125, 127—130, 132, 135—137, 140, 157—159, 164—167, 186, 194
Петр II 42, 111, 141
Петр III 188
Петр, апостол 102, 109
Петров С., священник 211, 215, 219
Петрова М. 210, 211
Пивоварова Н., шихтмейстерша 205
Пименова Марина Иванова 99
Плевако Ф. Н., адвокат 271, 274, 275, 278—289, 291
Плеве В. К., министр внутренних дел 304
Плотников С., мастеровой 205
Поджио А. В., декабрист 181
Покровцов С. 98
Ползунов И. И., изобретатель 357
Полибин А., драгун 115
Поливанов П. С., народоволец 299, 307, 320

Полосухин Д. 100
Полосухина Анна Аносова 99
Попов А., дьяк, пристав 11, 14, 17
Попов В. М., пристав 347
Попов Н., студент 150
Пополтов С. 66
Попцов С. Ф., провинциал-фискал 154 – 164, 166, 167
Потапов С. М., криминалист 356, 358
Прокопович, полковник 237
Прокопович Ф., архиепископ 147
Протопопов И., бурмистр 161
Прутков Козьма 232, 236
Пугачев Е. И., донской казак 150, 192
Пустоселов М. 27
Пушкин А. С., поэт 69, 231, 352, 355
Пушкин Ф. М. 94, 97

Р

Радзиловская Ф. 315
Радонежский Сергий 18
Раевский Н. Н., генерал 231
Ратманов А., дьяк 165
Римский-Корсаков Я. Н., вице-губернатор Санкт-Петербурга 123, 127
Рожанский Ф.И. 351
Рожнов, прапорщик 313
Розен А. Е., декабрист 182, 183
Розен Г. В., генерал-адъютант 263
Розен П. Г. см. Митрофания, игуменья
Романов Михаил, царь 188
Романов Н.И., боярин 63
Романовы 136, 188
Ромодановский И. Ф., князь 107, 113, 115
Ромодановский Ф. Ю., князь 96 – 98, 108, 115
Рудометкин М., основатель секты 149
Рукавов Н. 27
Рупинский Г. И., полицмейстер 207
Русалка 15
Рыбаков Б. А. 2
Рыжков 336
Рюриковичи 2

С

Саблин Н. А., народоволец 318
Сабурова С., супруга великого князя Василия Ивановича 134
Савельев Андрей, певчий 112
Савельев, конюх 225
Савинков Б.В., политический деятель 320
Сазонов Е. 304, 314, 315
Сайгаков Т., палач 260
Салтыков А., казанский губернатор 126
Салтыков Г. А. 225
Салтыков Н. 225
Салтыков С. И., тобольский воевода 59, 61
Салтыков Ф. 225
Салтыкова Д. Н., помещица 209 – 226, 228, 229

Самарин М. М., сенатор 122, 124, 125
Самойлов И., стрелец 98
Сангген Я. И. де, правитель Особенной канцелярии министра полиции 174, 175, 184, 185
Сандомирский Г. 259
Санин Е., фискал 116, 194
Сапотницкий А. Б. 309
Сатя, рязанский бортник 6
Святополк Изяславич, князь Киевский 25
Святослав, князь 348
Селевин Б. 26
Селевин О. 26
Семевский М. И. 104
Семен Мстиславич Вяземский, князь 8
Семенов, крестьянин 60
Семенова К. 215
Сементовский, инспектор тюремного управления 305
Семиков Р., подьячий 117
Серапион, новгородский архиепископ 28
Сергеев А., комиссар 165
Сергеев И., бурмистр 161
Сергеев С., крестьянин 151
Серебреников В. И., тяглец 113
Серебряный, стряпчий 271
Сигида Н. К. 304, 311
Силина А. 204
Силина И., крестьянская вдова 199
Сильвестр, советник Ивана IV 146
Симанов И. И., городской голова 206
Симон, митрополит 27
Симоновский Федор 18
Синявин У., директор Канцелярии от строений 124, 126
Скалозубов Н. Л., депутат Государственной думы 250
Скорняков-Писарев Г. Г., обер-прокурор 121, 137, 158, 159
Скуратов Малюта 318
Смирницкая Н. С. 304
Смирнов Н. 352
Смолярчук В. И. 279
Смурыгин Т., основатель секты 145
Снегирев М., историк 148
Снегов С. 351
Соковнин А. П. 94, 95, 97
Соколов 205
Соколов, смотритель 302
Солодовников М. Г., купец 266, 270, 271
Соломон 102
Сомин Ф. И. 214
Сомогорный И. 27
Сперанский М. М. 76, 77, 175
Спиридонова М. 305, 309
Спичинский, майор 84, 85
Спичинский Н., отставной корнет 84, 85, 87
Стадлер А.-Ф. 170
Сталин И. В. 326
Старков И. Ф. 14
Степанида 199
Степанида, жена конюха 212
Степанида, участница восстания С. Разина 150
Степанова А. 210, 211
Столыпин П. А., председатель Совета министров 250

Строгановы 114
Ступин И. 66
Ступин О. 66
Ступин П. 65
Ступин С. 66
Суворов И. 108
Суков, подпоручик 217, 220
Сунгуров А., барабанщик 199
Сутягин Д. 155
Сутягин И. И., посадский человек 154, 155, 157—159, 162, 167
Сухинов И., декабрист 312
Сухотин М., президент Вотчинной коллегии 130
Сушинский, начальник городского сыска 208
Сю Э., писатель 352, 355

Т

Талицкий Г. 148
Тарнахин А. 221
Тарнопольский А. 208
Татищев В. Н. 199
Темирев А. 98
Терешка, крестьянин 152
Тизенгаузенова Ш. 73
Тит 102
Титов С., бурмистр 161
Титов У., палач 62
Товарков И. 15
Толстиков Д., палач 260
Толстой, обер-прокурор Синода, граф 272
Толстой И., повытчик 218
Толстой Л. Н., писатель 233—235, 339
Томский И. 67
Тройницкий А. Л., тобольский вице-губернатор 249
Трофимов Ф., палач 260
Трубецкой С. П., декабрист 181, 182
Турка А. 52
Турчанинов, генерал-поручик 170
Тютчев Н. А., капитан 225, 226
Тюфякин Василий, князь 139

У

Углев И., подмастерье 199
Угрюмов И. 221
Успенский Борис 139
Ушаков А. И., генерал-майор 131, 186, 193

Ф

Фабричный П. 354
Фальц-Фейн 237
Федор Борисович Волоцкий, удельный князь 28
Федор Иоаннович, царь 135
Федор Никитич 138
Федоров П. М. 149
Федорова М. 212
Фигнер В. 302
Филарет, митрополит 138—141, 263, 264
Филатов К. 65
Филатова Е. 65
Фойницкий И.Я. 40, 41
Фомин А., торговый тяглец Казенной слободы 96, 98
Фомин Андрей, денщик 108
Фофан, старец Иосифо-Волоколамского монастыря 28

Х
Хакамада И. М. 336
Хвощинский Ф., прокурор 224
Хлома И. 66
Хренкова Софья 294

Ц
Циклер И. Е. 94, 95
Цицианов Д., князь 223, 224

Ч
Чебышев И. С. 115
Ченслор Р., мореплаватель 5
Черкасские, князья 146
Черкасский А. М., губернатор 130
Чернышев А. И., генерал-адъютант 176, 182, 183
Чернышев Г. П., начальник Морского комиссариата 122, 124, 127
Чернышева Авдотья 104
Чернышевский Н. Г. 347
Чернышов, студент 320
Чехов А. П., писатель 350
Чехонин, частный пристав 202
Чика 150
Чубаров Д., пристав 15
Чушола Г. 63

Ш
Шабанов Н. С., лейб-гвардеец 113
Шаверин, крестьянин 61
Шавкунов А., конюх 210
Шавкунов В. 221
Шавкунов И. 221
Шавкунова Е. 210
Шавкунова Н. 210
Шадра Е. 64
Шадра Ф., крестьянин 64
Шайкевич С. В., присяжный поверенный 268
Шакловитый Ф. Л. 94
Шаламов В. Т., писатель 357
Шафиров П. П., барон, вице-президент Коллегии иностранных дел 120, 121, 126, 127
Шаховской Ф. П., декабрист 150
Шеин А. С. 128
Шемяка Д. 12, 14, 26
Шепелев Л., мещанин 149
Шереметевы, князья 146
Шестак Ю. 15
Шешковский С. 192
Шигон И. 134, 135
Шипулинский, частный пристав 175
Шишмарев Н., ссыльный 250
Шубин С., крестьянин 151
Шуйские, князья 135
Шуйский, князь 146
Шуйский В. И., царь 135, 139, 140
Шульц И. И., главный лесничий уральских заводов 202

Щ
Щелкан С. С., присяжный поверенный 268
Щербатов, князь 313

Э
Эйдельман Н. Я. 313
Эллис А. В., комендант Петропавловской крепости 301
Эрет И., надзиратель 208

Ю

Юрий Иванович, князь Дмитровский 16, 20, 25
Юрий Святославич, князь Смоленский 8
Юсупов, князь 43
Юхарин С. С., крестьянин 117

Я

Явлинский Г. А. 336
Яворский Стефан, митрополит 138
Яганов И. 19, 20, 21, 22
Ягужинский П. И., генерал-прокурор 130, 131, 154, 158—161, 163, 164
Ядринцев Н. М. 306
Языков Семен, окольничий 136, 137
Яковлева А. 214
Яновский Ф., первый вице-президент Синода 147
Яров И. Н. 218, 219, 221, 224, 225
Ярослав Мудрый, князь 1

Географический указатель

А

Азия 206
Азов 48
Алгачинская тюрьма 306
Александровская тюрьма 337
Александро-Невский монастырь 146
Александро-Свирский монастырь 108
Алтай 357
Англия 326
Андижан 340
Андреевский монастырь, бывший 55
Анисимова, деревня 246
Антониево-Сийский монастырь на Северной Двине 146
Архангельская губерния 35
Астраханская губерния 45
Астрахань 41, 164
Аустерлиц 171

Б

Балтия 333
Барыбино, село 99
Бежецкий Верх 163
Благовещенская слобода 60
Борисоглебская слобода 165
Брянский уезд 226
Бургундия 6

В

Валаамский монастырь 35
Введенская церковь 223
Великий Новгород 15, 27
Великобритания 39
Верхнее Приобье 39
Верхнеудинская тюрьма 303
Ветлужская вотчина 211
Византия 25, 132, 348
Вильно 184
Вожа, река 24
Вознесенский Иркутский монастырь 35
Вокшино, село 211, 213, 217 – 219
Волга 198
Вологда 45
Вологодская губерния 145
Волхов, река 27
Волынь 153
Воронеж 233, 234
Восточная Сибирь 252
Вятская губерния 85, 87, 151

Г

Гвиана 39
ГДР 333
Германия 247, 326

Д

Далматовский Введенский монастырь 37, 147
Далматовский Успенский монастырь 35
Дания 327
Дмитров 21

Е
Европа 206, 318, 327
Екатеринбург 198, 201, 205—208
Рязановская церковь 207
Енисейская губерния 268
Енисейский Рождественский монастырь 37

З
Западная Европа 8, 34
Западная Сибирь 243, 256
Зерентуйская тюрьма 305
Златоуст 206

И
Илимск 65, 66, 67
Илимский уезд 65
Иосифо-Волоколамский монастырь 28
Иркутск 47, 66, 337
Иркутский Знаменский монастырь 37
Иркутский монастырь 147
Иртыш, река 242

К
Кавказ 268
Казанская губерния 35
Казань 179
Калужская губерния 151, 180
Калягин 147
Кара, река 302
Карийская тюрьма 302, 303
Кашинский монастырь 37, 147
Кашира 16
Киев 45, 272
Кирилло-Белозерский монастырь 6, 35, 146, 152
Колывань 357
Кострома 108
Костромская губерния 145
Красноярск 150
Курган 260
Кутомарская каторга 306

Л
Лаче, озеро 24
Литва 16, 17, 22
Лодзь 247

М
Макарьевская ярмарка 201
Макарьево-Унженский монастырь 145
Мальцевская тюрьма 315
Мангазея 63
Медведь, село 117
Можайск 17
Москва 12, 17, 18, 20, 23, 38, 42, 45, 52, 58—60, 67, 94, 97, 110, 120, 137, 140, 153, 158, 164, 208, 211, 215, 217—219, 223, 225, 227, 228, 262, 263, 266, 272, 282, 329
Белый город 227
Берсеневский двор 17
Воробьевы горы 55
Донской монастырь 229
Земляной город 225, 227
Иванов двор 22
Ивановский девичий монастырь 228, 229
Казенная слобода 96
Казенный двор 19
Карантинный дом 55
Китай-город 120
Красная площадь 97, 228
Кузнецкий мост 215
Кучково поле 23
Левшинские бани 225

Лубянка 215
Московский Кремль 120, 121, 218, 262
Немецкая слобода 120
Преображенская слобода 218
Преображенский собор 147
Пречистенские ворота 225
Садовая слобода 113
Сухарева башня 55
Успенский собор 147
Церковь Николая-чудотворца Галстунского 218
Москва-река 26, 55
Московское государство 16, 63, 134, 135, 138
Московское княжество 23
Московское царство 79, 186

Н
Настасьин девичий монастырь в Костроме 108
Нева, река 196
Нерчинск 46, 47, 305
Нижегородская губерния 151
Николаевский Карельский монастырь 35, 145, 147
Новая Каледония 39
Новгород 35, 43, 117, 151
Новгород-Северский монастырь 35, 146
Новгородская провинция 117
Норвегия 327

О
Оренбург 45, 46, 47, 48
Орловская губерния 81
Орловский централ 309
Охотск 46, 47

П
Павлов 151
Переславль-Залесский 156
Переяславль 19, 45
Пермская губерния 35, 37
Петроград 250
Покровский девичий монастырь в Суздале 11, 137, 147
Покровский монастырь 37
Полоцк 43
Польша 333
Поморье 58
Преображенское, село 110, 154
Прибалтика 263
Псков 16, 43, 263
Псковский монастырь 35

Р
Ризоположенный монастырь 37
Рогервик 47, 48
Рождественский монастырь 147
Россия 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 22–25, 27, 28, 30, 33, 34, 37–39, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 56, 58, 59, 73–77, 79, 80, 91, 122, 125, 130, 133, 142, 169, 179, 181, 184–187, 199, 210, 231, 237, 238, 240, 248, 249, 258, 264, 268, 278, 282, 293, 299, 305, 306, 314, 315, 318, 321, 323–327, 329, 333, 335, 336, 339, 343
Ростов 163

С
Санкт-Петербург 48, 55, 87, 110, 113, 117, 155, 156, 167, 198, 199, 247, 263, 300, 329, 341
Иоанновский мост 197
Казанский собор 300
Крестовский остров 110
Обжорка, рынок 196
Петропавловская крепость 167, 179, 186, 194, 299 – 301
Покровский мост 117
Троицкая площадь 123, 127, 167, 194
Сахалин 343
Свияжский монастырь 35
Северная Америка 39
Северная Двина, река 35, 146
Селенгинский Троицкий монастырь 145
Серпуховской Владычный монастырь 263, 265
Сибирь 38, 39, 41, 42, 44 – 47, 99, 174, 179, 312, 357
Сийский монастырь 35
Симбирск 45
Смоленск 26
Соловецкий монастырь 35, 85, 144, 145, 147 – 150
Спасо-Каменский монастырь 145
Спасо-Прилуцкий монастырь (Вологда) 19, 35, 144
Спасо-Евфимиев монастырь (Суздаль) 35, 81, 82, 84, 85, 145, 150, 151
Сретенский монастырь 143, 147
СССР 325, 333
Стэнфордский университет 308
Суздаль 37, 84, 136, 137
Суздальский уезд 96
Решемская слобода 96
США 326

Т
Таз, река 63
Тара 62
Тверская губерния 37
Теплые-Стани, деревня 226
Терек, река 45
Терсяцкая слобода 60
Тихвинский женский монастырь 150
Тоболтуринские юрты, деревня 62
Тобольск 47, 62, 242, 243, 245 – 247, 250, 256, 259, 260, 338, 339, 341, 357
Казачий взвоз 242
Красная площадь 242
Острог 243
Софийско-Успенский собор 249
Тобольский кремль 244
Троицкая церковь 243
Тюрьма 242 – 245, 248, 250, 252, 259, 337, 338, 340, 342 – 345
Тобольская губерния 242, 258
Тобольский уезд 60
Томск 67
Томская губерния 258
Томский монастырь 153

Торжок 8
Тотемский уезд 64
Транссиб 357
Троице-Сергиевский монастырь 152
Троицкий Селенгинский монастырь 35
Троицкое, село 210 – 220, 223 – 225
Тульский уезд 67, 99
Тюмень 249, 260

У
Углич 19
Унженская, деревня 211
Урал 199, 206, 208
Успенский Нерчинский монастырь 35
Усть-Кут 65
Уфа 150
Казанский собор 150

Ф
Ферапонтов монастырь 6
Финляндия 327
Франция 39, 75, 76, 326
ФРГ 333

Ч
Чубаровская слобода 61

Ш
Шавинская, деревня 61
Шарташская, деревня 202
Шацк 152
Швеция 327
Шлиссельбургская крепость 299, 301, 306

Ю
Юрьевский монастырь 35

Я
Якутск 321
Якутский монастырь 145, 153
Япония 327
Ярославль 154, 157, 158, 163, 165
Яскалбинские юрты, деревня 62

Содержание

Предисловие V

Ирина Михайлова. Тягался Павлуша с Андрюшей. Как судили в Древней Руси I

Ирина Михайлова. Они сидели «за приставы» 14

Лариса Аладьина. «Чтоб неповадно было так делати» 30

Евгений Вершинин. Лихие люди. Из истории преступности в XVII веке 58

Федор Севастьянов. Тюрьма, ссылка и... семейные ссоры. Как решались некоторые семейные конфликты в Российской империи 69

Евгений Рычаловский. Применение законодательства по государственным преступлениям в розыскных делах эпохи Петра I 92

Дмитрий Серов. Уголовные процессы против взяточников и казнокрадов в России первой четверти XVIII века (опыт краткого обозрения) 120

Лоренц Эррен. Насильственное пострижение в монахи 132

Дмитрий Фост. Монастырские тюрьмы — увещание и исправление 142

Дмитрий Серов. «Дело фискалов» (1722 – 1724 годы) — забытая страница уголовной юстиции России 154

Федор Севастьянов. «Привесть в полную известность». Пытки, доносы и допросы в XVIII – XIX веках 169

Евгений Анисимов. «Дражал знатно от страху». Маленький человек в Тайной канцелярии 186

Галина Плещева. «Надзор за правильным течением жизни», или Охрана общественного порядка в провинции 198

Любовь Манькова. Кровавая барыня. Уголовное дело 209

Семён Экштут. Мзда не лихва. Безгрешные доходы как феномен русской истории 230

Надежда Загороднюк. Тюремный замок 242

Ольга Бортникова. Бархатовы за работой, или Заплечных дел мастера 252

Сандра Дальке. Старорусский уклад на скамье подсудимых: процесс против игуменьи Митрофании в Московском окружном суде (1874 год) 261

Алексей Демичев. «А ведь могло быть и хуже». Российские адвокаты в дореволюционном анекдоте 278

Александр Лярский. «...мне оставалось только одно — умереть...» Самоубийство политических заключенных в тюрьме и ссылке 293

Борис Миронов. Россия уголовная. Преступность в годы реформ и в периоды застоя 323

Ольга Бортникова. Фартовые ребята 337

Виктор Шаповал. Миф об арго 347

Именной указатель 359

Географический указатель 373

Deutsches
Historisches
Institut
Moskau

Германский исторический институт в Москве
открыт в 2005 году.

Его работа направлена на развитие и укрепление
научного сотрудничества историков из России и Германии.

Институт координирует германско-российские
исследовательские проекты в области новой и новейшей
истории.

Директор института — профессор Николаус Катцер.

Более подробная информация на сайте
www.dhi-moskau.org

Научное издание

Тюрьма и ссылка в дореволюционной России
Сборник статей

Под общей редакцией
Н. Катцера,
С.В. Кудряшова

Макет и верстка
Т.В. Мальцева

Художник
А.И. Ольденбургер

Корректор
М.Е. Савина

В оформлении обложки использована фотография
Виктора Грицюка

Издательство «Историческая литература»
105203, г. Москва, ул. Парковая 16-я, д. 5
тел. +7 (495) 465-99-96

Подписано в печать 15.06.2016
Формат 60x90/16
Бумага офсетная 80 г
Гарнитура Baltica
Печать офсетная
Заказ № 00988/16

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт» 170546, Тверская область
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А, www.pareto-print.ru

ISBN 978-5-9906493-4-7

9 785990 649347